

# Цара Дюнан

СВЯТЫЕ СЕРДЦА

## Annotation

Во второй половине XVI века в странах католической Европы за невестой требовали приданое таких размеров, что даже в благородных семьях родители обычно выдавали замуж лишь одну дочь. Остальных отправляли — по куда более скромной цене — в монастыри. В крупных городах и городах-государствах Италии монахинями становились до половины женщин благородного происхождения. Не всегда по собственной воле...

Эта история произошла в северном итальянском городе Феррара в 1570 году...

Шестнадцатилетняя Серафина, разлученная с возлюбленным, помещена в монастырь Санта-Катерина в Ферраре. Ее появление грозит нарушить покой святой обители. Ведь Серафина готова заплатить любую цену, чтобы сбежать из монастыря. Сумеет ли она найти союзников в святых стенах?

«Святые сердца» — новая великолепная книга Сары Дюнан, чьи романы «В компании куртизанки» и «Рождение Венеры» стали мировыми бестселлерами и были изданы более чем в тридцати странах.

Впервые на русском языке!

---

- [Сара Дюнан](#)
  - [Историческая справка](#)
  - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
    - [Глава первая](#)
    - [Глава вторая](#)
    - [Глава третья](#)
    - [Глава четвертая](#)
    - [Глава пятая](#)
    - [Глава шестая](#)
    - [Глава седьмая](#)
    - [Глава восьмая](#)
    - [Глава девятая](#)

- [Глава десятая](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
- [Глава двенадцатая](#)
- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
- [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
  - [Глава пятнадцатая](#)
  - [Глава шестнадцатая](#)
  - [Глава семнадцатая](#)
  - [Глава восемнадцатая](#)
  - [Глава девятнадцатая](#)
  - [Глава двадцатая](#)
  - [Глава двадцать первая](#)
  - [Глава двадцать вторая](#)
  - [Глава двадцать третья](#)
  - [Глава двадцать четвертая](#)
  - [Глава двадцать пятая](#)
  - [Глава двадцать шестая](#)
  - [Глава двадцать седьмая](#)
  - [Глава двадцать восьмая](#)
  - [Глава двадцать девятая](#)
  - [Глава тридцатая](#)
- [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
  - [Глава тридцать первая](#)
  - [Глава тридцать вторая](#)
  - [Глава тридцать третья](#)
  - [Глава тридцать четвертая](#)
  - [Глава тридцать пятая](#)
  - [Глава тридцать шестая](#)
  - [Глава тридцать седьмая](#)
  - [Глава тридцать восьмая](#)
  - [Глава тридцать девятая](#)
  - [Глава сороковая](#)
  - [Глава сорок первая](#)
  - [Глава сорок вторая](#)
- [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
  - [Глава сорок третья](#)

- [Глава сорок четвертая](#)
  - [Глава сорок пятая](#)
  - [Глава сорок шестая](#)
  - [Глава сорок седьмая](#)
  - [Глава сорок восьмая](#)
  - [Глава сорок девятая](#)
  - [От автора](#)
  - [Благодарности](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
    - [9](#)
    - [10](#)
    - [11](#)
-

**Сара Дюнан**  
**Святые сердца**

## **Историческая справка**

Ко второй половине XVI века приданое невесты в странах католической Европы достигло таких размеров, что даже в благородных семьях родители обычно выдавали замуж лишь одну дочь. Остальных отправляли — покуда более скромной цене — в монастыри. По подсчетам историков, в крупных городах и государствах Италии монахинями становились до половины женщин благородного происхождения.

Не всегда по собственной воле...

Наша история происходит в северном итальянском городе Ферраре в 1570 году, в обители Санта-Катерина...

*Порядок богослужений в бенедиктинском монастыре XVI века*

*(Точное время службы зависит от часа восхода и захода солнца)*

<i>Хвала Господу</i>	На рассвете	
<i>Первый час службы</i>	Первый час дня	6.00
	Завтрак	
<i>Третий час службы</i>	Третий час дня	9.00
	Работа	
<i>Шестой час службы</i>	Шестой час дня	Полдень
	Обед	
<i>Девятый час службы</i>	Девятый час дня	15.00
	Работа	
<i>Вечерня</i>	Перед закатом	17.00
	Ужин	
<i>Последняя служба дня</i>	Перед отходом ко сну	19.30
<i>Заутреня</i>		2.00

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*Монастырь Санта-Катерина, Феррара,  
1570 год*





## Глава первая

До крика ночную тишину обители оживляют присущие ей звуки.

В келье первого этажа собачонка сестры Избеты, завернутая, словно младенец, в атласную пеленку, охотится во сне и сдавленно рычит от удовольствия — намордник стягивает ей пасть, — загнав очередного кролика. Сама Избета тоже охотится: глядя в серебряный поднос вместо зеркала, она уверенно поднимает правую руку и смыкает костяные щипчики вокруг упрямого белого волоска на подбородке. Потом дергает, и боль вперемешку с удовольствием исторгают из ее груди короткое «ахх».

В келье через двор две девушки, толстощекие и пухлые, как младенцы, вместе лежат на соломенном тюфяке, их руки и ноги сплетены, точно хворост в вязанке, лица почти соприкасаются, и они словно пьют дыхание друг друга: у одной грудь поднимается, у другой — опускается. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. В келье слегка пахнет чем-то сладким. Похоже на дягиль. Или сладкую мяту, как будто они вместе ели засахаренный пирожок или пили из одного кубка с пряным вином. Как бы то ни было, они счастливы, и самый воздух в келье, кажется, напоен их довольством.

Между тем сестру Бенедикту распирает музыка, которая с трудом умещается у нее в голове. Сегодня она сочиняет гимн для праздника Богоявления, разные голоса сливаются и перекрывают друг друга, точно цветные нити, сплетающиеся в гобелен. Иногда они движутся так быстро, что ее мел едва поспевает за ними, и тогда на грифельной доске вырастает лес белых знаков. Бывают ночи, когда она совсем не может уснуть или когда голоса столь настойчивы, что ей приходится петь вместе с ними. И все же никто не выговаривает ей на следующий день и не будит ее, когда ей случается задремать за столом в трапезной. Сочинения сестры Бенедикты приносят обители славу и покровительство богатых людей, а потому на ее чудачества глядят сквозь пальцы.

Молодая сестра Персеверанца, напротив, находится в плену у музыки страдания. Одинокая сальная свеча, потрескивая, бросает тени на стены ее кельи. Сорочка девушки так тонка, что, прижимаясь спиной к каменной стене, она чувствует покрывающую ее зимнюю

испарину. Она поднимает подол, открывая голени и бедра, потом, с большей осторожностью, живот, чуть слышно постанывая, когда материя касается незаживших ран. Она останавливается, делает два-три глубоких вдоха, чтобы успокоиться, потом сильнее тянет за ткань там, где она уже совсем присохла, пока та не отрывается вместе с тонкой молодой кожицей. Свеча освещает кожаный пояс на ее талии, изнутри подбитый короткими гвоздями, часть которых глубоко вошла в плоть, оставив на виду лишь вздутые, покрытые запекшейся кровью раны там, где грубая кожа ремня приросла, кажется, к девичьему телу. Медленно, не торопясь, она нажимает на шляпку гвоздя. Ее рука невольно отдергивается, с губ срывается крик, но звук словно подбадривает ее, призывает продолжать, и пальцы возвращаются на прежнее место.

Она не отрывает взгляда от стены перед собой, где слабый мигающий огонек выхватывает из темноты резное деревянное распятие; Христос, молодой, живой, каждая мышца видна на подавшемся вперед, напряженном теле, лик исполнен печали. Она смотрит на него, ее тело трепещет, слезы бегут по щекам, глаза влажно блестят. Дерево, железо, кожа, плоть. Весь ее мир заключен в этом мгновении. Она разделяет Его страдание. А Он — ее. Она не одинока. Боль становится удовольствием. Она снова нажимает на гвоздь, и дыхание вырывается из нее с долгим довольным стоном, почти животным по своей природе, страстным и возбуждающим.

В келье за стеной сестра Юмилиана на мгновение перестает перебирать бусины своих четок. Звуки, которые в своем религиозном рвении издает молодая сестра, для нее слаще меда. В юности она тоже искала Бога, нанося себе раны, но теперь ее долг сестры-наставницы велит ей заботиться о духовном благе других превыше собственного. Она опять наклоняет голову и возвращается к четкам.

В келье над лазаретом сестра Зуана, травница обители Санта-Катерина, тоже молится, но на свой лад. Согнувшись над томом Брунфельса,<sup>[1]</sup> она сосредоточенно морщит лоб. Рядом с ней недавно законченный рисунок кустика герани, листья которой, как оказалось, хорошо помогают от порезов и телесных ран — в моче одной молодой монахини появились сгустки крови, и сестра Зуана ищет состав, который поможет остановить невидимое кровотечение.

Стоны Персеверанцы эхом отдаются в коридоре второго этажа крытой галереи. Прошлым летом, когда от жары раны начали гноиться и соседки молодой монахини по хорам стали жаловаться на запах, аббатиса послала ее в лазарет лечиться. Зуана, как смогла, промыла и забинтовала воспаленные раны и дала девушке мазь для уменьшения отека. Больше сделать было ничего нельзя. Возможно, Персеверанца еще занесет себе какую-нибудь инфекцию, которая ее отравит, но сейчас она вполне здорова, и, судя по тому, что Зуана знает о работе человеческого организма, это вряд ли случится. Она слышала немало рассказов о людях, которые годами живут с такими увечьями; и хотя Персеверанца с любовью говорит о смерти, все же страдания доставляют ей такую радость, что она вряд ли захочет преждевременно положить им конец.

Сама Зуана не разделяет этой страсти к умерщвлению плоти. До монастыря она была единственной дочерью профессора медицины. Главной целью его жизни было исследование природной способности организма к исцелению, и сама Зуана, сколько себя помнит, всегда разделяла его энтузиазм. Будь это возможно, она стала бы столь же прекрасным учителем или врачом, как и отец. При существующих обстоятельствах она может считать себя счастливой, ведь состояния ее отца хватило на келью в обители Санта-Катерина, где немало благородных женщин Феррары обрели возможность жить на свой лад под защитой Господа.

И все же любая община, как бы ни была отлажена в ней жизнь, поневоле трепещет, принимая в свои ряды ту, которая не хочет в них быть.

Зуана отрывается от книги. Рыдания, несущиеся из кельи новоприбывшей послушницы, становятся слишком громкими, чтобы их можно было не замечать. Если раньше она просто плакала, то теперь кричит от гнева. В таких случаях Зуана, как сестра-травница, должна дать новенькой сонного снадобья, чтобы помочь ей успокоиться. Она переворачивает песочные часы. Лекарство уже готово и стоит в лазарете. Вопрос в том, сколько ему еще ждать.

Определить глубину отчаяния послушницы — дело, требующее умения. Когда званный ужин кончается, родные уходят и могучие двери запираются на засов, отрезая монахинь от всего мира, неудивительно, что девушки сначала пугаются, и даже самые набожные испытывают

порой приступ панического страха, оказавшись в одиночестве и тишине запертой кельи.

Легче всего привыкают те, у кого в монастыре есть родня. Такие девушки, можно сказать, вырастают на монастырских пирожках да бисквитах, они год за годом приходят сюда навещать своих, здесь их балуют и с ними носятся, так что монастырь для них уже второй дом. И если — а такое случается — этот день заканчивается для них потоками беспомощных слез, то рядом всегда найдется тетя, сестра или кузина, которая подбодрит и утешит, а то и побранит.

Но те, кто втайне мечтали о женихе из плоти и крови или расстались с любимым братом или нежной матушкой, в слезах изливают не только тоску о прошлом, но и страх перед будущим. Дежурные сестры заботливо помогают новеньким, когда те, дрожа больше от нервов, чем от холода, выбирают из платьев и нижних юбок, и набрасывают сорочки на их вздетые нагие руки. Но никакая забота в мире не заменит свободы, и хотя некоторые сменят потом саржу на шелк (монастырское начальство делает вид, будто не замечает такого отклонения от правил), однако всю первую ночь изнеженные и не привыкшие к покаянию тела будут чесаться с головы до пят от прикосновений грубой ткани. В первых слезах много острой жалости к себе, и лучше выплакать их сразу, чем носить внутри, пока они не разъедят душу, словно медленный яд.

Постепенно буря утихает, и обитель погружается в сон. Только ночная сестра сторожит коридоры, отмеряя время до заутрени, то есть до двух часов пополуночи, когда она пройдет по длинной темной галерее, стуча в дверь каждой кельи, кроме той, где спит новенькая. Таков обычай Санта-Катерины: не беспокоить новенькую в первую ночь, чтобы на следующий день она, выспавшаяся и освеженная, была готова к переходу в новую жизнь.

Однако сегодня вряд ли кому удастся поспать.

Песок уже почти весь лежит на дне стеклянных часов, а вопли усилились до такой степени, что Зуана слышит их не только ушами, но и животом: словно стая капризных демонов ворвалась в келью девушки и развлекается, наматывая ее кишки на вертел. Юные пансионерки в дортуаре наверняка проснулись от страха. Часы от последней службы до заутрени — самый долгий период отдыха в монастыре, и любая помеха приведет к тому, что назавтра все будут

ходить невыспавшиеся и злые. В промежутках между криками из лазарета доносится надтреснутый голос, громко поющий немелодичную песню. Ночная лихорадка может вызвать у больных какие угодно видения, в том числе не самые благочестивые, и не хватало еще, чтобы расслабленные и сумасшедшие запели хором.

Зуана быстро выходит из кельи, не взяв с собой свечу: ее ноги знают дорогу лучше, чем глаза. Она спускается в галерею и в очередной раз замирает у выхода в просторный внутренний двор, красота которого поражает. С тех самых пор, как она впервые вошла сюда шестнадцать лет назад, когда ей казалось, что стены вот-вот сомкнутся и раздавят ее, этот двор стал для нее местом отдыха и мечтаний. При свете дня воздух здесь так тих, что кажется, будто время остановилось, а в темноте ждешь, что сейчас раздастся шелест ангельских крыл. Но не сегодня. Сегодня каменный колодец в середине двора серым кораблем плывет сквозь тьму, а рыдания девушки бушуют вокруг него, точно ураган. Это напоминает ей много раз слышанную от отца историю из тех времен, когда он плывал за образцами растений в Ост-Индию, где им повстречался торговый корабль, брошенный в курящихся паром волнах с единственным пассажиром на борту — голодным попугаем. «Только представь себе, кариссима. Если бы мы знали язык, на котором говорила эта птица, какие секреты могла бы она нам поведать?»

В отличие от него Зуана никогда не видела океана, а песни сирен заменили ей воспаряющие сопрано в церкви или женские вопли в ночи. Да еще шумные надоедливые собачонки вроде той, что тьякает сейчас в келье сестры Избеты, — маленький, вонючий комок свалявшейся шерсти, но достаточно острозубый, чтобы прогрызть свою ночную повязку и присоединить свой голос к действию, разыгравшемуся в монастыре. Да, время снотворного пришло.

Воздух в лазарете загустел от дыма сальной свечи и розмариновых курений, которые Зуана жжет постоянно, чтобы перебить запах болезни. Сестра Зуана идет мимо молоденькой сестры из церковного хора, страдающей внутренним кровотечением, — та лежит, свернувшись калачиком и плотно сжав веки, — видимо, молится, а не спит. Остальные кровати заняты сестрами столь же престарелыми, сколь и больными, зимняя сырость переполняет их легкие, так что каждый вдох вызывает у них бульканье и хрипы.

Большинство из них слышат лишь голоса ангелов, однако не прекращают спорить о том, чей хор слаще.

— Ох, Господи Иисусе! Начинается. Спаси нас, грешных.

Хотя слух у сестры Дементии по-прежнему острый, зато в голове туман: она и кошку в темноте слышит, но думает, что это посланец дьявола или начало второго пришествия.

— Ш-ш-ш-ш.

— Слушай крики. Слушай! — Старуха в крайней кровати резко выпрямляется, ее руки машут, точно отбиваясь от невидимого нападающего. — Могилы открываются. Нас всех поглотят.

Зуана ловит ее руки, укладывает их на простыню и держит, ожидая, пока монахиня заметит ее присутствие. Великое Молчание, длящееся от последней службы дня до рассвета, простительно нарушать только безумным и больным, остальным за всякое сорвавшееся с губ слово грозит серьезное наказание.

— Ш-ш-ш-ш.

С другой стороны двора снова раздается громкий вой, а за ним — грохот и треск ломающегося дерева. Зуана мягко толкает старуху обратно в постель и устраивает ее как может уютнее. Простыни пахнут свежей мочой. С этим придется подождать до утра. Сестры-прислужницы будут тем милосерднее, чем дольше им удастся поспать.

С ночником в руках она торопливо проходит в аптеку, дверь в которую находится в дальнем конце лазарета. Баночки, пузырьки и бутылочки, занимающие всю стену напротив входа, словно танцуют в такт колебаниям ее свечи. Все они ее старые знакомые; эта комната — ее настоящий дом, который она знает лучше, чем собственную келью. Она достает стеклянный пузырек из ящика, немного подумав, снимает со второй полки бутылку, откупоривает ее и добавляет в пузырек еще несколько капель. Послушнице, которая не только нарушает тишину, но и ломает мебель, надо дать снотворное посильнее.

Вернувшись в главную галерею, Зуана замечает узкую полоску света под дверью наружных покоев аббатисы. Значит, мадонна Чиара встала, оделась и теперь с высоко поднятой головой сидит за резным ореховым столом под серебряным распятием, раскрыв молитвенник и накинув на плечи плащ от сквозняка. Она не станет вмешиваться, если только, по каким-то причинам, вмешательство Зуаны ни к чему не приведет. По таким вопросам у них есть договоренность.

Зуана торопливо проходит по коридору, задерживаясь лишь у двери сестры Магдалены. Это самая старая монахиня в обители, такая старая, что все, кто знал, сколько ей лет, давно умерли. Немоощь старой монахини такова, что ей давно пора лежать в лазарете, но воля и набожность ее так сильны, что она не принимает никакой помощи, кроме молитвы. Она ни с кем не разговаривает и никогда не покидает своей кельи. Из всех душ, обитающих в стенах Санта-Катерины, ее душа, наверное, особенно дорога Богу. И все же Он медлит призвать ее к себе. Временами, проходя мимо ее кельи ночью, Зуана может поклясться, что даже сквозь деревянную дверь слышит, как шевелятся губы Магдалены, с каждым словом приближая ее к раю.

«Но Господь благ, и милосердие Его пребудет во веки. Благодарите Его и благословляйте имя Его». Слова псалма входят в сознание Зуаны помимо ее воли, и она спешит дальше по коридору.

Новенькой отвели большую угловую келью из двух комнат. Некоторые находят этот выбор неудачным. Месяца не прошло с тех пор, как сладкоголосая сестра Томмаза распевала здесь новейшие мадригалы на стихи, которыми снабдила ее другая монахиня, выучившая их при дворе, как вдруг какая-то злокачественная опухоль лопнула в ее мозгу, и сестра Томмаза забилась в припадке, от которого уже не оправилась. Блевотину едва успели соскрести со стен, а в обитель уже привезли новенькую. Зуане приходит в голову, что, может, скрести надо было лучше. За годы, проведенные в обители, она стала подозревать, что монастырские стены цепляются за свое прошлое куда дольше других. Разумеется, не одна молодая послушница ощущала восторг или злобу, исходящие от окружающих стен.

Рыдания становятся громче, когда она поднимает наружную задвижку и открывает дверь. Она ожидает увидеть ребенка, который бьется в бесконечной истерике, катается по кровати или сидит, скорчившись, в углу, как загнанный зверек, но вместо этого пламя ее свечи выхватывает из темноты фигуру девушки, которая стоит, прижавшись спиной к стене, потная сорочка облепляет ее тело, волосы липнут к лицу. Через решетку в церкви девушка выглядела чересчур хрупкой для такого голоса, однако вблизи она оказывается куда основательнее, каждому рыданию предшествует мощный вдох. Новый вопль застывает у нее в горле. Кто перед ней? Тюремщица или спаситель? Зуана еще помнит ужас тех первых дней; все до единой

монахини казались ей тогда на одно лицо. Когда же она начала замечать, что грубая ткань скрывает разные формы? Странно, что теперь она даже не может вспомнить того, что когда-то казалось ей незабываемо важным.

— Бенедиктус, — говорит она тихо в знак того, что намерена нарушить Великое Молчание.

Мысленно Зуана слышит голос аббатисы, дающей разрешение: «Део грасиас». Назначая ей наказание, аббатиса примет во внимание то, что она нарушила обет, выполняя свой долг.

— Да пребудет с тобой Господь, Серафина, — произносит Зуана, поднимая свечу выше, чтобы девушка убедилась, что в ее глазах нет злобы.

— А-а-а-а-а! — Задержанное дыхание с яростным воплем вырывается наружу. — Я не Серафина. Это не мое имя.

Слова достигают Зуаны вместе с брызгами слюны, которые попадают ей на лицо.

— Ты почувствуешь себя лучше, когда поспишь.

— Ха! Ха... Я почувствую себя лучше, когда умру.

Сколько же ей лет? Пятнадцать? Может, шестнадцать? Молодая, вся жизнь впереди. И в то же время достаточно взрослая, чтобы понимать, что жизнь у нее отнимают. Что рассказывала им аббатиса, когда они голосовали за ее поступление в монастырь? Что девушка из Милана, из благородной семьи с деловыми связями в Ферраре, и родители решили выказать лояльность городу, отдав дочь в один из его лучших монастырей: чистое дитя, возвращенное на любви к Господу, поет как соловей. К сожалению, никто не счел нужным упомянуть, что она еще и воет, как оборотень.

— Может, я уже умерла! И похоронена в этой... вонючей могиле, — голосит девушка, яростно топая ногой, и катышек конского волоса катится по полу.

Зуана поднимает свечу еще выше и замечает, что в комнате разгром: кровать перевернута, матрас и подголовный валик вспороты, повсюду разбросана набивка. Хаос по-своему впечатляет.

Девушка грубо подтирает нос тыльной стороной ладони, чтобы остановить поток слез и соплей.

— Ты не понимаешь! — Теперь в ее голосе слышна яростная мольба. — Я не должна быть здесь. Я тут не по своей воле.



Зуана видит, как она в струящемся бархатном платье стоит на коленях у алтаря и, склонив голову, согласием отвечает на каждый положенный вопрос священника.

— А как же слова обета, сказанные тобой в церкви? — мягко спрашивает Зуана.

— Слова! Я просто повторяла слова, вот и все. Они шли из моих уст, не от сердца.

Ага. Теперь все ясно. Фраза, известная не хуже всякой литании. Слова из уст, а не от сердца: так на официальном языке называется принуждение. С такими словами в справедливом суде может обратиться к благожелательному судье женщина, добивающаяся признания неудачного брака недействительным, или послушница к епископу, моля об освобождении от обетов. Но здесь ведь не суд, и ни самой девушке, ни обители не полегчает, если они простоят тут всю ночь, обсуждая ее беду.

— Тогда тебе нужно поговорить с аббатисой. Она мудрая женщина и наставит тебя на путь истинный.

— Так где же она?

Зуана улыбается.

— Пытается уснуть, как и все остальные.

— Думаешь, я такая глупая? — И голос поднимается снова. — Да ей плевать на меня! Я для нее всего лишь еще одно приданое. О, нисколько не сомневаюсь, мой отец раскошелится, чтобы упрятать меня сюда.

Каждое слово, нарушающее Великое Молчание, причиняет Господу такую же боль, какую оно должно причинять произносящей его монахине, но доброта и милосердие тоже признаются добродетелями в этих стенах; к тому же Зуана уже совершила грех.

— Даже за самым большим приданым стоит душа, — говорит она тихо. — Скоро ты сама это поймешь.

— Нет! Ага! — И девушка бьется головой в стену, да так сильно, что обе слышат стук. — Нет, нет, нет!

Но теперь, когда приходят слезы, в них чувствуется больше отчаяния, чем ярости или боли, как будто она знает, что битва уже наполовину проиграна, и бессильно оплакивает ее исход. В обители Санта-Катерина есть сестры, женщины большой веры и сострадания, которые считают, что именно в этот миг Христос впервые по-

настоящему входит в душу молодой женщины, Его великая любовь бросает семена надежды и послушания на почву отчаяния. У рожаи Зуаны долго не всходил, и через годы она поняла, что единственное настоящее утешение — та вера, которую обретаешь сама. И хотя она ничуть не гордится своим открытием, в минуты, подобные этой, она не предлагает слов утешения.

— Послушай меня, — говорит она тихо, подходя ближе. — Я не могу отворить для тебя ворота. Но я могу, если ты позволишь, сделать так, чтобы сегодняшняя ночь прошла для тебя скорее. А это немного облегчит тебе и завтрашний день, обещаю.

И девушка слушает. Это чувствуется. По ее телу пробегает дрожь, взгляд становится беспокойным. О чем она сейчас думает? О побеге? Келья не заперта, и никто не остановит ее, вздумай она бежать. Если она захочет, то может с легкостью оттолкнуть Зуану, выскочить в коридор, оттуда побежать в главную галерею и вниз, к привратницкой, где узнает, что ключ от ворот хранится не у дежурной сестры, а у самой аббатисы. Или она может пробежать через цветник, затем через сад, пока не достигнет наконец внешних стен монастыря — только они такие высокие и гладкие, что вскарабкаться по ним наверх не проще, чем если бы они были изо льда. Все это, разумеется, хорошо известно обитательницам монастыря. И некоторые так привыкли, что испытывают настоящий ужас, лишь представив себя за пределами этих стен, в большом мире.

— Нет. Нет... — Но это скорее стон, чем протест. Она закрывает лицо руками и медленно съезжает по стене на пол, цепляясь за камни спиной, а потом съезживается, сворачивается в клубок, раздавленная горем.

Зуана опускается рядом с ней на колени.

Девушка судорожно отодвигается.

— Отойди от меня. Мне не нужны твои молитвы.

— Вот и хорошо, — весело отвечает Зуана, ладонью сметая с пола конский волос, чтобы найти безопасное место для свечи. — Поскольку у нашего Господа сейчас наверняка заложило уши.

Зуана улыбается, чтобы девушка поняла, что это шутка. Вблизи, при свете свечи, лицо у той оказывается вполне милое, хотя распухшее от слез и покрытое красными пятнами от злости. Зуане приходят на ум с полдюжины хихикающих молодых послушниц, которые своими

заботами с радостью помогли бы ей вернуть красоту. Сестра Зуана достает из складок своего одеяния пузырек и вытаскивает пробку.

— Перестань плакать, — говорит она, и ее голос обретает твердость. — Это паника, она пройдет. И ты ничем не сможешь ни себе, ни своему делу, если не дашь всему монастырю спать. Ты меня понимаешь?

Их взгляды встречаются поверх пузырька.

— Держи.

— Что это?

— То, что поможет тебе заснуть.

— Что? — Пузырек остается не тронутым. — Я все равно не буду спать.

— Если выпьешь это, то будешь, обещаю. Ингредиенты те же, какие дают преступникам, которых везут на казнь, чтобы сонливость притупила боль и помогла перенести пытки. Тем, кто не испытывает таких страданий, снадобье приносит скорое и сладкое забытие.

— На казнь... — горько усмехается девушка. — А ты, значит, мой палач.

«Значит, все же тюремщица», — думает Зуана. Ну и пусть. Сколько же сил нужно для того, чтобы поднять бунт. И как трудно бунтовать в одиночку... Она снова протягивает пузырек, словно лакомый кусок дикому зверю, который в любой момент может броситься на нее.

Медленно, очень медленно пальцы девушки обхватывают флакон.

— Я все равно не сдамся.

Теперь Зуана не может сдержать улыбку. Если бы она знала рецепт снадобья, усмиряющего непокорных, все монастыри страны наперебой звали бы ее в свои лазареты.

— Не беспокойся. Мое дело — врачевать тело, а не душу.

Глотая снадобье, девушка неотрывно смотрит Зуане в глаза. Оно такое едкое, что заставляет ее поперхнуться, тем более что ее горло и так надорвано от крика. Если их не обманули и она и впрямь поет как соловей, понадобится немало смягчающего сиропа, чтобы вернуть ей голос.

Девушка допивает настой и прислоняется головой к стене. Слезы еще текут, но уже без всхлипов. Зуана пристально следит за ней, целитель внутри ее наблюдает за действием наркотика.

*Услышь мою мольбу, о Господи, и пусть мои слезы тронут Тебя.*

Когда же ей в последний раз приходилось давать такую большую дозу? Два, нет, три года назад, одной девушке со столь же богатым приданым и припадками, о которых им ничего не сказали. В первую же ночь у той девушки от страха начался приступ такой силы, что ее держали втроем. Будь у ее семьи больше влияния, общине пришлось бы оставить девушку у себя, ведь, несмотря на то что эпилепсия является одной из законных причин для освобождения от обетов, тут, как и во многих других случаях, дело решают связи. Однако переговоры мадонны Чиары о возвращении девушки домой увенчались успехом, и та уехала вместе со своим приданым, слегка похудевшим — часть его досталась монахиням за труды. Таким мощным дипломатическим даром обладает нынешняя аббатиса Санта-Катерины. Однако удастся ли ей справиться с этой юной мятежницей, покажет будущее.

*Не скрывай от меня лика Твоего во дни моих страданий.*

Теперь Зуане кажется, будто кто-то нашептывает ей на ухо.

*Стоны мои будут так громки, что кости мои задрожат в ножнах плоти.*

Задумавшись об этом позже, она так и не вспомнит, что заставило ее выбрать именно этот псалом, однако теперь его слова кажутся ей вполне уместными.

*Я точно пеликан в пустыне. Точно сова среди песков. Я смотрю и вижу, что я точно ласточка, одиноко сидящая на коньке.*

— Не работает. — Девушка снова сердито встряхивается, выпрямляется, ее руки болтаются, как цепи.

— Работает, работает. Не сопротивляйся, просто дыши.

*Я вкушал прах, точно хлеб, и мешал питье со слезами.*

Послушница вскрикивает едва слышно и снова обмякает.

*Ибо Ты вознес меня, и Ты же низверг меня. Дни мои тают, как тени, и я усыхаю, как трава.*

Она стонет и закрывает глаза.

Теперь уже недолго. Зуана пододвигается ближе, чтобы поддержать девушку, когда та начнет съезжать на пол. Вот она уже плотно обхватывает руками колени и, немного погодя, роняет на них голову. В этом жесте усталость мешается с поражением.

*Но Ты, о Господь, пребудешь во веки: и память Твоя живет в веках.*

Снаружи возобновляется тишина ночи, она заполняет галереи, выплескивается во двор, проникает под каждую дверь. Обитель словно облегченно переводит дыхание, которое затаила до поры до времени, и соскальзывает в сон. Девушка всем телом наваливается на Зуану.

*Да услышит Он мольбы смиренного просителя, и да не презрит их.*

Все кончено: мятеж потух. В тот же миг Зуана чувствует, что к ее облегчению примешалась грусть, как будто одних слов псалма мало для спокойствия души. Она бранит себя за недостойные мысли. Ее дело — не сомневаться, а утешать.

Скоро все стихнет. Девушка забудется крепким сном. Зуана оглядывает келью.

У входа во вторую комнату стоит тяжелый сундук. Если знать, как его правильно укладывать, можно пронести в таком полмира. Наверняка у нее есть там белье; те, кому за богатое приданое отводят двойные кельи, спят на атласных простынях и подушках из гусиных перьев. Кровать она поставит на место в одиночку, но, даже положив девушку на остатки матраса, все равно придется укрыть ее чем-нибудь потолще. Ее потное тело, не согреваемое больше энергией отчаяния, скоро замерзнет, и то, что началось как бурный протест, может закончиться лихорадкой.

*Ибо Он умирят бурю и делает спокойными воды!*

Зуана осторожно прислоняет девушку к стене и подходит к сундуку. Из-под крышки пахнет пчелиным воском и камфарой. Поверх стопки тканей лежат серебряные подсвечники, бархатный плащ, льняные сорочки и деревянная кукла: Младенец Христос. Под ними обнаруживается ковер персидской работы, а рядом прекрасный часослов с затейливым тисненым рисунком на переплете, наверняка заказанном специально для ее вступления в монастырь. Зуана думает о тех сестрах, которым придется бороться с грехом зависти, когда они увидят эту книгу в церкви. Она берет ее в руки, и книга тут же раскрывается на богато иллюстрированном тексте Магнификата:<sup>[2]</sup> замысловатые фигуры и животные опутаны тонкими усиками золотой фольги, отражающей пламя свечи. А внутри, словно закладка, лежат страницы, покрытые написанным от руки текстом. Значит, их прочли и

не нашли в них ничего дурного? А может, дежурная сестра-привратница не заметила их среди такой роскоши? Такое уже бывало.

— Что ты делаешь? — Девушка опять проснулась и подняла голову, хотя наркотик так и клонит ее книзу. — Это все мое.

Мое. В ближайшие месяцы ей предстоит научиться произносить это слово как можно реже. Но испуг девушки ответил на ее вопрос. Очевидно, это не молитвы. Что же тогда, стихи? «Даже письма от любимой... Драгоценна, как молитва...» Слишком мало света, слов не разобрать. Оно и к лучшему. Никто не потребует от нее осудить то, что она не может прочесть.

Она вспоминает свой сундук и думает о том, что принесенные в нем книги спасли ей жизнь годы назад. Что было бы, реши кто-нибудь отнять их у нее тогда? Одного снотворного, чтобы притупить такую боль, ей было бы мало.

— Да у тебя тут сокровища. — Зуана закрывает книгу и возвращает ее в сундук. — И тебе повезло, что дали именно эти комнаты, — говорит она, вытаскивая кусок тяжелой бархатной материи. — У сестры, которая жила в них до тебя, был свой двор, который собирался тут между обедом и вечерней молитвой. Угощались вином, печеньем, музицировали, даже пели мадригалы. — Она ставит на место кровать и накрывает ее остатками матраса. — Снаружи стены выглядят неприступными, я знаю. Но когда ты привыкнешь к здешней жизни, то поймешь, что она вовсе не так пуста, как ты боишься.

— Твое де-о — мое те-о, а не душа. — Девушка еще сидит, опираясь на стену, но ее глаза уже полузакрыты, а язык с трудом ворочается во рту. Может, ее дух и силен, но плоть, по крайней мере, готова сдать.

*И возрадуются они, ибо обретут покой, и Он принесет их на небеса, где они пребудут.*

Зуана предусмотрительно кладет на растрепанный матрас покрывало, чтобы конский волос не прилипал к коже девушки. Закончив, она обнаруживает, что та снова закрыла глаза.

Она поднимает девушку за подмышки, ставит на ноги, перебрасывает ее руку себе через плечо и обхватывает за талию, чтобы не дать упасть. Тело у той податливое, как у куропатки, и тяжелое от зелья. Не выветрившийся до конца запах ароматического масла, которым девушка, должно быть, душилась сегодня утром, мешается с

кислой вонью ее пота. Щекой Зуана чувствует ее дыхание, сладковатое от маковой настойки. Ах, не только хромоногих и косых, но и самых прелестных женщин берет себе в невесты Господь, сохраняя их от грязи окружающего мира. Сама Зуана никогда не могла похвастаться таким очарованием. Впрочем, для нее это не имело особого значения.

— Я не... с-сплю, — с вызовом бормочет девушка, падая в кровать.

— Тссс. — Зуана оборачивает ее покрывалом, подтыкая его края, словно пеленку.

*Хвалите Господа, ибо Он милосерд, и Его добро пребудет вовеки!*

Но ее уже никто не слышит.

Ей удастся перевернуть девушку на бок, так, чтобы та лежала лицом к матрасу, как положено. Однажды отец Зуаны лечил буйного пациента, который — без ведома доктора — выпил слишком много вина перед тем, как принять настойку. Среди ночи того затошнило, он выbleвал половину содержимого желудка и едва не захлебнулся, так как лежал на спине. Опыт и наблюдение. Вот истинная дорога к знанию.

«Видишь, как чудесно устроена природа, Фаустина? Вещество, которое само по себе смертельный яд, становится целебным в руках того, кто знает, как совершенствовать и дополнять его другими субстанциями».

Его голос, как обычно, звучит в уголке ее сознания, где он всегда ждет, когда молитва закончится и освободит место для ее собственных мыслей.

Было время, вначале — Зуана уже и не помнит, сколько оно продолжалось, — когда его близость была почти непереносима, так сильно она напоминала ей обо всем, чего ей не суждено было больше иметь. Но мысль о том, чтобы остаться совсем одной, была еще страшнее, и постепенно горе смягчилось, и его присутствие снова стало благом; он был ее живой учитель, а не только мертвый отец. Разумеется, она знает, что жить собственным прошлым, а не настоящим своей общины для монахини тоже грех, но его компания уже стала для нее такой привычной, что она больше не думает о ней на исповеди. Есть предел покаяния за грех, от которого нельзя — и не хочется — отказываться.

Вот и теперь, наблюдая за спящей молодой женщиной, Зуана приглашает его.

«Не забудь упомянуть добавочную дозу в своих записях. Знаю, знаю, кажется, несколько капель — какая малость, но это может оказаться очень много. Ах, сколько гармонии кроется в точности, дитя мое. Традиция и эмпирика, опыт и наблюдение: сочетание древнего знания с нашим сегодняшним миром. Разумеется, мы не можем поступать так, как делали греки, и испытывать наши снадобья на преступниках. Будь это возможно, мы давно заново открыли бы секрет териака,<sup>[3]</sup> и тогда наше господство над миром ядов было бы полным. Только представь! И все же нам удалось восстановить многое из утраченного. А когда нет уверенности или подходящего пациента для испытания новых комбинаций и пропорций, всегда можно испробовать их на себе. Хотя с составами, омертвляющими чувства, необходимо соблюдать двойную осторожность и отмечать мгновения, пока не заснешь, тогда, проснувшись, сможешь составить более или менее точное представление об их действии».

Зуана улыбается. Прекрасный совет для студентов университета, которые в туманную феррарскую зиму часами простаивали на улице, чтобы попасть на его лекцию или сеанс вскрытия. Годы спустя она даже встречала кое-кого из них; армия жаждущих знаний молодых ученых-врачей, полных решимости штурмом взять тайны удивительной божественной вселенной. Рядом с ними впитывала его мудрость и она, хотя, конечно, никогда не смела показывать этого на публике. И если его ассистенты, вооруженные знаниями, разлетелись по дворам вельмож и университетам, то на ее долю выпала иная форма служения Господу, та, в которой стремление к знаниям всегда должно уступать молитве, восемь раз в день, семь дней в неделю, покуда смерть не разлучит нас. Неудивительно, что сначала было так больно. В этих стенах не было простора для эксперимента. А для того чтобы стать пациенткой у самой себя, у монахини нет времени.

И все же, трудом проложив себе путь к должности сестры-травницы, она теперь делает то, что и он делал бы на ее месте: собирает урожай растений, экстрагирует их соки и наблюдает их действие. И продвигается вперед, хотя и крошечными шажками. А за этими стенами без него ее лишили бы и этого.



Она щупает девушке пульс: ровный, хотя немного замедленный. Сколько она проспит? Время уже позднее. К рассвету ее разбудить не удастся, к первому или третьему часу, может быть, тоже, а если она и проснется, то никакой охоты бунтовать у нее не будет. Какова бы ни была сила ее воли, физическое спокойствие усмирит ее, хотя бы на время. Конечно, спасибо ей за это девушка не скажет, но Зуана лучше других знает, что это своего рода дар. Истинное приятие приходит лишь от Господа, однако в движении времени есть свое утешение; час за часом, день за днем падают, как снежинки, засыпая прошлое до тех пор, пока оно не исчезнет, а его облик и цвет не окажутся погребенными под напластованиями настоящего.

Наконец из церкви доносится звон к заутрене. Зуана слышит шаги дежурной сестры по каменным плитам, когда та идет через галерею. Стук в двери сегодня особенно резок. По привычке (как удобно, что она распространяется не только на тела, но и на души) многие встанут и пойдут в церковь еще прежде, чем окончательно проснутся. Однако будут и другие, те, кому едва удалось заснуть и кто не захочет расставаться со сном. В таких обстоятельствах дежурной сестре позволено войти и один раз встряхнуть спящую за плечо. Те, которые и тогда не встанут, позже будут отчитываться за свой проступок перед матерью-настоятельницей.

Двери келий начинают отворяться, слышится шарканье подошв, монахини собираются и идут за дежурной сестрой, процессия черных теней движется через мрак, светляками в ночи мигают свечи. Когда они проходят мимо двери послушницы, кто-то подавляет зевок.

Зуана ждет. Хотя аббатиса знает о ее ночных скитаниях, важно как можно меньше нарушать распорядок монастыря. Церковная дверь со стоном поворачивается на тяжелых петлях, пропускает процессию и затворяется вновь. Немного погодя дверь стонет раз, потом другой, отмечая приход опоздавших. Звуки песнопений уже просачиваются сквозь раму двери, когда Зуана покидает келью и углубляется во тьму. Впереди она замечает маленькую фигурку, которая, слегка прихрамывая, спускается во двор из верхней галереи. Эта ночная скиталица тоже не хочет, чтобы о ее похождениях стало известно. Зуана тут же забывает о ней. Хватит на сегодня эмоций. Новые неприятности никому не нужны.

Она ждет, когда церковная дверь закроется снова, потом торопливо входит и, опустив голову, пробирается между рядами хора туда, где против решетки, отделяющей монахинь от других прихожан в церкви, висит большое распятие. Она падает перед ним ниц, невольно вздрагивая от холодного прикосновения каменных плит, которое чувствуется даже сквозь платье, а затем проскальзывает на свое место в конце второго ряда церковного хора. У нее нет требника — книга осталась лежать на столе в келье. И хотя псалмы и службу она знает наизусть, это все равно считается проступком. Взгляд аббатисы скользит по ней. Зуана открывает рот и начинает петь.

Община сегодня не в голосе. Зима поцарапала не одно горло, и пение то и дело прерывается резкими приступами кашля и шмыганьем носами. По ночам в церкви ужасно холодно, и напротив хоров около дюжины послушниц отчаянно борются с холодом и дремотой. С такими пухлыми щечками и бархатистой кожей они выглядят слишком юными для того, чтобы не спать в столь поздний и одновременно ранний час. Зуана замечает, что от усталости некоторые из них совсем по-детски трут глаза кулачками. Неутомимая сестра-наставница, отвечающая в обители за молодых послушниц, сестра Юмилиана, считает, что каждый новый набор хуже прежнего, девчонки все более себялюбивы и преданы мирской суете. Правда, очевидно, сложнее, поскольку сама Юмилиана тоже меняется, становясь с годами все более набожной и требовательной, в то время как послушницы остаются молодыми. Как бы то ни было, Зуане их жалко. Девушки их возраста любят поспать, а заутреня, режущая ночь точно на середине, самая трудная из всех служб монастыря.

Однако в ее жестокости заключена великая сладость, ибо она предназначена для того, чтобы через сопротивление тела пробудить и возвысить душу, а вырванный из сна разум свободен от шума и суеты дневных мыслей. Зуана знает сестер, которые с возрастом полюбили эту службу превыше всех остальных, она стала для них нектаром: ибо, приучив себя превозмогать усталость, они получили редкий дар — чудо быть в Его присутствии, когда весь остальной мир спит; это превосходство без гордости, пиршество без обжорства.

В такие моменты некоторые настолько приближаются к Богу, что даже видят парящих в вышине ангелов, а однажды кто-то видел, как Христос с большого деревянного распятия поднял свои руки и простер

их над ними. Во время заутрени такой трепет души случается чаще, чем на других службах, а молодым это на пользу, ведь драматические происшествия с приступами сильного сердцебиения или даже потерей сознания напоминают им о близости экстаза. Да и сама Зуана, никогда не отличавшаяся склонностью к видениям, переживала чудесные мгновения: ее изумляло то, как мелодично звучат голоса в ночной тиши, или то, как пламя свечей колеблется от дыхания, и кажется, будто даже самые могучие статуи оживают, отбрасывая на стены танцующие тени.

Сегодня никаких чудес не предвидится. Старая сестра Агнесина в лихорадке набожности сидит, склонив голову набок, и, по обыкновению, бдительно вслушивается, не прозвучит ли божественная нота в хоре человеческих голосов, однако в задних рядах сестра Избета уже спит и с присвистом похрапывает во сне, как ее вонючая собачонка, а для остальных придерживаться текста — уже достижение.

Борясь с усталостью, Зуана выпрямляет спину так, что ее плечи касаются спинки сиденья. В других церквях монахини опираются о простое дерево, отполированное годами соприкосновения с их платьем. Но в Санта-Катерине все по-другому. Ведь здешние скамьи хора являют собой шедевр интарсии: картины, собранной из сотен склеенных воедино разноцветных кусочков дерева. Деревянная мозаика была подарена монастырю одной дамой более ста лет тому назад, при великом Борзо д'Эсте, и говорят, что два мастера, отец и сын, трудились над ней более двадцати лет. Теперь, молясь Богу, сестры обители Санта-Катерины, все без исключения, полируют спинами каждая свой фрагмент любимого ими города — улицы, крыши домов, дымовые трубы и шпили, — узнаваемого до последнего клинышка вишневого или каштанового дерева, которыми отмечены края причалов, и темной ореховой жилы, изображающей реку По. Таким образом, хотя они и живут в разлуке с родным городом, возлюбленная Феррара ежедневно предстает перед их глазами.

Когда Зуане трудно сосредоточиться на молитве, как сегодня, она пользуется этой жемчужиной реалистического изображения как способом вернуть свои заплутавшие мысли к Господу. Она представляет, как их голоса поднимаются все выше, облаком звука скапливаются в нефе, откуда сквозь крышу церкви просачиваются

наружу и длинным шлейфом, как дым, плывут по улицам города; извиваясь, шлейф огибает товарные склады и дворцы, ласкает стены собора, мешкает над сырым рвом, окружающим Палаццо д'Эсте, заглядывает в окна и наполняет сладкозвучным эхом огромные залы, после снова выскользывает наружу и спускается вниз, к реке, а уже оттуда устремляется в ночное звездное небо и скрытый за ним рай.

И тогда красота и прозрачность этой мысли как рукой снимают ее усталость, и она тоже чувствует, как ее тело наполняет легкость, и она поднимается навстречу чему-то великому, хотя в ее случае выход за собственные пределы не сопровождается шорохом ангельских крыл или теплом Христовых объятий по ночам.

В келье на той стороне двора сердитая молодая послушница тяжело ворочается во сне, изумляясь и ужасаясь навеянным маковым отваром снам.

## Глава вторая

— Скоро ли она успокоилась?

— После снадобья довольно скоро. Когда я уходила, она крепко спала.

— Очень крепко, в самом деле. Я не добудилась ее ни к первому часу, ни к третьему. — Тон сестры Юмилианы резок. — Я даже испугалась, уж не призвал ли во сне Господь ее душу.

— Я должна была ее успокоить. Мой опыт подсказывает мне, что, если человек теплый и дышит, значит, он живой.

— О, я не подвергаю сомнению ваше медицинское искусство, сестра Зуана. Но меня волнует ее *душа*... а как можно принести божественное утешение молодой женщине, которая не в состоянии даже сесть, а тем более встать на колени?

— Сестры, сестры, мы все устали, а от взаимных придинок никому легче не станет. Сестра Зуана, примите нашу благодарность за то, что успокоили ее. Обитель нуждалась в отдыхе. А вы, сестра Юмилиана, как обычно, сделали все, что требуется от наставницы. Эта новенькая послана нам как испытание. И мы обязаны сделать для нее все, что в наших силах.

Подчиняясь голосу аббатисы, две монахини склоняют головы. Сейчас начало дня, и они собрались во внешней комнате ее покоев. В очаге горит огонь, однако греет он лишь сам себя, не разгоняя холод, царящий вокруг. Аббатиса сидит, кутая плечи в пелерину на кроличьем меху, недавно сработанные кожаные башмачки выглядывают из-под ее аккуратно расправленных юбок. Ей сорок три, но выглядит она моложе. В последнее время, как отметила Зуана, она стала позволять паре-тройке воздушных кудряшек выглядывать из-под ее монашеского покрывала, смягчая лицо. Хотя некоторые могут заподозрить в этом внимании к мирским деталям проявление тщеславия, Зуана видит в нем лишь отражение той тщательности, которая проявляется у нее во всем: от раскраски гипсовых изображений святых, которые монастырь производит для продажи, до материнской заботы о своей пастве. Кроме того, Господь куда лучше уживается с модой, чем представляют себе некоторые, и сестры Санта-Катерины усваивают новейшие фасоны с не меньшим наслаждением, чем предаются исследованию

новейших сложностей полифонии. Таким образом, даже живя в четырех стенах, они остаются истинными дочерьми своего модного, музыкального города.

— Так. Давайте побеседуем о юной душе, с которой мы имеем дело. Сначала вы, сестра Зуана. Как вы ее нашли?

— В гневе.

— Ну да, это мы все слышали. А еще?

— Она боялась. Тосковала. Была обижена. Разных чувств было много.

— Но ни одно из них не было направлено ко Христу, полагаю.

— Нет. Думаю, можно с уверенностью сказать, что она входит в общину без призвания свыше.

— Ах, как всегда, слова, достойные дипломата, Зуана, — смеется аббатиса, и одна из кудряшек весело пляшет у нее надо лбом. Не удивительно, что молодые монахини восхищаются аббатисой не меньше старых, ведь она соединяет в себе черты доброй старшей сестры и строгой матери. — А сама она что-нибудь об этом сказала?

— Она говорила мне, что слова обетов шли у нее из уст, а не от сердца.

— Понятно. — Аббатиса делает паузу. — Прямо так и сказала?

— Да.

Рядом с Зуаной тяжело вздыхает сестра Юмилиана, точно уже приняв эту ношу на свои плечи.

— Этого я и боялась во время церемонии. Она открывала рот, а слов почти не было слышно.

— Ну, когда я встречалась с ней и ее отцом, никаких признаков принуждения я не заметила. Ее били, как вы думаете, Зуана?

Зуана снова ощущает податливую тяжесть ее тела в своих руках. Никаких ранений она не заметила, по крайней мере, саму девушку ничего, кажется, не беспокоило.

— Я... я не уверена, но, по-моему, нет.

— Сестра Юмилиана. Каковы ваши впечатления?

Сестра-наставница складывает ладони, точно взывая к божественной помощи, прежде чем заговорить. В противоположность аббатисе, эта полная женщина закалывает свое покрывало так туго, что оно стискивает ей лицо и даже, кажется, ближе сдвигает его черты, отчего ее толстые, как у хомяка, щеки, рот с покрытой белым пухом

верхней губой и волосатый подбородок идут складками. Наверное, и она была когда-то молодой, но на памяти Зуаны она никогда не выглядела иначе. И хотя она всегда была суровым пастырем для юных послушниц, лишь не многие выходили из ее рук, не получив никакого представления о величии Христа, а сестры постарше, которые обращаются к ней за духовным успокоением, рассказывают, что за ее помятой наружностью скрывается душа гладкая, как нераспечатанная штука шелка. Временами Зуана почти завидует простоте ее уверенности, хотя в такой небольшой общине не годится подолгу раздумывать о том, чего не имеешь.

— Я согласна с сестрой Зуаной. В ней бушует буря. Когда мы раздевали ее после церемонии, ее лицо было недвижно, как траурная маска. Не удивлюсь, если окажется, что ее образование было скорее мирским, чем духовным.

— Если так, то ее семья удивится, узнав об этом, — говорит аббатиса, мягко парируя намек на то, что она ошиблась. — Это очень известное семейство в Милане. Одно из лучших.

— К тому же она не пела и даже не открывала рта на вечерне.

— Быть может, она не знает текста, — тихо вставляет Зуана. — Не все знают их наизусть по прибытии.

— Даже те, у кого нет голоса, способны читать слова вслух, — едко отвечает Юмилиана, возможно, подразумевая саму Зуану, которая, как всем известно, пришла в монастырь с полным отсутствием слуха и невежественная во всем, кроме своих лекарств. — Нам говорили, что поет она восхитительно. Сестра Бенедикта не могла дожидаться, когда же она наконец приедет.

— Это правда, — улыбается аббатиса. — Хотя и она не чужда такого... э-э... возвышенного состояния, хвала Господу. И благополучие общины для нее не на последнем месте. Свадьба сестры герцога уже привлекла в нашу церковь благородную публику, и было бы великолепно, если бы наша новая пташка распелась ко дню святой Агнесы и карнавалу. Что, как я думаю, обязательно случится. — Чем больше волнуется сестра-наставница, тем спокойнее звучит голос аббатисы. — Мы проходили через подобные шторма и раньше. Не прошло и двух лет с тех пор, как юная Карита неделю исходила слезами. А посмотрите на нее сейчас: второй такой швеи, как она, нет во всей обители.

Юмилиана хмурится, и ее лицо становится еще более замкнутым. Богатая свадьба для нее лишь помеха, а призвание сестры Кариты к вышиванию имеет, по ее мнению, отношение скорее к моде, чем к молитве. Однако сейчас не время говорить об этом.

— Мадонна аббатиса? Могу ли я предложить?.. — Монахиня смотрит в пол, чтобы, если аббатиса сочтет нужным ее прервать, все равно продолжать. — Я бы хотела отделить ее от остальных послушниц на время. Тогда у нее будет время подумать о своем поведении, а ее бунтарство не заразит остальных.

— Спасибо, что подумали об этом, сестра Юмилиана. — На лице аббатисы немедленно расцветает широкая улыбка. — Хотя я уверена, что под вашим руководством подобное невозможно. А вот изоляция сейчас способна скорее возбудить ее, чем успокоить. — Аббатиса делает паузу. Зуана опускает глаза. Она и раньше не раз становилась свидетельницей подспудных боев двух женщин за власть. — Но я также полагаю, что не следует и думать о наставничестве, до тех пор пока влияние снадобья сестры Зуаны не пройдет окончательно.

Зуана чувствует, как напрягается Юмилиана, хотя выражение ее лица остается прежним. В правилах святого Бенедикта немедленное повиновение является первой степенью смирения.

— Как вам будет угодно, мадонна Чиара.

— Думаю, что происшествия прошлой ночи не следует пока выносить за эти стены. После Собора в Тренте<sup>[4]</sup> и всех его предписаний и наставлений нашему дорогому епископу и так есть чем заняться. До бунтующих ли послушниц ему сейчас? Быть может, вы возьметесь донести это до новеньких, которых навещают родные, сестра Юмилиана?

Сестра-наставница склоняет голову, но мешкает, ожидая знака Зуаны, чтобы вместе покинуть комнату.

— Сестра Зуана, не могли бы вы задержаться ненадолго? Я должна поговорить с вами о делах лазарета, — произносит аббатиса.

Зуана смотрит в пол до тех пор, покуда не хлопает дверь. Подняв голову, она видит, как аббатиса оправляет юбки и плотнее запахивается в пелерину.

— Тебе холодно? Подойди поближе к огню.



Зуана качает головой. Недостаток сна начинает сказываться, и холод необходим ей, чтобы не путались мысли.

— Может, расскажешь про снадобье?

— Возможно, я переложила в него макового сиропа. — Она вспоминает слова отца. — Несколько лишних капель — такая малость, но их может оказаться слишком много.

— Ну, не надо так упрекать себя. Она ведь подняла столько шума. Сомневаюсь, чтобы одни молитвы могли ее успокоить, пусть даже молитвы самой сестры Юмилианы.

— Но я все же читала псалом, пока не подействовало лекарство.

— Вот как? И какой же?

— «И взывают они к Господу в несчастьи своем: кто избавит их от страдания...»

— «...Ибо Он усмиряет бурю, так что утихают волны ее, и Он вознесет их на небеса». — Тихий напевный голос аббатисы присоединяется к ее голосу. — Сто седьмой. Очень умиротворяющий и подходящий к случаю. Ты уверена, что тебе не холодно? Ты отдохнула?

— Немного, перед первым часом. Мне достаточно.

Аббатиса смотрит на нее некоторое время.

— Итак. Кажется, у нас есть проблема. Что это, по-твоему, — бледная немочь?

Зуана хмурится. Бледная немочь — болезнь трудноопределимая, поскольку, хотя она и приходит с наступлением менструаций, многие из ее симптомов — приступы гнева, упадок духа, чрезмерное возбуждение — случаются у многих молодых женщин и проходят сами, без всякого лечения.

— Нет. По-моему, она просто зла и напугана.

— Есть что-нибудь еще, что мне следовало бы знать?

— Только то, что, по ее мнению, богатое приданое было взяткой за ее постриг.

— О! Как будто в наши дни часто встретишь приданое, которое не является взяткой, кто бы ни был мужем. Надо быть совсем глупышкой, чтобы не знать этого. Однако в том, что касается его размеров, она не ошибается. Наш городской посредник говорит, что одна только рента имущества торгового предприятия будет приносить сто дукатов в год, а это и впрямь существенная сумма.

Достаточно существенная для того, чтобы заставить каноников проголосовать единодушно, когда аббатиса подняла этот вопрос на совете. Благородное происхождение, воспитание, солидное приданое и превосходный голос. Разве есть причина, по которой могли бы отклонить такую кандидатуру? И что с того, если с ней придется повозиться немного? Как будто с другими не приходится! И хотя подобное признание не делает чести ничьему милосердию, но, наблюдая, как то же пламя обжигает чужие крылья, получаешь определенное удовлетворение.

Зуана ждет. Молчание затягивается. Юмилиана ушла, и они вполне комфортно чувствуют себя в обществе друг друга, эти две пташки Христовы. Они знакомы уже много лет, и у них куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Хотя одна из них с детства готовилась принять постриг и имеет аппетит к интригам и сплетням, неотъемлемым от монашеской жизни, а другая надела покрывало монахини против воли, обе имеют склонность к жизни не только духа, но и ума и получают удовольствие, решая интеллектуальные проблемы. Связующие их узы были выкованы рано, еще в те времена, когда недавно назначенная сестра-наставница подружилась с сердитой, горюющей послушницей и провела ее сквозь шторма первого года монастырской жизни.

С тех пор как сестра Чиара возвысилась, их связь несколько ослабела, как и следовало ожидать, учитывая их изменившееся положение. Ни одной аббатисе, заботящейся о своей пастве, не положено выказывать предпочтение кому бы то ни было, а как главе своей семейной фракции внутри общины ей всегда есть на кого опереться в случае необходимости. Тем не менее Зуана подозревает, что бывают моменты, когда Чиара оплакивает потерю свободы, которой она наслаждалась, до того как груз ответственности лег ей на плечи, так же как сама Зуана нередко горюет о той непринужденности, даже дружбе, которая объединяла их когда-то. Вот и теперь, что бы ни сказала аббатиса, обе знают, что дальше Зуаны ее слова не пойдут. Да и с кем ей сплетничать? С лекарственными травами да немощными старухами, что ли?

— Отец утверждал, что ее растили для пострига, — цокает языком аббатиса. Зуана хорошо знает эту ее привычку: она делает так всякий раз, когда бывает недовольна собой. — Он так убедительно

объяснял, почему в Ферраре ей будет лучше, чем в Милане. Разумеется, здесь найдут применение ее голосу. Похоже, что кардинал Борромео оказался большим реформатором, чем сам Папа. Судя по тому, что я слышала, если ему дадут волю, то все монахини Милана скоро будут петь простые псалмы в сопровождении двух-трех нот, сыгранных на органе, — смеется аббатиса. — Вообрази, как отреагировал бы на это наш город! Половина наших покровителей нас тут же покинули бы. Хотя, осмелюсь сказать, тебе с упрощенными правилами было бы куда легче, — добавляет она, почти игриво.

Зуана улыбается. Всем давно известно, что к богатству музыки она глуха, так как ей медведь на ухо наступил, и она сама уже давно привыкла к поддразниваниям.

— И все-таки я не понимаю. Неужели ее отец скрыл правду? И ее ждало замужество, а не монастырь?

— Если так, то я ничего об этом не слышала, — отрывисто вздыхает аббатиса.

Во всем, что касается церковных дел, ее информированность непревзойденна, однако Милан далеко, и, когда речь заходит о семейных сплетнях, она беспокоится, что могла что-нибудь упустить.

— Есть еще одна дочь, младшая. Чтобы выдать замуж обеих, ему понадобилось бы целое состояние. Восемь сотен — прекрасное приданое для монахини, но на миланском брачном рынке за такие деньги завидного жениха не купишь. Что такое? Ты, кажется, удивлена?

— Нет. Я... я просто... подумала, сколько же стоило имущество моего отца.

— А-а, ну, это было давно, и тебя приняли по дешевке, — отвечает аббатиса без обиняков, но с доброй усмешкой, — «Хорошая семья искупает плохое приданое» — так, кажется, говорили тогда. — Теперь она улыбается во весь рот. — Хотя, как я припоминаю, когда ты приехала, оговорок у тебя было много.

Оговорок... Хитрая это штука, монастырский язык, в нем полно словечек, которые убивают смысл там, где призваны его сглаживать. Зуана, с молодых ногтей приученная отцом точно выбирать слова, так с ним и не свыклась.

— Да. Было дело.

Она не сомневается, что обе они вспоминают сейчас одно и то же: огромный сундук на улице у главных ворот монастыря, так набитый книгами знаменитого отца, что сестры-служительницы не могли втащить его внутрь без помощи юродских носильщиков, которым запрещено было переступать порог женской обители. А молодая женщина, единственное дитя того самого отца, стояла рядом и с искаженным от горя лицом наотрез отказывалась входить без своей драгоценности. Переговоры зашли в тупик, и вокруг уже собралась небольшая толпа. Назревавший скандал удалось предотвратить лишь благодаря вмешательству энергичной, недавно назначенной сестры-наставницы, некой сестры Чиары, которая предложила протолкнуть сундук в ворота до половины, а там выгрузить самые тяжелые книги и перевезти их в садовых тачках.

В случившемся не было ничьей вины. Просто не хватило времени, чтобы все организовать. Тело отца еще не успело остыть в могиле, а дом, в котором он жил, уже заняли другие люди, а ее самое, как часть его имущества, заперли в монастырь ради ее же собственного блага. Да и какой у нее был выбор? Чтобы женщина жила одна в доме, не имея ни мужа, ни отца, ни других родственников, к семье которых она могла бы принадлежать? Невозможно. Замужество? Да какой мужчина в здравом уме взял бы двадцатитрехлетнюю девственницу, у которой всего приданого — сундук запрещенных книг да руки, воняющие виокурней? Да и найдись такой желающий, она сама ему отказала бы. Нет. Этой молодой женщине нужно было лишь одно: ее старая жизнь, свобода отцовского дома, удовольствие от их совместной работы и радость, которую ей доставляли его общество и знания.

«Как думаешь, Фаустина, за какой срок личинки и черви регенерируют мое тело? Как жаль, что я не обучил тебя вскрывать могилы. Ты могла бы понаблюдать за процессом вместо меня».

В следующий День всех святых тому уже шестнадцать лет; вне всякого сомнения, за такой срок его тело могло вскормить целую республику червей.

— И все же теперь ты хорошо устроена.

Она произносит это как утверждение, не как вопрос. В очаге с треском лопается полено, дерево рассыпается дождем огненных искр.

— Вообще-то... — Аббатиса делает паузу. — Некоторые могли бы тебе даже позавидовать, видя, как ты занимаешься тем, что в мире за

стенами монастыря не очень-то позволено.

Эти двое давно воздерживались от разговора на болезную тему: о том, как ветер церковных перемен, долетев до Феррары, принес непокой даже тем, кто укрылся в стенах университета; примером тому были мужи, нередко сживавшие за столом ее отца, ученые, преподававшие с ним бок о бок, которых позже заставили выбирать между некоторыми книгами и чистотой веры. Зуана часто раздумывала о том, как он поступил бы на их месте; как мириадами способов он убедил бы всех в своей правоте, ибо в его мире все сущее в природе было частью божественного замысла, и наоборот, и он за всю свою жизнь не сделал ничего такого, что могло бы оскорбить или бросить вызов тому или другому. Однако на его долю такое испытание не выпало. Ему была суждена насыщенная жизнь и своевременная смерть. Ни один человек не отказался бы от такой эпитафии.

— Вы правы, мадонна Чиара, я столь же счастлива, сколь и довольна. — Она умолкает. Атмосфера в обществе уже смягчилась. Однако сундук под ее кроватью становится тем тяжелее, чем больше до нее доходит разных слухов, а в некоторые книги она заглядывает лишь тогда, когда все засыпают. — И столь же прилежна. — О чем не ведают, того не отнимут и не станут волноваться те, кому по долгу службы следовало бы это сделать.

— Я рада это слышать. — Улыбаясь, аббатиса снова выпрямляет спину и разглаживает юбку на коленях. Это еще одна привычка, которую Зуана научилась толковать: аббатиса привлекает внимание к данной ей власти. — Итак: как чувствовала себя община прошлой ночью? — Даже ее голос изменился. Всякому намеку на доверительный разговор между ними пришел конец. — Сестра Клеменция, я слышала, была в голосе.

— Она... она с нетерпением ожидает пришествия нашего Господа и, кажется, убеждена, что это случится ночью.

— Так я и поняла. На прошлой неделе ночная сестра сообщила, что обнаружила сестру Клеменцию во второй галерее, где она бродила и распевала псалмы. Возможно, нам лучше было бы ограничить ее передвижение по ночам.

— Боюсь, что это лишь ухудшит дело. Если вы позволите, я сама присмотрю за ней.

— Хорошо, но только так, чтобы это не пересекалось с обязанностями ночной сестры. У меня есть дела поважнее, чем разбирать территориальные дразги.

— Также... я останавливалась у кельи сестры Магдалены. — Раз уж они вернулись к делам обителя, то пора Зуане позаботиться и о своей маленькой пастве. — Думаю, что с учетом ее положения ее следовало бы перевести в лазарет.

— Ваше милосердие неподражаемо. Однако, как вам известно, сестра Магдалена вполне определенно высказалась некоторое время тому назад. Она не хочет, чтобы ее переносили, и наш долг — уважать ее желание. — Тон аббатисы становится чуть строже. — Еще что-нибудь важное?

Зуана снова видит перед собой листки, похороненные в тремнике послушницы, и прихрамывающую фигурку, покидающую чужую келью. Она колеблется. Граница между сплетнями и необходимой информацией никогда не была для нее очевидна.

— Я нарушила обет молчания и потратила много слов, — отвечает она, решая донести на саму себя, чем на других.

— Больше, чем нужно было для утешения?

— Да — немного.

— Хорошо, что вы были заняты богоугодным делом. — Аббатиса молчит, хотя, быть может, и заметила ее колебание.

— Также я пришла в церковь без молитвенника.

— Вот как? — Удивление разыграно вполне убедительно, хотя в свое время обеим было ясно, что она это заметила. Наступает пауза. — Что-нибудь еще?

Зуана мешкает.

— Остальное как обычно.

— По-прежнему разговариваешь с отцом не меньше, чем с Господом?

Хотя тон аббатисы смягчается, Зуана воспринимает ее вопрос почти как непрошеное вторжение. Когда они обе были простыми сестрами, а не аббатисой и монахиней, такие признания давались ей легче.

— Может, немного меньше. Он... он помогает мне в работе.

Аббатиса вздыхает, точно решая, как и что еще сказать.

— Конечно, ты обязана чтить своего родителя, как всякое дитя, а может, даже больше, ведь он был тебе и отцом, и матерью. Но твоя обязанность также чтить Господа предо всеми и выше всех. Забыть семью свою и дом отца своего. Помнишь обет, который ты давала? Ибо Он есть источник всякой жизни и в сем мире, и в грядущем, и только через Него обретишь настоящее и непреходящее место в благодати Его бесконечной любви.

Впервые молчание между ними становится напряженным. Зуане иногда кажется странным, когда аббатиса начинает говорить вот так. Конечно, она обязана печься о своем стаде, однако в последнее время в ее манерах появилось нечто такое, будто слова, которые она произносит, идут к ней прямо от Бога, а все благодаря ее высокому положению, словно она впитывает мудрость Божию легко и естественно, как цветок — солнечный свет. Хотя ни для кого не секрет, что аббатисой она стала скорее благодаря связям и влиянию своей семьи, нежели состоянию души, в последнее время даже ее противники начали поговаривать о растущем смирении. Хорошо зная ее, Зуана думает, что это такая политика, продиктованная необходимостью завоевать доверие всей общины, а не только той ее части, которая и без того симпатизирует ей. Но бывают моменты — как сейчас — когда даже Зуана сомневается.

— Ты должна больше жить настоящим и меньше — прошлым, Зуана. Ради твоего же блага. Это сделает тебя лучше — даст тебе удовлетворение своим жребием — и приведет ближе к Господу. А это то, к чему все мы обязаны стремиться.

— Я буду работать над собой и исповедуюсь в моих ошибках отцу Ромеро, — говорит Зуана, опуская глаза, чтобы не выдать своего раздражения.

— Ах да, отцу Ромеро. Что ж... я уверена, он сможет наставить вас на путь истинный, — холодно отвечает аббатиса.

Дело в том, что обе знают: отец Ромеро не в состоянии указать верный путь и мышке, упавшей в кубок вина. Разгул еретических врак, которые отравляют самый воздух вокруг, о якобы сладострастных священниках и распутных монахинях привел к тому, что исповедники вроде отца Ромеро едва ли не вошли в моду: осторожные епископы берут на службу в монастыри лишь самых старых священников, по дряхлости своей уже не только позабывших о своих желаниях, но и

нечувствительных к тому, что может исходить от запертых в четырех стенах женщин, многие из которых и получают удовольствие от толики мужского внимания, и сами его домогаются.

Отец Ромеро избегает любых соблазнов, постоянно пребывая в состоянии сна. Он так похож на старую сморщенную летучую мышь, что среди послушниц давно уже распространилась шутка о том, что отец Ромеро стоит на ногах только в тесной исповедальне, где стены не дают ему упасть, а остальное время проводит, вися вниз головой на стропилах церкви.

— Думаю, что к нему лучше всего обращаться рано поутру, — добавляет аббатиса спокойно. Похоже, шутка достигла и ее ушей.

Зуана склоняет голову.

— Значит, утром я и пойду. Благодарю вас, мадонна аббатиса.

Аудиенция окончена. Зуана уже идет к двери, но на полпути Чиара окликает ее снова.

— Пройшей ночью вы оказали монастырю большую услугу. Ваши снадобья сами как молитва. Полагаю, Господь понимает это лучше, чем я. — Она умолкает, точно не зная, что еще сказать. — Да, кстати, о снадобьях... я получила от епископа заказ на леденцы и мази. Увеселения, которыми сопровождалась свадьба, плохо сказались на его голосе и пищеварении. Сможем ли мы отправить ему что-то в ближайшие недели?

— Я... я не знаю, — качает головой Зуана. — Монастырь утопает в зимней мокроте и меланхолии черной желчи. Чтобы выполнить заказ епископа, мне придется поставить его нужду выше нужд тех, кто находится на моем попечении.

— А если вас освободить от нескольких дневных служб на ближайшие недели?

Зуана делает вид, будто обдумывает предложение. Хотя лишь самые отчаянные отваживаются перечить аббатисе в том, что касается духовной жизни, у каждой монахини, на которую возложены определенные обязанности, есть своя сфера ответственности, и она защищает эту сферу от посягательств. Поэтому такая торговля есть не что иное, как выражение ответственности обеих сторон. Как иначе сможет аббатиса отточить навыки третейского судьи, необходимые для поддержания мира и гармонии там, где без малого сто женщин живут



вместе? За четыре года на посту аббатисы мадонна Чиара открыла в себе недоюжинный талант в этой области.

— Думаю, что да, в таком случае это было бы возможно.

— Очень хорошо. Выберите подходящее время, но дайте знать, когда вас не будет в церкви, чтобы это не зачли вам как прегрешение. А как вы думаете, она сможет вам помогать?

— Кто?

— Наша беспокойная послушница, — отвечает аббатиса, игнорируя намеренное непонимание Зуаны.

— Я... Мне не нужна никакой помощи. Мне легче все сделать самой, чем объяснять кому-то что и как.

— Тем не менее мы должны приставить ее к какому-нибудь делу, а у вас с ней уже установилась кое-какая связь. — Аббатиса колеблется, точно эта идея только что пришла ей в голову и она обдумывает ее прямо в процессе говорения. — Когда я ее увижу, то пошлю прямо к вам. Вы покажете ей монастырь, а потом найдете для нее занятие в лазарете. Она неглупая молодая женщина, и ей может даже понравиться учиться. — И тут на губах мадонны Чиары появляется подобие улыбки. — Или вам ее учить.

В голове Зуаны проносятся мысли о рисунках на ее столе и заметках о том, какую силу имеет снадобье в разных дозах, не говоря уже о лелеемом одиночестве, в часы которого голос отца становится ее тайным компаньоном. Она склоняет голову.

— Это мое наказание?

— Вовсе нет. Нет. Это подарок, а не наказание. Вам обеим. А в качестве наказания вы пропустите сегодняшней обед и будете подбирать объедки. Ну вот, я думаю, с этим делом мы покончили.

Мгновение они смотрят друг другу в глаза, потом аббатиса начинает снова разглаживать пелерину.

## Глава третья

О сладчайший Иисус... неужели так все и будет? День за днем, ночь за ночью, неужели все будет так? Потому что если так, то она умрет. Секунды не прошло, чтобы кто-нибудь не понуждал ее или не шпионил за ней, начиная с того самого момента, когда ее разбудили утром, и ей было так плохо, что мысли разбегались, а ночные кошмары громоздились в голове, но едва она открыла глаза, как толстая, бородатая тетка сунулась ей прямо в лицо и стала требовать, чтобы она поблагодарила Бога, сохранившего ее ночью, и воздала Ему хвалу за свой первый день в Санта-Катерине.

И стоило ей услышать эти слова, как все вернулось: та же тюремная яма, только темная, повсюду солома и клочки конского волоса, а другая сумасшедшая сорока с голосом мягким, словно бархат, уговаривает ее выпить какой-то дряни из пузырька. Знала ведь, что нельзя соглашаться. Потому что согласиться — значит сдаться, а это не поможет — не может помочь. От ее доброты — а она была добрее других — ей хотелось выть, визжать и снова выть, до тех пор пока колонны в галерее не зашатаются и крыша не рухнет им на головы. Только тогда она уже так устала, и слезы вдруг высохли. Столько горя вынесла она за прошедшие недели, столько слез пролила, что все ее нутро опустело, ничего не осталось. Она почти обрадовалась, когда снадобье заработало. Все вокруг словно скрылось за прозрачным газовым занавесом. Даже каменные стены смягчились, а когда сорока открыла ее сундук, из него хлынули волны алого и золотого света.

А та женщина была так ласкова: она сидела и говорила с ней, а потом поставила ее на ноги и обнимала — да-а, именно обнимала, так что она почувствовала тепло другого тела сквозь платье, и это напомнило ей... И тогда снова захотелось плакать, но она была слишком слаба и слишком устала.

После этого сначала не было ничего, а потом стало слишком много всего, на нее обрушилась лавина ужасающих, страшных снов, таких ярких, что они казались реальнее самой жизни, а под конец она увидела себя погребенной в озере из жидкого камня, и каждый раз, когда она открывала рот, чтобы запеть, то чувствовала, как расплавленный камень льется ей в горло. Она начала визжать от

страха, но от этого камень только скорее потек ей в горло, и она чуть не задохнулась.

Это случилось как раз тогда, когда старуха с мятой мордой разбудила ее и заставила сесть на кровати, где она еще долго отплевывалась и лопотала что-то насчет милости Господней. И хотя утро наступило и она больше не тонула, ее по-прежнему окружали стены кельи в монастыре Санта-Катерина города Феррары, а все, кого она любила, остались далеко, бросив ее на попечение армии горгулий, так напичканных благочестием, что они давно забыли, каково это — быть живой, настоящей женщиной.

Разумеется, нельзя так говорить. И показывать, что она это чувствует, тоже, и даже думать об этом. Потому что они хитрые, эти набожные, остроклювые птицы. О да, они уже пытались пролезть в ее мысли. Не все. Не та жирная, покрытая бородавками служанка, которая одевала ее сегодня утром — так злобно и неуклюже, что безобразная головная повязка, которую она стянула и заколола булавками, давит и царапает ей лицо. Другие: бородатая сестра-наставница и аббатиса — о, особенно аббатиса со своими девчачьими кудряшками и обманчиво мягкими манерами. Целый поток сочувствия вылила она на нее, рассказывая о том, как это тяжело быть вырванной из жизни такой молодой и прекрасной (ей-то откуда об этом знать?), и о том, что сам возлюбленный Господь наш не ждет, что ей будет легко, но в своей любящей благодати станет направлять их всех, чтобы они помогали ей... А внутри этого потока ласк крылось другое течение, непрерывная струя вопросов: «Сколько лет твоей сестре?», «Ожидает ли ее брак?», «Когда у тебя начались кровотечения?», «Как часто ты бываешь у исповеди?», «Вас обеих учили петь и танцевать?»

Конечно, она ничего ей не ответила. Расспросы даже доставили ей некоторое удовольствие: значит, ее безумства прошлой ночью были бесполезны, поскольку аббатиса явно волнуется, не подсунули ли ей фальшивку. Вообще-то, отмалчиваясь, она даже почувствовала себя лучше. А если и открывала рот, то лишь для того, чтобы осипшим от крика голосом повторить ту же фразу, которую уже сказала сорокетравнице прошлой ночью: «Слова шли из моих уст, не от сердца».

Аббатиса рассердилась, когда поняла, что она не хочет говорить. Но не показала, по крайней мере, открыто. Вместо этого она прикинулась благочестивой и стала разглагольствовать о том, какой

занятой человек епископ, сколько у него важных дел и какой это будет скандал для семьи... Но она скоро перестала слушать, а вместо этого начала развлекаться тем, что пела про себя песенки, пока аббатиса, разозлившись окончательно, не отослала ее внезапно прочь. И хотя от усилий, которые она прилагала к тому, чтобы слушать, а вернее, не слушать, у нее разболелась голова, она была очень собой довольна. Ведь она пробыла в этой вонючей тюрьме целых двадцать четыре часа, которые ни на грамм не уменьшили ее решимость.

И теперь, шагая по галереям на встречу со вчерашней сорокой — до чего холодны каменные стены вокруг, прямо как в склепе, — впервые за весь день наедине со своими мыслями, она обещает себе, что не будет больше бояться и сходить с ума, а постарается обратить себе на пользу не только свою сообразительность, но и страх. И все же, говоря это себе, она чувствует, как ее внутренности обжигает такая смесь ужаса и ярости, что она боится сгореть заживо прежде, чем снова увидит белый свет.

Нет-нет, ей нельзя здесь оставаться. Ни за что. Ждать целый год, прежде чем кто-нибудь хотя бы выслушает ее! Еще триста шестьдесят четыре дня постоянных тычков, любопытства и бесконечных молитв. Да она умрет, даже если ее решимость останется при ней. Нет, она должна отсюда выбраться. И пусть в отцовском доме разразится скандал, она все равно убежит. В конце концов, он тоже виноват. Он обманул ее, запер, предал. Он ей больше не отец, а она ему — не дочь. Только теперь волна страха захлестывает ее, достигает желудка, и она останавливается, чтобы сплунуть желчь, которая потекла ей в рот.

Ну и пусть, зато *он* не оставит ее гнить здесь заживо. Не оставит. Она это знает. Знает так же твердо, как то, что завтра встанет солнце, только в этом дурацком городе вечно туман да тучи, так что восход можно и не заметить. Нет, он ее не забудет. Он найдет ее так или иначе, найдет, как и обещал. А она тем временем будет готовиться и ждать и, что бы ни случилось, не позволит сжигающему ее пламени взять над собой верх.

## Глава четвертая

Конечно, Зуану связывает обет покорности, но именно память о горе, которое она сама испытывала в первые дни в монастыре, заставляет ее терпеливо и по-доброму отнестись к девушке, когда та приходит к ней днем.

Последствия приема снадобья очевидны. Вчерашний гнев и ярость сегодня сменились угрюмым молчанием. Тот, кто одевал ее утром, слишком туго затянул головную повязку, и на лбу и щеках девушки, там, где накрахмаленная ткань врезалась в кожу, видны красные отпечатки. Когда действие наркотика пройдет, у нее заболит еще и голова, а не только сердце.

Ее глаза настолько лишены всякого выражения, что Зуана даже сомневается, помнит ли она ее.

— Господь да пребудет с тобой, послушница Серафина.

— И с тобой, сестра Тюремщица.

Ага, значит, помнит. Тюремщица. Она сама подсказала ей это слово вчера ночью, но в устах послушницы оно звучит обидно. И девушка это знает.

— Как ты себя сегодня чувствуешь?

— Как собака после тухлого мяса, — отвечает она сиплым и шершавым голосом.

— Ничего, скоро пройдет. Мадонна Чиара просила, чтобы я показала тебе монастырь. Тебе не очень плохо? Свежий воздух может помочь.

Девушка пожимает плечами.

— Очень хорошо. Держи. — Она дает ей плащ. — Погода сегодня не самая приятная.

Снаружи легкий туман окутывает галереи серым покрывалом, и на ходу они выдыхают струйки пара. Зуана часто думает, что отцам, которым непременно нужно отдавать дочерей в монастырь против их воли, следовало бы выбирать для этого месяца потеплее. Будь сейчас лето, они задержались бы в саду, где разломали бы парочку спелых гранатов, или помешкали бы у пруда с карпами, чтобы посмотреть, как блеснет на солнце чешуя метнувшейся рыбы. Но, как известно всякому уроженцу Феррары, этот город славен своими зимними туманами,

которые пробирают до костей, и потому Зуана предпочитает шагать быстро и выбирать маршрут покороче.

Из величественной главной галереи коротким коридором они попадают в другую, поменьше. Встречают пожилую сестру, которая энергично шагает впереди стайки девочек восьми-девяти лет, семенящих за ней, точно утята за уткой. Одна из них с явным любопытством смотрит на послушницу, но, поймав взгляд Зуаны, опускает глаза. Среди пансионеров Санта-Катерины есть те, которые подрастают здесь для замужества, и те, кому предстоит остаться в монастыре навсегда. И их не всегда легко отличить одну от другой, думает Зуана. Все же, будь новенькая уроженкой Феррары, грамоте и катехизису она, скорее всего, обучалась бы здесь, и сейчас им всем было бы проще.

Вторая галерея куда скромнее и древнее первой, в щели меж каменными плитами двора пробивается трава, кирпичные колонны местами облуплены. Однако жизни здесь значительно больше. Второй этаж по обе стороны двора занимают расположенные над кухнями, пекарней и прачечной общие спальни, где живет обслуга, сестры-прислужницы, а несколько келий напротив занимают беднейшие монахини хора, с плохоньким приданым. Зуана с любопытством отмечает, что девушка рядом с ней явно заинтересована, ее глаза так и рыскают по сторонам. В воздухе пахнет мясной подливой и жареной капустой, звенят горшки и кастрюли. Зимой из-за кухонного жара здесь почти приятно, но с первой же оттепелью наступает ад, в котором нет спасения от духоты ни днем ни ночью. Тощая пятнистая кошка развалилась на пороге пекарни, с полдюжины слепых котят, пища и отталкивая друг друга, тычутся в ее брюхо в поисках соска. Заведующая кухнями сестра Федерика считает прямым оскорблением Господу положить хотя бы одну лишнюю ложку еды в любую тарелку, но, когда дело касается кормящих матерей — тех, которые не давали обета безбрачия, по крайней мере, — сердце ее тает.

Миновав двор, они ненадолго задерживаются в аптекарском огороде, где Зуана проверяет, не побил ли ее растения мороз, потом ведет послушницу дальше, мимо овощных грядок, мимо бойни и мясохранилища в загоны для скота, расположенные не настолько далеко от первых, чтобы туда не долетали звуки смерти.

На открытом пространстве, лишенном защиты зданий, температура падет стремительно. Зуана видит, как девушка дрожит.

— Может, посмотрим остальное в другой раз?

— Нет! — яростно трясет головой девушка. — Нет-нет, я хочу идти дальше.

— Разве тебе не холодно?

— Внутрь я не пойду, — отвечает она резко. — Раз уж мне предстоит быть похороненной заживо, то я хочу хотя бы видеть свой гроб.

— В таком случае плотнее запахни саван, — мягко отвечает Зуана. — Если не хочешь испустить дух до конца прогулки.

Чтобы разогнать кровь, она прибавляет шаг. Шайка драчливых чаек, которых прогнала с моря непогода, описывает над их головами круг и с криками исчезает в тумане. Через оголенный цветник они спускаются к пруду с карпами; смерзшиеся тростинки кучками торчат из воды, по которой плавают островки тонкого льда. Вдалеке слева несколько фигур в сером копаются в овощных грядках, то выныривая из тумана, то снова погружаясь в него, точно заблудшие души.

— Кто это? — спрашивает девушка, разглядывая их сквозь сумрак.

— Обслуга. Служанки монахинь из хора. Некоторые из них работают в саду, другие в прачечной и на кухне. Тебе уже наверняка тоже назначили прислужницу, которая будет убирать твою келью и помогать тебе одеваться.

Девушка машинально поднимает руку к голове.

«Кого же ей дали?» — думает Зуана. Августину или Даниелу? Одна злая, другая проказливая, и обе способны на жестокость.

— Сколько же их отцы заплатили за то, чтобы отдать бедняжек сюда? — бормочет девушка едва слышно.

— Куда меньше, чем твой. Тебе еще повезло, что мы не община бедной Клары, где сестры с радостью выполняют всю черную работу сами. Здесь наш Господь позволяет нам служить Ему иначе.

— Странно, зачем же вы тогда запираете ворота? Бойтесь, наверное, как бы желающие не набежали.

Девушка строит гримасу, потом наклоняется и поднимает с земли горсть камней. Зуана смотрит, как девушка нетерпеливо швыряет камни в пруд, где самые тяжелые сразу идут ко дну, а легкие сначала

скользят и вертятся на льду, и думает, уже не в первый раз, что когда девушка успокоится, то будет чувствовать себя в монастыре как дома; ибо, несмотря на внешнюю покорность и смирение, чего-чего, а острых языков в общине хватает.

Они идут через фруктовый сад, где армия плодовых деревьев вздымает свои корявые кулачки в полумраке, и наконец достигают монастырской стены, которая встает перед ними, точно утес высотой до свинцового сумрачного неба. Воздух вокруг тоже густой и серый, здания, мимо которых они шли, проглотил туман.

— О! Насколько же велико это место? — Тяжесть заточения заставляет голос девушки звучать глухо.

— Стены тянутся на три квартала в каждую сторону. Это один из самых больших монастырей в городе.

Вообще-то монастырь так велик, что девушки, выросшие в деревне, нередко находят утешение в обширных пространствах его садов и неба над ним. Другим, воспитанным на историях из жизни двора и городских улиц, не так уютно, хотя и они поневоле дивятся тому, какой большой кусок земли может отхватить себе в центре города богатый монастырь. А сама Зуана, впечатлило ли ее это, когда она впервые пришла сюда? Все, что она помнит теперь, — это каким маленьким и убогим был аптекарский огород, да еще то, что саженцы, которые она привезла с собой завернутыми в тряпочки и упакованными в сундук, в первую же зиму погубила ужасная метель. Зима. Да, это всегда самое тяжкое время первого года в монастыре.

— Если идти вдоль стены, то весь монастырь можно обойти за полчаса. Но конечно, только внутри, ведь вместо четвертой стены река. Ты этого не знала?

Девушка пожимает плечами. Если будущая послушница не обучается в монастыре и не живет в монастырском пансионе, то она обычно хотя бы посещает то место, где ей предстоит провести остаток своих дней. Но она и этого не сделала. Кто знает, вдруг это облегчило бы ей вхождение в монастырь? Уж конечно, богатым покровителям, которые приезжают взглянуть, как тратятся их деньги, или поговорить о будущих перспективах той или иной дочери, с радостью демонстрируют все чудеса монастыря, ведь прошлое Санта-Катерины не уступает ее настоящему. Одна из старейших в городе, обитель была изначально основана на острове посреди реки и служила домом кучке



монахов-бenedиктинцев, однако за годы ее существования лихорадка и сырость унесли столько жизней, что обитель опустела и была отстроена заново и возвращена к жизни лишь много позже, когда купеческие деньги осушили болота, направили в новое русло реку, а заодно истребили самые опасные болезни.

Литанию нынешнего благоденствия общины каждая монахиня знает наизусть: усовершенствованная система канализации и использование дистиллированных масел и трав в качестве фумигантов во всех общих помещениях и коридорах (новшество, введенное Зуаной, хотя правила скромности запрещают выделять для похвалы кого-то одного) уберегают ее от самых опасных болезней лета, благодаря чему сегодня в Санта-Катерине проживают около шестидесяти монахинь хора, восемь или девять послушниц, несколько юных пансионеров и двадцать пять прислужниц, и все вместе они трудятся не покладая рук, так что монастырь почти каждый год отправляет по корзине ранних фиг и фанатов в дар местному епископу и в благодарность — а заодно и в качестве напоминания о себе — самым щедрым патронам.

Но это отнюдь не означает, что монастырь живет на пожертвования. Вовсе нет. Река, ограничивающая монастырь с четвертой стороны, служит его торговым путем, а заодно и дополнительной мерой безопасности. Приближаясь к монастырю по воде, посетитель видит встроенную во внешнюю стену пристань и дверь с замком, которая ведет в склад, запертый изнутри, где купцы и ремесленники оставляют свои товары, даже не встречаясь с монахинями. По реке в монастырь привозят муку, свежую рыбу, те виды мяса, которое монахини не выращивают сами, вино, специи, сахар, полотно, нитки, чернила и бумагу. Нередко баржи, выгрузив товар, уходят обратно с новым грузом: ящиками рукописных требников и часословов, вышитых скатертей и церковных облачений, снадобий, ликеров и раскрашенных статуэток святых. Монастырские погреба ломятся от добрых вин, запасенных для праздников, а на кухнях ежедневно пекут хлеб, украшая его розмарином, и разливают по бутылкам свежее оливковое масло, столь же благоуханное, как пульпа, из которой его отжали. Если прибавить к этому приданое монахинь из хора, плату за обучение пансионеров и арендную плату с примерно дюжины домов, завещанных монастырю в постоянное

пользование, то нет ничего удивительного в том, что в иные годы доходы Санта-Катерины сравнимы лишь с прибылью, приносимой немногими особо богатыми поместьями.

Пока они проходят вдоль стен и речных складов, Зуана открывает Серафине фрагменты этой красочной картины, и в иные моменты молодой женщине становится так интересно, что она даже задает вопросы. Зуане хотелось бы рассказать больше, но она знает: в этом нет смысла.

Понимание того, что, теряя одно, тут же обретаешь что-то другое, всегда дается с трудом. К примеру, столь молодой женщине непросто открыть и оценить иные значения слов «свобода» и «заточение». Она не сразу осознает, что за пределами этих стен так называемые свободные женщины всю жизнь живут, подчиняясь чьим-то приказам, в то время как здесь они сами управляют своей жизнью — до определенной степени, разумеется. Здесь каждая монахиня имеет право избирать и быть избранной (где еще в христианском мире видано такое?), участвовать в обсуждении и принятии решений по всем важным вопросам: от составления меню на день очередного святого до выборов новой аббатисы, руководительницы хора или дюжины других должностей, существование которых необходимо для успешного управления монастырем, который является, в сущности, не только духовным убежищем, но и деловым предприятием.

В этой «тюрьме» нет отцов, притесняющих дочерей или ярящихся на их дорогостоящую бесполезность, нет братьев, любящих дразнить и мучить слабых сестер, нет пьяных мужей, вечно пристающих к усталым или благочестивым женам со своей похотью. Здесь женщины живут дольше: чума редко одолевает высокую монастырскую стену, и нет передающихся от мужа к жене болезней, при которых тело покрывается струпьями и гнойниками. Здесь ни у кого не выпадает матка от слишком частых беременностей, никто не умирает, обливаясь потом в родовых муках, и не страдает, похоронив полдюжины ребятишек. А если сердце женщины тает при виде маленьких херувимов, то в монастыре всегда есть кого баловать и воспитывать, начиная с девочек-пансионерок, которые обучаются в монастыре грамоте, и кончая глазастыми новорожденными младенцами, которых приносят в парлаторию<sup>[5]</sup> приходящие с визитами родственники. И хотя сердитым молодым послушницам может показаться смешной даже

сама мысль о том, что женщины со всего города сбегутся в монастырь, если не держать ворота на запоре, однако правда в том, что на каждые пять-шесть девушек, которые ревмя ревут, попадая сюда впервые, приходится одна женщина постарше, которая недавно овдовела или мечтает о вдовстве, а потому с нетерпением ждет того дня, когда сможет принять постриг.

Но сейчас не время выступать с защитными речами, и Зуана не делится с послушницей своими мыслями, пока они, петляя, идут назад к главному зданию. Поравнявшись с третьим кварталом, где начинается улица, они вдруг слышат шум и болтовню за стеной: телега грохочет колесами по каменной мостовой, раздаются обрывки смеха и громкие голоса, звуки повседневной мирской жизни. Зуана чувствует, как Серафина каменеет у нее за спиной.

— Где мы? Что сейчас на той стороне?

— Борго Сан-Бернардино, — отвечает Зуана, сориентировавшись. Временами в молодости она сопровождала отца в его визитах к больным и в результате знает город — но крайней мере, раньше знала — лучше многих. — Начинается у реки и идет на северо-запад, к рыночной площади, дворцу и собору.

Девушка явно недоумевает.

— Ты не знаешь большого дворца д'Эсте или собора? О, это жемчужины нашего города. И еще университет с его медицинской школой, где учат не хуже, чем в Падуе или Болонье. В следующий раз, когда окажешься в церкви в свободное время, проведи пальцем по спинкам сидений хора. Там все это есть, сложенное из тысяч кусочков дерева.

Но девушка никнет прямо на глазах, холод и бестелесная жизнь за стеной внезапно лишают ее сил.

— Идем. — Зуана касается ее руки. — Нам пора возвращаться.

Когда они входят в главную галерею, звонит колокол, который отмечает конец свободного времени и начало дневных трудов. Поднимаясь по угловой лестнице, они слышат лютню, к которой присоединяется одинокий голос, звонкий и чистый, как весенний ручеек.

Девушка тут же вскидывает голову, точно почуявший незнакомый запах зверь.

— Это музыка, сочиненная для праздника Богоявления. Ты любишь петь? — небрежно спрашивает Зуана и наблюдает, как вместо ответа на лице девушки возникает делано-сердитая гримаса.

— У меня больше нет голоса, — хрипло говорит она.

— Значит, мы все будем молиться о его возвращении — и ты с нами. Руководительница здешнего хора — а она, чтобы ты знала, двоюродная сестра нашей аббатисы, — училась композиции не у кого-нибудь, а у самого капельмейстера отца нынешнего герцога, и ее сочинения славятся по всему городу. Она ждет не дождется встречи с тобой. Обладательницы лучших голосов репетируют, пока другие работают. Ты удивишься, когда узнаешь, какими привилегиями пользуются певчие пташки в нашем монастыре.

По пути в музыкальную комнату они заходят в скрипторий, где за дюжиной столов, расставленных так, чтобы на них изливался весь солнечный свет до последнего лучика, сидит дюжина монахинь, которые прилежно трудятся, нарушая тишину скрипом перьев по бумаге, и отвлекаются от работы лишь затем, чтобы макнуть перо в чернильницу. Сидящая на возвышении сестра Сколастика с лицом круглым и светлым, как полная луна, поднимает голову и улыбается им, когда они появляются на пороге. Зуана кивает ей в ответ. Когда Сколастика не занята копированием священных текстов, то пишет собственные: пьесы про святых и грешников в рифмованных куплетах, лучшие из которых ставят во время карнавала или в дни, посвященные тому или иному святому. Ее преданность делу заражает. В других рабочих комнатах всегда царит какое-то нетерпение, но, как не раз за прошедшие годы отмечала Зуана, те, для кого переписка предпочтительнее иных видов труда, глубже остальных погружаются в работу; и хотя их обычная задача — копировать уже существующие тексты, однако небыстрый процесс заполнения пустой страницы требует большого умения и приносит особую радость. Первые шесть месяцев, когда Зуана рвалась в сад, к своим травам, а ее руки изнывали по ступке с пестиком, даже она испытывала здесь наслаждение, не говоря уже об удовольствии похулиганить, заполняя поля рукописи орнаментом из лекарственных трав, собранных в таком порядке, чтобы читатель, если бы он разбирался в медицине, мог увидеть в них рецепт снадобья от той или иной болезни.

Они идут дальше по верхней галерее мимо комнаты вышивальщиц, из-за двери которой, то стихая, то усиливаясь, доносится такая трескотня, как будто там сидит стая скворцов. Сестра Франческа, старшая в этой мастерской, снисходительно относится к веселью, ибо, по ее мнению, смех — один из божьих путей к очищению сердца, а в результате многие монахини помоложе собираются здесь и бессовестно пользуются ее добротой. Хотя есть те, кто этого не одобряет, Зуана более великодушна: она считает, что мелкие послабления часто помогают избежать крупных проступков.

Однако сегодня скворцы могут и подождать. Тот одинокий голос теперь танцует в окружении других, похожих на стайку серебристых рыбок, снующих взад и вперед в водах стремительного ручья, и шаги Серафины убыстряются в такт. Когда они подходят к музыкальной комнате, Зуана молча распахивает дверь и отходит в сторону, чтобы пропустить девушку внутрь.

После яркого звучания голосов комната просто шокирует своей монохромностью. В сером свете одна монахиня сидит, согнувшись над лютней, а остальные стоят группами по пять или шесть. Иные покачивают головами в такт музыке, остальные недвижны, как статуи. У каждой в руках страничка с текстом, однако смотрят они почти исключительно на крошечную фигурку напротив, чьи руки то взлетают, то опускаются, а гибкие пальцы как будто извлекают ноту за нотой из натянутых перед нею невидимых струн. Самый воздух комнаты так заряжен напряжением, что никто, кажется, не замечает, когда они входят внутрь. Зуана бросает взгляд на Серафину. Пусть потом отрицает это хоть всю жизнь, но сейчас она явно рада. И удивлена.

Да и сама Зуана, чей голос напоминает скорее крик чайки, чем пение жаворонка, поневоле взволнована. Она знает каждую женщину в этой комнате: они приходят к ней, когда у них першит в горле или садится голос, а также когда мучают боли, нарывы и расстройства желудка и кишок, часто донимающие человека. За пределами этой комнаты ни одна из них, исключая сестру Бенедикту, ничем особенно не примечательна, не лучше и не хуже других сестер этой обители, не дальше и, разумеется, не ближе к Богу, чем все они. Но здесь, стоит только закрыть глаза (как поступают, в сущности, все граждане Феррары, ибо, сидя в церкви, они не видят лиц монахинь, а лишь

наслаждаются пением, проникающим сквозь решетку алтаря), и такие звуки польются со всех сторон, будто запел хор ангелов.

В этом смысле в Ферраре небо и земля сочетаются идеально, ведь чем прекраснее голоса поющих монахинь города, тем ближе к раю ощущают себя горожане. А чем ближе они к раю, тем значительнее материальная благодарность, которой богатые покровители осыпают обитель, где живут такие ангельские создания. Даже самые немзыкальные из послушниц быстро узнают это, как и то, что в некоторых монастырях Болоньи, Сиены или Венеции хор привлекает в церковь так много высокопоставленных посетителей, что лучшим голосам зимой разрешается не вставать к заутрене, дабы уберечь связки от холодного ночного воздуха. Разумеется, такое открытое предпочтение одних перед другими может привести к обидам, и в Санта-Катерине аббатиса всеми силами старается поддерживать мир, сохраняя подобие равенства. Однако выразить предпочтение можно по-разному.

Голоса сливаются в последней ноте, она взмывает ввысь, ширится, а потом грациозно соскальзывает в тишину, которая, раз наступив, кажется столь же живой, как и сама музыка.

— Хррр. — Это Бенедикта издает странный горловой звук. — Между первой и второй частями «*Quia Gloria Domini super te orta est*»<sup>[6]</sup> не хватает чистоты. И еще, Евгения, твои первые два «аллилуйя» слишком тонки по сравнению с тем, как их поет сестра Маргарита. И недостаточно протяженны.

Небольшой сквозняк подхватывает незакрытую дверь и покачивает ее на петлях, что выдает их присутствие. И хотя крошечная сестра Бенедикта ничего, кажется, не заметила, монахини, привыкшие опускаться с небес на землю со скоростью почти сверхъестественной, уже охвачены любопытством. Появление всякой новенькой дает пищу для сплетен, а тем более если она наделена голосом такой силы, который может нарушить сон целой общины, несмотря на закрытые двери.

— Евгения, не могла бы ты...

Тут и она замечает их присутствие и оборачивается.

— Сестра Бенедикта, — склоняет голову Зуана, — я привела новую послушницу, чтобы она могла слышать хор.

— А! — И лицо маленькой женщины вспыхивает удовольствием. — Ах да, да! Голос из Милана. Проходи же, проходи. Мы тебя ждали.

Но девушка не двигается.

— Добро пожаловать. О, посмотри-ка. Да ты уже совсем взрослая. Месячные уже начались, да? И голос устоялся? — Бенедикта умолкает, кажется, даже не обратив внимания на то, что ей не ответили. — Ты умеешь читать ноты? Может быть, тебя не учили, но ты не беспокойся — это совсем не так трудно, как говорят. Да ты голосом схватишь все быстрее, чем умом. Я набросала тебе в псалме партию для верхнего регистра, но ее легко можно переделать, если окажется, что голос у тебя поглубже. Она вот такая...

И Бенедикта открывает рот и напевает несколько нот, которые выходят у нее еще стремительнее, чем слова, так что Зуане, по крайней мере, кажется, что уловить их просто невыносимо. Серафина же явно слушает, хотя и не отрывает глаз от пола.

Бенедикта останавливается.

— Это не слишком высоко для тебя?

В наступившем молчании кто-то из хора хихикает, и это слышат все, кроме сестры Бенедикты.

— Что такое? В чем дело? Тебе плохо?

— Я больше не пою, — говорит наконец послушница таким сиплым и надтреснутым голосом, какого Зуана у нее еще не слышала.

— Но почему? — Бенедикта подходит к ней и, не обращая внимания на Зуану, хватает девушку за руки. — О-о, какая ты холодная. Ты что, была на улице? Ничего удивительного, что у тебя пропал голос. Это все холод. Здешний ветер часто похищает самые лучшие голоса. А может, все дело в усталости после долгого пути. Ты должна заботиться о себе и делать все, что тебе говорит сестра Зуана. Хотя Господь даровал ей весьма посредственный инструмент, зато компенсировал этот недостаток талантом помогать другим. — И она награждает Зуану добродушной улыбкой. — Евгения, — поворачивается Бенедикта к хору, — подойди. Спой партию нашей новой послушницы, чтобы она повторяла ее про себя, пока не вернется ее голос.

В первом ряду юная Евгения, которая едва не засыпала прошлой ночью в церкви, теперь весела, как только что оперившийся

воробышек. Пока она ерошит перышки, готовясь запеть, Зуана замечает легкий намек на кудряшку, высовывающуюся из-под ее покрывала, без сомнения, дань изменению образа аббатисы.

— Воспрянь, пресветлый Иерусалим...

Слова в ее устах превращаются в полированное серебро. У нее есть молодость, один из лучших голосов в хоре, здоровый аппетит к сплетням и интригам монастырской жизни. Шестью месяцами раньше она пришла в лазарет к Зуане, прихрамывая из-за шипа в пятке, застрявшего там с тех пор, как она наступала босиком на терновый венец, дабы разделить страсти Христовы. Только нога стала болеть слишком сильно, и ей захотелось шип вытащить. Неделю спустя в часы рекреации она уже всю гонялась за белками в саду, и ее хорошее настроение заражало и вдохновляло куда сильнее, чем нерешительные попытки умерщвления плоти. С тех пор Зуана испытывала к ней определенную нежность.

— ...Аллилуйя.

Человек знающий сказал бы, что Евгения слишком долго держит последнюю ноту, точно птичка, защищающая свою территорию от возможного покушения соплеменников. Но в церкви ее пение наверняка заставит кое-кого из молодых пересмотреть свое представление о рае.

Теперь все взгляды устремлены на Серафину. Та стоит, вытянувшись, осунувшаяся, бледная, кожа почти серая, и смотрит прямо перед собой. Медленно она нагибается вперед, обхватывая рукой живот.

Когда она поднимает голову снова, Зуане на мгновение кажется, что девушка смеется; есть что-то похожее в том, как она переводит дыхание. В хоре кто-то нервно хихикает. Зуана слишком поздно понимает, что происходит.

Серафина открывает рот, и оттуда в сопровождении рыгающего звука тугой струей вырывается желчь.



## Глава пятая

— Выпей.

Девушка трясет головой.

— Это всего лишь вода с имбирным настоем.

— В таком случае выпей сама.

Зуана берет глиняный горшочек и отпивает глоток.

— Спроси любую из сестер — мои яды работают быстрее, чем мои лекарства. Если я еще стою на ногах, значит, можешь быть уверена: снадобье безвредно. — Она делает второй глоток, потом ставит горшочек перед девушкой. — Делай как знаешь, но, если хочешь, чтобы тошнота прошла, мой тебе совет — выпей.

Как Зуана и надеялась, от легкого нетерпения в ее голосе взгляд девушки вспыхивает. Она берет горшок и начинает нить, сначала понемногу, потом большими глотками. Обе молчат, Зуана деловито прибирает бутылки и мерные емкости. Обернувшись, она видит, что к щекам девушки возвращается румянец.

— Лучше?

— Что это было?

— Я же тебе сказала. Корень имбиря. Он полезен для желудка.

— Я про отраву прошлой ночью.

— А... белладонна, аконит, кашица из листьев тополя, маковый сироп.

— И от чего же меня сейчас так тошнит?

— От мака, наверное. Похоже, он дольше всего не выходит из тела.

Серафина сидит на подоконнике в аптеке. За окном, довольно далеко, лежит простой клочок земли, который служит обители кладбищем: ряды аккуратных деревянных крестов, как точки в конце каждой истории о выполненном долге. Показывая девушке монастырь, Зуана не повела ее на кладбище и не хотела бы, чтобы та сейчас его заметила.

— А сны ты видела?

Та медленно кивает, явно не зная, говорить или нет. Зуане хорошо памятна эта скрытность: в первые дни ужас заточения заставляет

казаться подозрительными даже самые простые знаки внимания и доброты.

— Кошмары?

— Я тонула. — Воспоминание омрачает голос девушки. — Не в воде, а в камне, в жидком камне. Я все пыталась закричать, но стоило мне открыть рот, как он затекал внутрь.

Сколько подобных историй слышала Зуана? Ее отец записывал сны, поскольку интересовался тем, как их изучали древние и что из них можно узнать. Самыми дикими всегда были видения, вызванные маковой настойкой, ведь снадобье словно питалось тревогами и страхами того, кто его принимал.

— Этот настой может вызывать странные видения. Но они скоро уйдут.

— В отличие от меня? — говорит девушка ядовито. И делает новый глоток. — Я тоже здесь не останусь. Слова шли из моих уст, не от сердца.

И она снова набычивается, решительно склонив голову.

Зуана спокойно наблюдает за ней. Они наверняка уже обсудили все с аббатисой, оставшись в ее покоях вдвоем: что любая послушница, отданная в монастырь против воли, может спустя год отказаться от своих обетов и обратиться к епископу с просьбой об освобождении. О чем еще они могли говорить? И разумеется, аббатиса сочла своим долгом показать ей всю позорность такого поведения и объяснить, что если община не сможет справиться с источником беспокойства самостоятельно, то во всей Церкви не найдется ни одного епископа, который согласится выслушать ее протест, не говоря уже о том, что семья ни в коем случае не примет отступницу обратно. Так что в конце концов у молодой женщины останется лишь два пути: слезами довести себя до тихого помешательства или, с Божьей помощью, найти в себе силы превратить свой протест в смирение перед неизбежным. Так, как это сделали до нее многие другие.

— Ты думаешь, что я отступлюсь!

— Я понятия не имею, что ты сделаешь. Но имей в виду: мороз сильно повредил мой аконит в этом году, а поскольку он помогает не только от зубной боли, но и от истерик, то, я надеюсь, ты не долго будешь кричать по ночам.

— Если и буду, то твою отраву больше не приму. Я... ай... — Она умолкает и закрывает руками уши.

— Что с тобой? Снова тошнит?

Девушка мотает головой.

— Глаза давит.

— Это из-за повязки. Когда говоришь, собственный голос в голове отдается? Если запоешь, станет хуже. Кто тебя одевал сегодня утром?

— Я... я не знаю. У нее был толстый нос и бородавка на подбородке.

Ага, не проказница, а злюка.

— Августина. Дочка мясника. Она с детства привыкла сворачивать шеи цыплятам, вот и упражняется теперь на всех подряд. Будет лучше, если ты найдешь себе другую помощницу для кельи.

— А как это сделать?

— Едва голос вернется к тебе, сестра Бенедикта все устроит, не сомневаюсь.

Она наблюдает, как девушка морщится, и смягчается. Слишком жестоко оставлять все как есть.

— Я могу ослабить тебе повязку, если хочешь.

Девушка колеблется. Попросить помощи не означает ведь сдатьсь.

— Да. — Молчание. — Пожалуйста.

Она сидит, недвижимая, словно статуя, когда Зуана подходит к ней и в поисках булавок просовывает руки под ткань у нее на затылке. При свете дня, да еще так близко, она видит белую, как сливки, юношески нежную кожу, пухлые, как у купидона, губы над волевым подбородком и глаза, такие глубокие и темные — скорее черные, чем карие, — что радужка почти сливается со зрачком. Нельзя сказать, что она хороша, как мадонна, зато в ее чертах угадывается характер, сильный, даже необычный.

Зуана заново скрепляет материал, но не так туго.

— Не бойся. Скоро привыкнешь. Не успеешь оглянуться, как без покрывала станешь чувствовать себя неодетой.

Девушка моргает, крупная слеза выступает у нее из глаза и стекает по щеке, ведь сама эта мысль кажется ей сейчас нестерпимой. Зуану вдруг охватывает желание прижать ее к себе крепко-крепко и нашептать на ухо, почему сопротивление убивает и как быстро заживают раны, если применить к ним нужные средства. Сила

собственного чувства пугает ее, и она отдергивает руки. Никогда она не была утешительницей, нечего и начинать. Тем более что некоторые вещи познаются лишь на собственном опыте.

Она возвращается к столу и начинает вынимать терки и разделочные доски. На приготовление снадобий для епископа времени и так мало, даже с учетом разрешения пропускать службы, а день почти прошел. Когда она оборачивается, девушка уже стоит рядом с ней.

— Это здесь ты работаешь?

— Да, здесь я занимаюсь дистилляцией.

— А кто тебе помогает?

— С пациентками мне помогает сестра из обслуги. А в аптеке я одна.

— И тебе разрешают?

— Поскольку голос у меня такой же грубый, как мои пальцы, то считается, что от меня больше пользы здесь, чем в хоре или среди вышивальщиц.

И это верно. Даже когда она только пришла в монастырь, руки у нее были скорее как у работницы, чем как у дамы, а годы копания в земле и возни с химикатами в аптеке не сделали их краше, напротив, кожа потрескалась и покрылась пятнами. Ну а что до пения, то тут все знают: среди монастырских голосов она как гольян среди прудовых карпов. При мысли об этом Зуана улыбается. Ей-то все равно. Временами она думает, что у нее свой хор, только другого рода, где каждый ингредиент — это голос, тихий или громкий, низкий или высокий, легко узнаваемый сам по себе и способный породить созвучия и резонансы в слиянии с другими.

При последнем подсчете в аптеке было около девяноста бутылочек. Чем не хор из лекарств! Она уже подвергла себя покаянию за гордыню, но мысль никуда не уходит. Отец понял бы ее. Он всю жизнь искал музыку природы, переданную через гармонию сфер. А в церкви, как и она, не мог пропеть и ноты.

— Как их много! — Девушка разглядывает полки. — Сколько же времени тебе понадобилось, чтобы столько собрать?

— Наверное, лучше тебе не знать, — отвечает Зуана весело. Но ей приятно, что девушка спрашивает.

— И что, в каждой свое лекарство?

— Некоторые работают в одиночку. Их называют простыми средствами. Другие смешивают для приготовления сложных.

— А вот это что? — показывает девушка на бутылку с маленьким, скрученным корешком внутри.

— Чемерица белая.

— Что она делает?

— Очищает организм.

— От чего?

— От чего угодно. Она вызывает сильнейшую рвоту.

— Хуже, чем у меня?

— Можно лишиться половины желудка, если не соблюдать осторожность.

— Вот как! А ее что, едят?

— Не в чистом виде. Она слишком ядовитая.

— Так как же она действует?

Любопытство. Не самое характерное для непокорной послушницы качество. С другой стороны, содержимое аптеки вряд ли способно воспламенить воображение девушки, если в ней нет любовных эликсиров, конечно, — но их у Зуаны, понятное дело, нет. «Средство для превращения здоровых в больных» — вот как называл их ее отец, хотя, судя по тому, что она слышала от людей о матери, он тоже страдал в свое время этим недугом, хотя и недолго.

— Кусочек корня кладут в яблоко или грушу и запекают в горячей золе. Когда плод готов, корень выбрасывают, а мякоть едят.

— А как узнать, сколько нужно корня?

— Это зависит от веса человека. Или от природы того, что требуется изгнать.

— Ты хочешь сказать, что отраву изгоняют отравой?

— В каком-то смысле. Многие ингредиенты меняют свои свойства в зависимости от того, с чем их соединить.

Девушка показывает на другую бутылку, подальше.

— А это что?

— Листья вербены.

— Какую болезнь они лечат?

— Свежие листья, приложенные к коже, лечат головную боль.

Приготовленный корень — зубную.

— А в таком виде?

— Разведенные в сладком вине с мятой помогают от месячных болей.

А таковых в обители более чем достаточно, ведь собранные вместе нерожающие утробы исправно корчатся от мук, порой совершенно непереносимых.

— Ха! Я знаю кое-кого, кто заплатил бы за такое снадобье целое состояние. — Теперь яд слышен в ее голосе. — А что-нибудь для избавления от нежеланных младенцев у тебя имеется?

— Нежеланных младенцев? В монастыре? — смеется Зуана.

Разумеется, сплетни всегда ходят. Монахинь представляют этакими дойными коровами для сластолюбцев от Церкви. Зараза Лютера проникает повсюду, да и неудивительно, ведь монаху, женившемуся на монахине, приходится громоздить одну ересь на другую, чтобы спасти себя — и свою отступницу-жену — от ада. Однако и в Санта-Катерине такое иногда услышишь... к примеру, об одном островном монастыре в Венеции, который исповедник превратил в срамной дом для себя в качестве единственного клиента. Говорят, весь город сбежался посмотреть, когда его жгли.

— Что такое? Кто-то из твоих знакомых нуждается и в этом?

Девушка делает гримаску. Разумеется, она не первая, чьи планы на будущее изменила стратегическая беременность сестры. Но с Зуаной своими секретами она делиться не будет. По крайней мере, пока.

— А мак, от которого мне снились дурные сны. Он где?

— Здесь. На одной из полок.

Девушка старается проследить ее взгляд.

— Здесь? Или здесь? — Она протягивает руку.

— Нет-нет. И поосторожнее с этим, пожалуйста.

— А что? Это тоже отравя?

— Нет, это кровь.

— Кровь? Чья?

— Сестры Пруденцы. Она стала страдать припадками, и я ее лечу.

— Совсем на кровь не похоже.

— Это потому, что она смешана с вороньим яйцом.

Девушка глядит на Зуану так, как будто у той из-под юбки только что высунулся черт. Приходится ей улыбнуться.

— Это испытанное средство. Регулярно принимаемое внутрь малыми дозами, оно помогает от припадков, если болезнь не зашла далеко.

— А если зашла?

— Тогда я не смогу ей помочь. — И перед ее глазами снова встает видение молодой послушницы, которая лежит на полу своей кельи и бьется о каменные плиты всем телом, как выброшенная на берег рыба.

Девушка ставит бутылку на полку с таким видом, точно боится заразиться от одного прикосновения к ней.

— А тех, кому ты не можешь помочь, много?

— Это зависит от того, чем они больны.

Разумеется, Зуана знает, о чем она сейчас думает: уж ее-то болезнь не вылечить никогда, ибо рана ее слишком глубока.

— Странно, что тебе позволяют все это, — говорит девушка, озираясь.

— Почему? Думаешь, если монахини служат Господу, то они должны умирать раньше или страдать больше, чем другие?

— Нет. Я хотела сказать... Ну, это как-то не очень похоже на молитвы.

— А вот тут ты ошибаешься... — Конечно, ей приходилось сталкиваться с этим и раньше; слепота, которая отказывается видеть Господа в чем-либо, кроме страдания и молитв. — В этой комнате все — молитва. Оглянись вокруг. Все здесь, каждая травинка, каждая капля сока, каждый ингредиент каждого снадобья происходит из природы и из земли, которую Он создал вместе с небесами для нашей почитания. Даже сама наша способность понимать это дарована Им.

«Почитай врача за нужду, которую имеешь в нем. Ибо и его создал Всевышний». Екклесиаст. 38, стих 1.

Девушка смотрит на Зуану с изумлением, потом нервно хихикает, словно они вдруг поменялись местами и теперь она играет роль нормальной, оттеняя безумие Зуаны.

Ну конечно. Когда Зуана поступила в монастырь, именно женщины, которые цитировали Библию как по писаному, казались ей хуже всех, ведь напряженность их чувства заставляла ее тем больше ощущать собственную заброшенность. Теперь ей с ними легче. Иногда они даже приносят ей отрывки из Писания, в которых говорится о

травях, хотя ни одна еще не показала ей ничего такого, чего она не видела бы сама.

— Ты так много знаешь. И всему этому ты научилась здесь?

— Нет. Многому меня научил отец. Остальное я прочитала в книгах или узнала сама.

— Твой отец? Он что, тоже отправил тебя сюда?

— Нет. Да. — Она умолкает. — Когда он умер, мне некуда было идти.

— А ты сама? Ты хотела быть здесь?

— Я... — Она запинаясь. Какой грех хуже: ложь или поощрение отчаяния? — Мне некуда было идти.

— Сколько лет назад это было? — смотрит на нее Серафина.

— Шестнадцать.

Зуана замечает, как та потрясенно открывает рот, точно хочет вскрикнуть. Ее жалость ощутима. Разумеется, сейчас ей кажется, что она никогда не будет такой старой неудачницей.

Девушка отворачивается и глядит в окно. Теперь она наверняка видит краешек кладбища за оградой аптекарского огорода. Зуана смотрит на нее, пока та стоит как громом пораженная. Но вот она оборачивается.

— Она говорит, что я буду работать с тобой.

— Мадонна Чиара?

— Да. Она говорит, что Господь призывает к себе в разные дни. И что ты хорошая и любящая монахиня.

— Значит, ты должна слушаться ее. Она аббатиса и избрана за свое смирение и ученость.

— Вот как. Значит, поэтому она завивает волосы, словно придворная дама?

И опять Зуану поражает гибкость ее ума. Когда девушка перестанет желать невозможного, ее остроумие наверняка прибавит яркости полотну повседневной жизни обители, которая на первый взгляд может показаться тускловатой.

— Может быть, так она хочет помочь тебе почувствовать себя дома.

— Как? Щеголяя прошлогодними модами? — кисло отвечает та. — И вообще, здесь я никогда не буду чувствовать себя дома.



Но все дело в том, что процесс уже начался. Просто она об этом пока не знает.

## Глава шестая

Она вытаскивает из кармана камешки. А что, если ни один из них не окажется достаточно крупным? Их легко было засунуть в рукав, пока она бросала в пруд остальные, но отбирать тяжелые времени не было. Она вытирает с них грязь и кладет их на вынутый из требника листок. Написанные на нем слова она помнит наизусть.

Кто не глядел в глаза моей мадонны,  
И взоров нежных на земле не наблюдал;  
Не знает тот любви законов томных,  
Кто вздохам легким, как зефир,  
И музыке речей и смеха не внимал.

Она тихо напевает, стараясь не дать звуку вырваться наружу. Да, голос по-прежнему при ней, благодарение Богу. Открой она сейчас рот, все бы это услышали. Ха! Да если бы она захотела, она бы камни своей тюрьмы им пронзила. Уж тут хормейстерша как миленькая прибежала бы, брызгая своей сумасшедшей музыкой, как лопнувшая труба водой. «О, наш великий город полон любителей музыки». Ничего, подождут. Все: и горожане, и монахи. Скорее ад застынет, чем она запоет для них.

Сальная свеча на столе шипит и брызгает, и ей приходится возвращать ее к жизни, ладонями прикрыв пламя со всех сторон. Нет, эти камни слишком малы! Она берет самый крупный и пытается обернуть вокруг него листок. Получается, но не туго, и, когда она бросает камешек на кровать, бумага разворачивается и слетает с него еще в воздухе. Камни потяжелее (где только их взять?) подошли бы, но края все равно придется чем-то заклеить. И даже если она найдет все необходимое — нужный камень и подходящий клей, — сумеет выбраться в сад и перекинуть камень через стену, то как, во имя Господа, ей узнать, куда его бросить?

Договариваясь с ним об этом — в том единственном, отчаянном разговоре шепотом через дверь спальни, когда все уже рушилось вокруг них, — она представляла себе здание с окнами или

колокольной; в худшем случае стену ограниченной высоты, через которую можно заглянуть. Но это место такое громадное, что можно месяц ходить вдоль стен и так и не понять, где ты. А что, если она неправильно рассчитает и бросит письмо в реку? Или оно попадет в какую-нибудь выбоину или придорожную канаву и сгниет там, никем не найденное? Может, канавы и так полны ими: отчаянными письмами женщин, давно обросших бородой и всеми забытых.

Но как иначе она ответит ему, когда он придет? Как передаст какое-нибудь послание? В наружном фасаде окон не больше, чем в тюрьме, да и те так высоко, что достать их может лишь луч света, которого здесь, видит Бог, тоже не хватает. В саду хотя бы видно и есть чем дышать. Но воздух такой сырой, что при каждом вдохе легкие как будто наполняются водой. Нескончаемый сумрак пропитывает весь город целиком. Бррр. Что там говорила сестра-тюремщица насчет монахов, умиравших от болотной заразы? Неудивительно. В Милане зимой хотя и холодно до того, что слеза прошибает, но небо, по крайней мере, всегда синее. А здесь и неба-то настоящего нет, один только полог цвета дохлой крысы, тяжелый, как камень.

Она чувствует, как слезы начинают щипать ей глаза, и заставляет себя несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть. Когда сегодня ночью за ней закрыли дверь, она снова завывала, паника поднялась в ней внезапно, как тошнота, но из-за зелья, все еще бродившего в ее желудке, скоро перестала. О, будь у нее силы, она бы вопила, визжала и колотила кулаками в дверь всю ночь напролет, каждую ночь, пока не свела бы их всех с ума своим безумием. Только теперь она боится, что ее снова напоят какой-нибудь отравой, да еще подмешают к ней кровь с вороньими яйцами, чтобы у нее начались припадки. Эта скользкая аббатиса ведь так и сказала, когда она притворялась, будто не слушает: невыспавшаяся обитель — плохое место, и если придется держать послушницу под замком, напоив снотворными снадобьями и лишив ее всех удовольствий, то, как это ни печально...

Нет, такой радости она им не доставит. По крайней мере, до тех пор, пока у нее есть другой способ оставить свой след.

При всем своем хитроумии этого — отказа петь — она не планировала. Она и не помышляла о таком до того дня, когда они вошли в галерею, услышали поющие голоса и сестра-травница спросила ее, любит ли она петь. Но чем ближе они подходили к

комнате, тем совершеннее казался ей план: раз ее взяли из-за голоса (а, видит Бог, он им нужен, если та костлявая монахиня с мотетом — все, чем они могут похвастаться, — слишком много придыханий и писклявые высокие ноты), раз ему придадут такое большое значение, то его-то они и не услышат. Пусть владеют ее телом, но голосом — никогда. А это значит, что у них не будет над ней власти, ибо только в пении она проявляется целиком. И он — единственный человек в ее жизни — это понял.

Здесь она сидела, здесь сладко пела.  
Здесь ее взгляд пронзил мое сердце...  
И я ослеп, ее утратив,  
И я оглох, ее не слыша,  
Ведь нежный ее голос не звучит средь нас.

Нет, для них она петь не будет. Разумеется, говорить ей время от времени придется, но если она будет делать вид, что хрипит, как сегодня, то обманет почти всех. С травницей придется повозиться. Она умна, даже не лишена остроумия, хотя Бог знает, как оно не увяло в этой могиле старой высохшей плоти. Шестнадцать лет! Подумать только! Шестнадцать лет просидеть взаперти в этой тюрьме с книгами да вонючими бутылками вместо компании. Да еще эти странные выдумки насчет неба, земли и божественных снадобий...

И все же, раз в этой тюрьме так или иначе придется работать, лучше уж делать это в аптеке (все интереснее, чем сидеть, согнувшись, над книгами с пером в руке, как те сороки в скрипториуме, у которых такой вид, точно они уже умерли). По крайней мере, на аптечных полках много интересного, и можно кое-чему научиться, особенно если сумеешь отличить кровь от макового сиропа. А если знать рецепт, то можно весь монастырь усыпить. И она представляет себе, как монахини одна за другой подходят к чаше с причастием, делают глоток и тут же валятся на пол. Сама порочность этой мысли вызывает у нее улыбку. Наверняка уцелеет лишь одна горгулья с заячьей губой, она у нее как канал, прорытый от рта к носу. Она ведь едва может пить. Брр! За обедом ей приходится склонять голову набок, чтобы вода из ее стакана не полилась в тарелку.

При одной мысли об этом ее тошнит. Быть может, ее отец намеренно выбрал именно это место, зная, что в нем полно уродин: горбуньи, идиотки, которые улыбаются без всякой причины, хромая, у которой правая нога на полчаса отстаёт от левой, и самая страшная из всех — послушница с лицом, изуродованным оспой, причем шрамы еще так свежи, что совсем недавно она могла быть хорошенькой.

Девушка из семьи Доменичи, их соседей, пережила такой же кошмар: в воскресенье дразнила мальчишек в церкви, показывая им из-под вуали язык, а через шесть недель во время мессы прятала изрытое оспой лицо под покрывалом толстым, как зимние шторы, и все, кто сидели рядом с ней, слышали, как она всхлипывала. Ходили слухи, что она сама попросилась в монастырь, так как не могла больше быть среди людей с нормальными лицами. Да и кому она теперь такая нужна? О Господи милостивый, а что, если здешняя монахиня еще заразна или какая-нибудь другая оспа заползет сюда через окна? Через несколько недель все умрут или останутся калеками. Нет. Матерь Божия, молю тебя, пусть такое не случится со мной.

Любовь мне левый бок открыла  
И в самое сердце мне лавр посадила,  
Такой прекрасный, что его листва,  
Как изумруд, зелена.

Она снова чувствует, как слезы обжигают ей глаза. Ха! Заслышав шаги ночной сестры, которая обходит дозором галереи, девушка проворно наклоняется к свече, чтобы задуть ее, и в спешке роняет несколько капель свечного сала себе на руки.

Сало такое горячее, что она сначала морщится, но быстро замечает, как оно схватывается и прилипает к ее пальцам. Свечное сало. Как воск на печати. Ну конечно! Печать. Да!

Теперь осталось только найти камни покрупнее, и можно будет свечным салом, словно печатью, скреплять бумагу вокруг них. По крайней мере, в этом отношении она будет готова к его приходу. Потому что он обязательно придет. Она в этом уверена.

## Глава седьмая

Вот то, чего Зуана никогда не видела и, скорее всего, не увидит:

- океана;
- могучих жил в земных недрах, где зреют драгоценные металлы;
- животного, называемого ламией;
- новорожденного младенца;
- внутренностей умершего...

Хотя к последнему она была ближе многих.

Ее отец был далеко не первым, кто осуществил вскрытие мертвого человеческого тела публично. В то время когда он, облаченный в огромный фартук мясника, еще только входил в лекционный зал Университета Феррары, анатомическое вскрытие уже было неотъемлемой частью медицинского образования в Падуе и Болонье. (Сам великий Везалий<sup>[7]</sup> много лет работал в Падуе, где заложил основы своего великого труда о строении человеческого тела: это факт, с которым Зуана знакома так давно, что даже и не помнит, когда услышала его впервые.) Но благодаря таким ученым, как Манкарди и Бразалола, Феррара не плелась позади, и к тому времени, когда Зуана стала отличать вену от мышцы, публичные вскрытия происходили в стенах университета каждый второй год: аудиторию составляли сто с лишним студентов-медиков в толстых плащах и шляпах да кучка горожан с крепкими нервами, достаточно любопытных и небрезгливых, чтобы заглянуть в собственное нутро.

Событие это происходило либо в одном из лекционных залов университета, где на скорую руку расставляли сиденья так, чтобы как можно больше людей могли видеть лежащий на столе труп, либо, позднее, когда желающих стало слишком много, в соседней церкви, отведенной специально для этой цели. И там и там было жутко холодно, а резкий запах предохраняющего от разложения спирта пронизывал воздух. Расчленение поневоле приходилось проводить лишь зимой, когда через распахнутые настежь окна и двери внутрь попадало достаточно холодного воздуха, чтобы труп оставался свежим

два или три дня, необходимых для завершения процесса (хотя это же означаю, что при работе с живыми свиньями и собаками об их боли и страхе узнавали полгорода).

Временами, когда холод пронизывает до костей — как сейчас, — или изготовление того или иного снадобья требует применения той же сохраняющей жидкости, или ради какого-нибудь праздника в монастыре режут свиней, так что галереи звенят от их пронзительного визга, Зуана моментально переносится в прошлое: она видит себя молодой женщиной, которая, сама не своя от волнения, вглядывается в стол, слушает низкий голос отца, разносящийся по залу, когда тот делает первый разрез вдоль ключицы и затем ведет скальпель вниз, по боку, чтобы создать клапан из кожи, подняв который можно будет увидеть грудную кость, легкие, а затем и сердце.

Увы, это лишь мечта, которой не суждено было сбыться. Да, ощущения были вполне реальны: запахи (отец был пропитан ими, возвращаясь домой в такие ночи), холод, истерия запертых в загон, ждущих своей участи животных, которые всегда как будто знали, что им предстоит, и чувство все растущего возбуждения, которое заполняло улицы, по мере того как удлинялась очередь из студентов, и спадало, когда они расходились после окончания зрелища. Но все остальное происходило за закрытыми для нее дверями. И не от недостатка усердия с ее стороны. К четырнадцати годам она знала довольно, чтобы по виду опознать любой орган, который мог обнажить нож. А к шестнадцати подросла и окрепла настолько, что под прикрытием толстого плаща и шляпы вполне могла бы затеряться в толпе. Но отец был непреклонен. Хотя он никогда не гнал ее из кабинета, где они вместе отмеривали и смешивали снадобья, и позволял помогать ему в саду, где они собирали травы и корешки — даже мандрагору, которая, вытащенная из земли, выглядит точь-в-точь как миниатюрное человеческое тело... Хотя вместе они рассмотрели сотни гравюр с изображениями человеческих внутренностей, но когда дело доходило до того, чтобы воочию увидеть, как снимают настоящую кожу и обнажают скрытые под ней чудеса, дабы познать божественное творение во всей его славе, то даже столь незаурядному человеку, как он, это казалось не женским занятием.

Однажды она почти осмелилась бросить ему вызов. Припрятала плащ и шляпу, позабытые кем-то из посетителей, и приготовилась

выскользнуть из дома вслед за отцом. Но он каким-то чутьем угадал ее волнение и не покидал дом до той самой минуты, на которую было назначено начало, так что, когда она смогла наконец выйти, лекционный зал был переполнен и очередь растянулась до половины улицы. Позднее, когда он умер и все засуегились вокруг нее, не зная, куда ее девать, она спрашивала себя, не думал ли он уже тогда о том, что молодая женщина, чей ум он с такой любовью наполнял собственными знаниями, может со временем стать не только неоценимой помощницей для него, но и обузой для себя.

А может, он считал, что будет жить вечно. Она-то определенно так думала.

И поскольку ее медицинский опыт был в свое время сурово ограничен, теперь, когда ей бывает нужно проникнуть внутрь человеческого тела, приходится полагаться на книги: мышцы, сухожилия, внутренности, кости и кровь — все в виде рисунка из тонких черных линий на белой странице. Будь у нее тома великого Везалиуса — о, если бы ей удалось сохранить их! — то, перелистывая каждый раз их страницы, она обучалась бы всему заново, ибо не было в человеческом теле такого уголка, куда бы не заглянул его нож и его любопытство. Но когда после смерти отца налетели падальщики, с ними из его кабинета исчезли несколько главных сокровищ, которые она не успела или не сообразила припрятать, и Везалиус был самым ценным среди них. Что до живых тел, то, хотя ей доводилось ощупывать опухоли и заглядывать под или всматриваться сквозь сорочки монастырских женщин, когда боль пересиливала в них скромность, в понимании мужского тела ей отказано навеки.

За одним исключением, конечно.

Ибо она, как и все сестры, каждый день пребывает в присутствии самого совершенного из мужских тел: Бога, ставшего плотью.

Благодаря этому — церковные иерархи, вне всякого сомнения, были бы в шоке, услышь они такое, — монастырь стал для Зуаны своего рода медицинской школой. Ведь Его тело здесь повсюду: в алтаре и нефе главной церкви, открытой для монахинь даже тогда, когда в нее нет доступа горожанам; в их собственной часовне за алтарем, где они молятся восемь раз в сутки; на стенах коридоров, по которым они ходят, в трапезной, где они едят, и даже в кельях, где они ночуют. Всюду. И везде показаны разные периоды Его жизни и смерти:



от розового пухлого младенца, тянущего ручонки с материнских колен, до прекрасного серьезного молодого человека, под чьей подпоясанной одеждой угадываются широкие плечи и узкие бедра, и наконец жестокое, постепенное уничтожение этого самого совершенного тела в нору расцвета его мужества.

Однако именно уничтожение впечатляет сильнее всего.

За долгие годы Зуана узнала сломленное, нагое тело Христа лучше, чем свое собственное, ибо здесь оно не просто повсюду, но еще и любовно, правдиво, анатомически верно изображено. Это она поняла еще в самые первые дни своего заточения: скульпторы, создавшие два самых значительных распятия Санта-Катерины — большое деревянное, висящее над алтарем в церкви, и каменную статую на стене главной галереи, — так же хорошо знали человеческое тело, как любой анатом, что вполне естественно, ведь в наши дни всякий художник или скульптор, в чьих жилах течет настоящая кровь, считает своим долгом проникнуть в склеп или хотя бы попасть на те самые лекции по анатомии, в которых было отказано ей, с целью усовершенствовать свое искусство.

В их руках мертвая материя стала плотью. Сама поверхность камня или дерева обрела нежность; глядя на них, видишь — ощущаешь, — как уязвима кожа перед жалом копья или ударом хлыста. Как шины пронзают и впиваются в тонкий слой плоти на лбу. Как гнутся спина и плечи под бременем огромного креста. Чувствуешь силу ударов, которые вгоняют гвозди в руки, мозжа хрящи и кость, слышишь, как скрипят натянутые веревки сухожилий, принимая на себя вес тела целиком, видишь, как одно-единственное не забинтованное вовремя отверстие может кровоточить до тех пор, пока вместе с кровью не уйдет из него и жизнь.

На распятии в часовне рана в боку Христа подсохла, так что края пореза напоминают приоткрытый алый рот, из которого течет струйка крови. А у фигуры в галерее рана глубокая, свежая, ярко-красная кровь хлещет рекой, оmyвая бок, ноги и камень, на котором установлен крест. Даже в самые густые зимние туманы огненно-красное пятно отчетливо выделяется на белой коже, и многие сестры, проходя мимо, против воли поднимают глаза к кресту, убеждаются, что рана на месте, и продолжают путь.

Разумеется, не все видят и чувствуют одинаково: это откровение пришло к ней довольно рано. Для одних — обычно это те, кто поступает в монастырь в юности или живет в нем дольше других, — привычка к подобным изображениям делает их обыденными, даже заурядными, смерть Христа становится чем-то вроде мебели, на которую бросают мимолетный взгляд, опаздывая на службу или спеша по своим обычным делам. Для других она причина, иные даже сказали бы — повод к украшению: такова изысканная красота серебряного распятия сестры Камиллы или показная роскошь усыпанного камнями креста аббатисы.

Однако находятся и такие — сестра Персеверанца самая активная из них, — для кого страдания Христа, напротив, всегда новы и столь заразительны, что заставляют их стремиться разделить его боль. Или такие, кого Его смирение и одиночество на кресте трогают так сильно, что их постоянно разбирает жалость. До ссылки в лазарет сестра Клеменция дни и ночи проводила с тряпочкой в руках возле распятия в галерее, пытаясь смыть кровь с Его бока. Сострадание к Христу снесло ее всегда (куда больше, надо заметить, чем сострадание к другим сестрам), однако в последнее время она лила слезы не переставая, и аббатиса решила, что ее место среди больных. Зуана сомневалась; печаль, казалось, вполне устраивала саму монахиню, а там, где слишком много тронутых старух собираются вместе, возникает особый ветер безумия. Верно, что сейчас Клеменция плачет реже, однако вырванная из привычного окружения, она совсем потеряла разум, как будто он улетучился вместе с ее тоской, уступив место хворям и даже редким блужданиям по ночам.

Но лучше уж она, чем те, кто щеголяет Его болью, точно фамильным гербом. Особенно сестра Елена, которая только и делает, что рассказывает всем, кто пожелает слушать, о своих немощах. «О, прошлой ночью я не сомкнула глаз, так у меня страшно колото в боку». Или придет в часовню и будет хромать и охать, пока кто-нибудь наконец не спросит, что с ней. «О, Господу было угодно, чтобы у меня загноилась рана на бедре. Я так благодарна, хотя это ничто в сравнении с Его страданиями», — и похромает восвояси, довольная, что Он отметил ее как избранную, — хотя те, у кого глаза поострее, замечают, как быстро она перестает хромать, когда думает, что ее никто не видит.

Зуана, напротив, никогда ничего подобного не испытывала.

Ее вина — ибо именно так она ее понимает — кроется совсем в другом: в потребности излечить Его. Истинная дочь своего отца, она, едва став достаточно взрослой для понимания страстей Христовых, интуитивно захотела лечить Его, а не молиться Ему. В первые недели в монастыре, когда будущее казалось ей мрачным, как могила, она удерживала себя на краю отчаяния тем, что в бесконечные часы, проведенные в часовне, изучала огромное, висящее на стене тело и подробно обдумывала, как бы она, случись такая нужда, взялась за его лечение: какие припарки и травы приложила бы, чтобы остановить поток крови, какими мазями смазала бы порезы и рубцы от хлыста, какие бальзамы втирала бы в кожу вокруг рваных ран, чтобы избежать заражения. И даже — самый еретический из всех помыслов, — какой настой она дала бы Ему, чтобы притупить боль.

Испытывал ли ее отец когда-нибудь что-то подобное? Иногда она спрашивает себя, как бы ему понравился тот мир, который окружает ее теперь. Ведь он не был так уж далек от него. Как университетского врача со связями при дворе его время от времени приглашали лечить монахинь благородного происхождения, при условии, что их состояние было достаточно велико и аббатиса давала разрешение. Может быть, если бы он брал ее с собой, потом ей было бы легче. А так она знакомилась с их жизнью лишь по записям в его книгах лечения. Да и запомнилась ей лишь одна история: однажды отец вернулся из монастыря на окраине города, где лечил монахиню, которая пыталась наложить на себя руки: сначала она билась головой о стену, пока не потекла кровь, а потом, когда ее заточили в келье, ухитрилась достать где-то кухонный нож и двенадцать раз ударила им себя, прежде чем орудие сумели у нее отнять. Когда он пришел, она лежала, связанная, на постели и бредила, а ее жизнь по капле вытекала из нее через те самые двенадцать порезов на пол. Она потеряла столько крови, что он уже ничем не мог ей помочь, только дать что-нибудь от шока и боли. Но аббатиса отказалась, считая, что внутри монахини сидит дьявол и, если ее успокоить, тот снова начнет свои атаки. «Когда я задавал им вопросы, они отвечали, что никто не замечал в ней никаких перемен до того самого утра», — сказал он тогда и покачал головой, хотя от жалости или от недоверия, Зуана так и не поняла.

Иногда она вспоминает ту историю: неужели возможно, чтобы столь сильный взрыв возник из ниоткуда? По собственному опыту она знает, что находящаяся под чутким управлением община столь же восприимчива к страданиям сестер, как и к переизбытку радости в них, поскольку и то и другое способно нарушить хрупкое равновесие спокойной жизни. И даже если то была работа дьявола (хотя ей уже доводилось сталкиваться с проявлениями озорства, а в отдельных случаях и злобы в этой республике женщин, знакомство с дьяволом ей только предстоит), почему ни аббатиса, ни сестра-наставница не заметили никаких признаков этого раньше? И она еще раз благодарит Господа за то, что, когда пришло время решать, где ей предстоит провести остаток своей жизни, именно Санта-Катерина приняла ее к себе, невзирая на ее жиденький голосок и сундук с приданым, в котором снадобий и книг по медицине было не меньше, чем молитвенников.

## Глава восьмая

Поскольку Зуана хорошо понимает связь между физической усталостью и уступчивостью, а также потому, что ей не хочется и дальше снадобьями и отварами лечить неповиновение, она принимается детально планировать начало их с молодой женщиной совместной работы.

В первые несколько дней влияние маковой настойки постепенно сменяется воздействием физического труда: два раза по два часа каждый день, кроме воскресенья, она либо обихаживает на холоде аптекарский огород, либо убирается в лазарете и аптеке; метет и моет полы, чистит горшки и миски, отскребает рабочие столы. Полное устранение влияния предшествующих лекарств ради того, чтобы их остатки не просочились в следующие и не смешались с ними, было одним из главных принципов учения ее отца, однако Зуане пришлось отказаться от услуг сестры-прислужницы, которая обычно делала всю тяжелую работу, и возложить ее обязанности исключительно на свою новую помощницу.

Поначалу сопротивление девушки ощущается почти физически, настроение у той меняется, как погода: сегодня гроза с громом и молниями, хлопаньем дверьми и бросанием предметов, завтра тихая, мучительная грусть, вызывающе согнутая над рабочим столом спина вздрагивает от всхлипов, молчаливые слезы, как дождь, льются по щекам. Но Зуана не вмешивается. Пусть плачет, но зато скребет и моет. Так она, по крайней мере, будет уставать и спать по ночам, а там, шаг за шагом, придет и привыкание.

Хотя, по правилам монастыря, за работой не запрещено обмениваться относящимися к делу словами, Зуана старается, чтобы первые дни, невзирая на перемены в эмоциональной погоде, проходили в молчании. Оглядываясь на свой памятный путь через те первые мучительные недели, она понимает, какую роль в процессе исцеления сыграло молчание, влияние которого, однако, было столь медленным и постепенным, что даже со всей присущей ей наблюдательностью врача она едва замечала происходившие в ней самой перемены. А теперь она изучает их в другой.

Впервые попав сюда, молодым (особенно тем, что поживее, и тем, которые лишены призвания) особенно трудно привыкнуть к ограничениям в речи. Желание поговорить одолевает их; особенно за столом или в часовне, где друг до друга можно дотронуться локтем, но разговоры, даже шепотом, запрещаются. Или когда они встречаются в коридорах в часы молчания, несказанные слова повисают меж ними, словно блестящие нити паутины. Наблюдая за ними в свои первые недели, Зуана часто думала, что отказ от болтовни — самый трудный вид воздержания, соблюсти который сложнее, чем даже обет целомудрия, — ведь в отношении последнего никаких соблазнов и нет, а вот возможность бесцельного обмена словами здесь на каждом шагу.

Но с этой девушкой все иначе. Разумеется, другим послушницам не терпится с ней поговорить, втянуть ее в свой круг сплетниц. Адрианна, Анжелика, Тереза жаждут жизни не меньше, чем Господа, а поскольку появление новенькой в монастыре произошло особым образом, то стали распускать сплетни то о вольностях, которые та якобы позволила себе с ухажером старшей сестры, то о ее безумной страсти к учителю танцев. Нынче в изящном обществе истории о монахинях в моде, а самые красочные из них, вне всякого сомнения, попадают внутрь монастырей через парлаторию, куда их контрабандой проносят гости. А может, и сами монахини придумывают их, смешивая воедино обрывки желаний и воспоминаний. И если Юмилиана, сестра-наставница, не видит в сплетнях ничего, кроме происков дьявола, то Зуана более снисходительна: юность быстро угасает в стенах монастыря, да и на коленях весь день все равно не простишь.

Однако Серафина нисколько не интересуется их дружбой. Эта доведенная злостью до белого каления молодая особа вообще ни с кем не разговаривает. Что до восьми служб, ежедневно отправляемых в часовне, то здесь губы Серафины послушно двигаются, повторяя слова из требника, но с уст не слетает ни звука, хотя всякая хрипота, вызванная ночными криками, уже давно должна была пройти благодаря чаю из одуванчиков, который Зуана заваривает и сама пьет с послушницей после работы, прежде чем отправить ее к Юмилиане для дальнейших наставлений.

Завтра, однако, они впервые всерьез займутся изготовлением снадобий для епископа, и ритм их совместного гряда станет иным.

В то утро, сразу после ранней молитвы, они встречаются в аптекарском огороде, где ветер режет, как нож. Задача: выкопать корни норичника свежестъ которых является залогом успеха первого снадобья. Земля так смерзлась, что им приходится вертелом протыкать верхний слой; ненастная погода накладывается на утреннюю усталость девушки, и, когда они наконец возвращаются, та, вся синяя от холода, дрожит так, что у нее стучат зубы, и не помышляет ни о каком сопротивлении. На помощь ей приходят горящий под котлом огонь и шарик из имбиря с черной патокой, который дает ей пососать Зуана: от них ощущение тепла медленно разливается по всему телу Серафины. Строго говоря, всякие угощения в часы работы запрещены, но как раз сегодня они приступают к трудному делу отмеривания и взвешивания, для которого Зуане нужна если не добрая воля, то хотя бы внимание помощницы. Точно так же запрет на разговоры за работой зависит от характера работы, и, если уж девушке придется ей помогать, значит, она должна понимать, что делает, а не просто повиноваться. Пора прерывать молчание. Не в последнюю очередь потому, что недуги его святейшества, хотя и не смертельные, несколько деликатного свойства, и поражены ими и входное, и выходное отверстия его тела.

На столе между ними свежевыкопанные корни лежат грязным пучком кривых штуквин, напоминающих выросты человеческой плоти. Зуана как можно проще — и понятнее — объясняет их предназначение.

— Фффу! Как гадко.

Первые слова после столь длительного молчания срываются с уст девушки с такой энергией, что почти располагают к ней.

— И ужасно больно. Те, кто страдает от этой болезни, говорят, что каждый раз ты словно пытаешься извергнуть большие куски раскаленного угля, которые никак не выходят. Поэтому у таких страдальцев почти всегда дурное настроение.

— А ты откуда знаешь?

— Он сам мне сказал.

— Что? Епископ сказал тебе, что у него... это?

— Геморрой. Шишки в заднем проходе. Разумеется. В прошлое свое посещение он едва мог сесть за стол, чтобы отведать яства,

которые приготовили для него на кухне, и все время ворчал. Прислужница, убравшаяся в его комнатах, слышала, как он стонал в отхожем месте, а назавтра на его простынях нашли пятнышки крови. Моча в его ночном горшке подтвердила диагноз.

Зуана видит, как послушница морщится от отвращения. Недуги старших всегда вызывают гадливость у молодых. Как, бывало, говаривал ее отец? Надо быть святым или врачом, чтобы находить удовольствие в унизительных признаках распада. Однако все гротескное обладает собственной жутковатой притягательностью.

— А это снадобье — как ты сама увидишь, — действует безотказно.

— Ффу, — повторяет Серафина, глядя на корни. — Они такие же гадкие, как сама болезнь.

— Совершенно верно, — смеется Зуана. — В этом весь секрет. Ты никогда не слышала о символах? О силе соответствия? О том, что Господь придал некоторым растениям определенную форму, чтобы указать на болезнь, которую они лечат?

Девушка трясет головой.

— О, это одно из величайших чудес природы. Если тебе интересно, то у меня есть книги. Вот превосходный пример. Один похожий на бородавку нарост лечит другой. Поразительно, до чего все изящно и просто. Корень натирают и кипятят со свиным салом и грибами, пока все не превратится в однородную массу, которую затем ставят остывать. Норичник уменьшает отечность, грибы — нежные и мягкие — снимают зуд, а свиное сало — с небольшим количеством лаванды, добавленной в самом конце варки, чтобы отбить запах, — обеспечивает смазку. На душу влияет не хуже, чем на тело. Многие доктора считают, что если бы еретик Лютер вовремя нашел себе врача, то не стал бы восставать против истинной церкви.

Хотя Зуана произносит это с непроницаемым выражением лица, от ее взгляда не укрываются искорки, вспыхивающие в настороженных темных глазах. Даже если бы девушка не обладала остроумием (а она уже убедилась, что это не так), ей, как и всем им, на руку, чтобы епископ пребывал в хорошем расположении духа.

— Держи. Будь осторожна, — произносит Зуана, вручая девушке пучок корней. — Они страшно горькие на вкус, так что смотри, чтобы в рот не попало. И натереть нужно мелко, все до последнего кусочка.



Серафина берет корешки, вертит их в руках, потом нюхает. Зуана думает о том, сколько еще новых вкусов и запахов она могла бы помочь ей узнать. Однако не стоит торопиться.

Бок о бок они принимаются за работу. И скоро молчание между ними становится естественным, а не вынужденным. Комната вокруг оживляется присущими ей звуками: булькает в котле вода, стучит нож, скрипит терка, пестик шуршит в ступке, — простые повторяющиеся ритмы. Воздух делается теплым от огня, наполняется ароматом давленной лаванды. Если есть где-то иной мир, то он кажется бесконечно далеким. Даже тем, кто очень хочет в нем оказаться.

Зуана бросает взгляд на девушку за работой. На фоне столешницы ее руки белы и чисты, они еще не утратили мягкости и гладкости, приданных им ночными кремами и надушенными перчатками. Будь у Серафины воздыхатели, они, вне всякого сомнения, пели бы им хвалы. Однако за внешней красотой пальцев прячется сноровка: взявшись за дело, требующее известного умения — терка остра и кожу от корня не отличает, — девушка работает сосредоточенно и ловко, как будто всю жизнь этим занималась. Конечно, она по-прежнему несчастна — да и может ли быть иначе? Однако потакать своей слабости у нее нет больше сил. Это Зуана еще помнит: трудно сохранять беспорядок в душе, когда что-то забирает все твоё внимание. И вообще, бывает, что ум не находит успокоения ни во время службы, ни в часы молитвы, и только работой его можно обмануть и утихомирить.

На рабочем столе лежит раскрытый иллюстрированный том Маталиуса («Наконец-то ботаник, который рисует то, что видит, а не повторяет за древними»), — слышит она голос отца, наполовину завистливый, наполовину восхищенный), а рядом его собственная книга рецептов, страницы которой покоробились и покрылись пятнами за годы службы в аптеке. Зуане эта книга не нужна, она и так знает рецепт наизусть, но девушку она заставляет то и дело заглядывать в тетрадь и вслух вычитывать каждую стадию приготовления, чтобы та лучше запомнила. Позже, к своему удивлению, она застаёт девушку, когда та листает страницы книги, думая, что ее никто не видит.

От резки и взвешивания они переходят к смешиванию ингредиентов. Серафина передает Зуане тертый корень и наблюдает, как та перекладывает его в кипящий свиной жир, старательно держась от кастрюли подальше, чтобы не обрызгаться.

— Ты говорила, что определила эту... болезнь... по его моче, — начинает Серафина немного погодя.

— Да, частично.

— Но что можно понять, просто поглядев на нее?

За долгие годы Зуана заметила, что те, кто сопротивляется ожесточеннее других, обладают живым умом и, сами того не осознавая, ищут, к чему его применить. Что ж, в аптеке ее ждет целый мир, стоит ей лишь позволить себе заинтересоваться им.

— У меня есть таблица. Она принадлежала моему отцу — докторам пользуются такими. В ней отмечены цвет, запах и степень замутненности жидкости, соответствующие болезням тех или иных частей тела.

Девушку передергивает.

— Бе-е! Представляю себе, рассматривать старческие ссюли — какой кошмар.

— Это верно, — улыбаясь, соглашается Зуана. — Помогать больным поправиться — отвратительное занятие. Понятия не имею, зачем наш Господь тратил на него столько времени.

Но в тот же день, покуда смесь пыхтит на огне, Зуана ненадолго выходит в лазарет навестить пациентку с кровотечением и, вернувшись, застаёт молодую женщину за чтением книги.

Назавтра настроение Серафины меняется снова. Она приходит осунувшаяся, с запавшими глазами, и распространяет дурное расположение духа, словно вонь.

— Ты не выспалась?

— Ха! Как тут выспишься, когда не дают?

— Я знаю, это трудно. Требуется время, чтобы приспособиться к другому ритму. Но вот увидишь, что скоро ты...

— Привыкну? К чему? К кускам жира, плавающим в супе, или к стонам сумасшедшей, которая каждую ночь втыкает в себя гвозди? Спасибо, сестра Тюремщица, твоя мудрость почти так же утешительна, как мудрость бородатой сестрицы.

Зуана сдерживает улыбку.

— Вижу, ты побывала на занятии сестры-наставницы.

Серафина морщится.

Прозвище сестры Юмилианы знают все. Монахини хора даже спорят о том, как давно она в последний раз видела свое отражение хоть в каком-нибудь зеркале. Лучше бы подумали, скольким из них пришлось бы отпустить бородку, будь правила, запрещающие тщеславие, построже.

Зуана еще помнит то время, когда старый епископ решил новой метлой пройти по всем монастырям и изгнать из них все отражающие поверхности. Не прошло и недели, как чья-то родственница пронесла под юбкой первый серебряный поднос, а в перерыве многие монахини проводили часы досуга у пруда с рыбами, как Нарцисс, вглядываясь в свое отражение в нем. Нанятый епископом слишком рьяный исповедник тоже недолго продержался. Шесть месяцев подряд в исповедальню стояла очередь из монахинь, которые с утра до ночи утомляли его перечислением своих грешков, до того мелких, что им и наказания-то не было, — наказан оказался сам исповедник, у которого от долгого стояния на коленях заболели связки, и он попросился о переводе в другой монастырь. Перед его отъездом монахини исполнили специально для этого написанную вечерню и зажарили к обеду двух цыплят. Исключительно в его честь, разумеется.

— Интересный вопрос: имеет ли красота подбородка отношение к красоте души, и если имеет, то какое? Ты бы удивилась, узнав, как быстро некоторые женщины здесь начинают чувствовать характерное покалывание под кожей.

— Хо! Уж не думаешь ли ты, что я и бороду себе отращу вместе со всем прочим?

— Не обязательно. Думаю, Богу и так есть на что потратить свои чудеса. Как ты уже, наверное, заметила, у нас тут всем есть место: и гладким, и волосатым. А значит, ты сама сможешь выбирать.

Мгновение девушка пристально смотрит на нее, точно ища в ее словах скрытый смысл. Зуана обращает все свое внимание на рабочий стол, расставляя на нем горшочки, в которые они будут перекладывать густеющую массу из кастрюль для охлаждения. Очень рискованно говорить столь откровенные вещи, пусть даже и не вполне прямо, послушнице. Зуане это известно. Однако аббатиса сама поручила девушку ее заботам, и если она должна ей помочь, то сможет сделать это лишь так, как помогла и себе: рассказав ей всю правду о том, что есть, не скрывая того, что может быть.

Едва они возвращаются к работе, как дурное настроение девушки улетучивается. Еще не закончив раскладывать снадобье по горшкам, она уже спрашивает, что они будут делать дальше.

— Его святейшество страдает от ангин. Иногда они так сильны, что он почти не может глотать, а тем более проповедовать. Мы сделаем ему сироп и леденцы. Сварим патоку с медом, добавив в нее имбирь, корицу и лимон. И еще парочку секретных ингредиентов.

— Каких?

Зуана молчит.

— Как твоя помощница, я должна знать. Или ты боишься, что я расскажу о них всему городу, как только выберусь отсюда? — Теперь в ее голосе слышится оттенок озорства.

— Хорошо. Пока смесь будет кипеть на медленном огне, мы добавим в нее дягель, митридат, болотную мяту и иссоп. Не думаю, что эти названия о чем-нибудь тебе говорят.

— Тогда что в них секретного?

— А то, что, пока другие аптекари не узнали рецепта, врачам епископа придется быть верными нам. Немного дипломатии здесь не повредит. Дело в том, что епископ страдает от третьей хвори, которую он сам не осознает, но которая очень мешает окружающим.

— И что же это?

— Зловонное дыхание.

— Это ты тоже в его моче увидела? — фыркает Серафина.

— Смейся сколько хочешь. Но это серьезный недостаток для человека, несущего слово Господне. Вся Феррара знает, что, когда инквизиции понадобилось заставить Ренату, французскую жену старого герцога, принять причастие в знак ее приверженности истинной вере, он был одним из тех, кого послали ее уговаривать, и в конце концов она сдалась, чтобы он только закрыл рот.

— Неужели правда?

— Думаешь, я стала бы рисковать наказанием, чтобы тебя позабавить? Хочешь знать больше, расспроси на рекреации сестру Аполлонию о том случае, когда епископ в первый раз приехал к нам с инспекцией и она с другими монахинями встречала его у ворот. Она думала, что упадет в обморок.

Зуана как сейчас помнит: Аполлония и Избета бредут к лазарету, зажав ладонями рты, а свободными руками обмахиваясь как

сумасшедшие, и при этом так стонут и охают, что тогдашняя сестра-наставница бежит за ними со всех ног, чтобы их успокоить.

Недоверие Серафины внезапно радует ее. Общеизвестно, что небольшое количество сплетен успокаивает непокорных послушниц не хуже молитвы, — это признают все, кроме сестры Юмилианы, к которой сплетни не липнут, так что все ее новости на десять лет отстают от жизни. Зуана, которая много времени проводит в своей аптеке одна, страдает тем же, но она, по крайней мере, может припомнить что-нибудь, когда нужно. В последние дни она сама удивляется тому удовольствию, с которым делится лакомыми кусочками сплетен с послушницей. С другой стороны, ей ведь никогда не доводилось работать бок о бок с такой живой и умной молодой женщиной.

— Когда я была молодой, у моего отца в университете был коллега — блестящего ума человек, как все говорили, — у которого было такое гнилое дыхание, что студенты не высиживали на его лекциях. Осмотрев его рот, отец увидел, что его десны были наполовину съедены и сочились желтым гноем. Однако во всех остальных отношениях он был склонен скорее к сухим гуморам, чем к влажным. Питался он одним только мясом в сладком соусе и запивал его крепким вином, а отец посадил его на диету из рыбы, овощей и воды. Через три месяца всякое истечение гноя из десен прекратилось. Однако к тому времени десны сморщились так сильно, что из них выпали все зубы, и теперь студенты не могли разобрать на его лекциях ни слова. Так незамеченными сходят в могилу великие умы.

— А твой отец... — Смесь ужаса и любопытства снова отражается на лице Серафины. — Я хочу сказать... Он думал, что это... правильно — учить тебя таким вещам?

— Я... По-моему, он вообще об этом много не думал. Сначала это были просто истории, а не уроки. — «Неужели с этого все началось? — удивляется она. — Аппетит пришел во время еды? Или она всегда хотела учиться?»

— Мне таких историй в жизни никто не рассказывал. И уж конечно не отец, — пожимает плечами девушка. — Но если твои снадобья от дурного дыхания так хороши, то угости ими старую каргу, рядом с которой меня посадили в церкви. Каждый раз, когда она

открывает рот, начинается такая вонь, как будто у нее внутри кто-то умер.

А! Тайное оружие Марии Лючии. Когда не хватает доброты, ее место занимает соблазн наказания.

Зуана выравнивает поверхность лекарства в последнем горшке, перед тем как выставить их остужать на подоконник. Пора переходить от сплетен к делу.

— Боюсь, что помочь сестре Марии Лючии я не могу. Ее десны уже так сгнили, что мое врачебное искусство бессильно. Но тебе я могу кое-что посоветовать. — Зуана делает паузу. — Начинай петь. Как только это случится, воздух вокруг тебя в ту же минуту станет свежим.

## Глава девятая

Стараясь, чтобы рука не дрогнула, она наклоняет свечу вправо над сложенными краями бумаги. Тонкая струйка стекает на них, и она тут же прижимает края друг к другу. Секунду они держатся вместе, потом расходятся. От неудачи хочется визжать, но она лишь ненадолго закрывает глаза, а потом делает еще одну попытку. Результат тот же, только теперь на бумаге жирное пятно. Вся беда в свечке: это дешевая сальная свеча, жир течет, но не густеет. Келья уже провоняла кислым запахом сала, жирным, как те части животных, из которых его натопили. У нее чешутся глаза и щекочет в носу.

Дома они с сестрой молились под аромат надушенного пчелиного воска; две свечи в серебряных подсвечниках у изголовья кровати, атласные простыни откинута, глиняная грелка в ногах. Толстый шерстяной ковер ласкал их колени, а когда они заканчивали, горничная расчесывала им волосы: сто пятьдесят движений, до тех пор пока те не начинали блестеть, окутывая плечи, словно теплый плащ. А здесь, когда противная Августина расстегивает и стягивает с ее головы повязку, волосы висят, словно крысиные хвостики, заброшенные и невымытые. Она слышала, что некоторые послушницы платят своим прислужницам за то, чтобы те мыли им волосы и сушили их расчесыванием. Но тогда ей надо найти другую прислужницу, а она не хочет делать то, что для этого требуется; по той же причине домашний ковер все еще лежит у нее в сундуке, хотя с ним каменный пол был бы не столь жесток к ее коленям, ведь достать его — значит в какой-то мере признать, что здесь теперь ее дом.

Хотя чуточку комфорта ей бы не помешало. Господи Иисусе, никогда в жизни она так не уставала. Иногда ей кажется, что она попала не в монастырь, а в греческий миф; в одну из тех историй, в которых наказание богов обретает форму бесконечного повторения одного и того же ужаса. Много дней подряд она не занималась ничем, кроме самого тяжелого, грязного физического труда: никакого отдыха, только новая щетка и новая поверхность, которую надо скрести, и опять, и опять. От бесконечной терки, выскабливания, мытья и поднимания тяжестей у нее дрожат руки и ноги. Иногда по утрам она чувствует себя такой усталой, что может только плакать; а по ночам —

до такой степени измученной, что даже на слезы не хватает сил. В рабочей комнате бывало так, что от страха и ярости у нее перехватывало горло, и ей приходилось буквально сцеплять руки, чтобы не расколотить все до одной бутылки на полках. Но если эта сорока Зуана и видит что-нибудь, то молчит и занимается своим делом.

Она уже дошла до того, что чуть не отказалась от работы. «Если тебе надо, чтобы было чище, сама бери щетку и скреби». И даже выговорила эти слова, хотя и себе под нос, но довольно отчетливо. Однако ничего не случилось, только другая щетка продолжала шуршать по дереву.

Дурацкое молчание. Дурацкие правила. Единственное утешение, что каждый день, перед звоном колокола, она — сорока — заваривает особый чай, и они пьют его вместе (монахиня умна, знает, что, если сама не будет пить с ней, она к своему чаю ни за что не прикоснется). А он вкусный, такой вкусный, что кажется, будто река пряностей тепло и приятно разливается по телу, заглядывая во все его уголки, смывая самую глубокую усталость.

Тепло. Приятно. Любовь, как проникновение кинжального клинка. От работы к молитве. «Это клинок добра, который проникает до самой глубины вашего существа, наполняя вас милосердием и благодатью». Как будто работы недостаточно, каждый день она вынуждена терпеть допросы бородатой сестры-наставницы, этой, со сморщенным лицом и глазами, как раскаленная галька, которая пытается силой открыть ее для любви Господа. «Говори с Ним. Он ждет тебя. Ты Его дитя и Его нареченная невеста, Он всегда слышит твой голос. Он слышит раньше, чем ты начинаешь говорить, чувствует раньше, чем ты сама начинаешь чувствовать. Каждая молитва, каждое молчание, каждая служба, совершенная ради Него, приближает тебя к утешению, к огромной радости Его любви и последнему чудесному объятию смерти».

А-ах! Чем дольше она говорит, тем сильнее сжимается все внутри. Но не слушать ее невозможно. Можно злиться, грустить, отчаиваться. Можно бояться ее, смеяться над ней и даже ненавидеть ее, но не слушать ее нельзя. Некоторые уже под даются. Она видит это, видит, как слезы выступают у них на глазах в ожидании такой радости. Но когда все время устаешь, даже словесное утешение может побудить сдать, потому что сопротивляться дальше, кажется, нет больше сил.



Так оно и идет, изо дня в день. Бывают ночи, когда она засыпает еще до того, как успеваешь лечь. А уже через минуту в дверь начинают колотить, зовя к заутрене. Спя на ходу, она приходит в часовню, прислоняется спиной к доске (пусть на ней изображен весь город, она все равно слишком устала, чтобы глядеть) и открывает рот, произнося слова без мысли и без понимания. Может, она даже продолжает спать. Другие точно. Вчера одна послушница упала в обморок — глубоко вздохнула и повалилась. Почему? Может, увидела что-нибудь? Может, какое-нибудь видение или знак поразил ее? Вот все, что их интересует. Ха! Бедняжке, поди, кровать с пуховой периной возле алтаря привиделась или аромат жареной свинины в запахе свечей почудился, вот та и сомлела. Она и сама уже несколько недель почти не ест, такая гадкая тут еда. Все твердят, подожди, будут праздники. Тогда отведаешь райской пищи. А пока вся их еда — жирное мясо и разбавленное водой вино. И капуста. Господи Иисусе, если она съест еще капусты, то точно зеленью писать начнет. Наверное, у аптечной сороки и от этого снадобье найдется. Уж, по крайней мере, распознать причину она сможет. Видит Бог, она может распознать и вылечить любую болезнь.

Но она странная пташка, эта Зуана. Пожалуй, страннее всех прочих. Добрая и свирепая. Мягкая и твердая. И умная — временами она едва понимает ее слова, столько в них разных смыслов. Зуана сама себе закон. То у нее одно молчание, работа и воздержание на уме, а то вдруг плюет на все запреты и угощает имбирными сладостями и всякими скандальными историями. Чего стоят одни разговоры о бородах и душах, еретиках, епископских нарывах и смрадном дыхании. Послушницы даже наедине не сплетничают так, как она.

Разумеется, Зуана пытается уговорить ее отказаться от бунта, как все они. Потому и рассказывает всякие истории, как и ее папочка (тот еще, наверное, был тип, коли рассказывал такое дочери), даже глаза от удивления на лоб лезут, и не успеешь оглянуться, а уже смерть до чего хочется знать, что дальше. И никаких клинков любви — только великий Господний замысел в травах и грязных корешках. Не удивительно, что Зуана оказалась в этом склепе. Кому такая нужна?

Она снова наклоняет свечу, но теперь сало течет слишком быстро и едва не заливают огонь. Она выравнивает ее. Если свечка потухнет, зажечь ее снова будет нечем, придется ждать дежурную сестру, которая

придет со своей свечой звать к заутрене. Но и тогда надо быть осторожной. Если дежурная сестра увидит, что от свечи остался один огарок, то сразу поймет, что она не ложилась после назначенного часа, и тогда ее могут наказать за непослушание.

Однако не всех ослушниц наказывают. Усталость не помешала ей это понять. В последние несколько ночей, приоткрывая свою дверь — ночная сестра появляется через определенные промежутки, и ее легко можно обмануть, если не забывать прислушиваться, — она разглядела мерцание под двумя или тремя дверьми. Одна из них была дверь сестры Зуаны, но у нее есть разрешение работать по ночам (хотя она, наверное, тоже падает от усталости, ведь все дни, пока они с ней скребли и мыли, она не останавливалась ни на минуту), а другая — той толстомордой монахини из скрипториума, но ей тоже, кажется, разрешают, потому что она пишет какую-то пьесу для карнавала. А вот сестре Аполлонии никто такого разрешения не давал. Но, глядя на нее, можно подумать, что она по-прежнему при дворе — одни кружевные воротники и шелковые юбки чего стоят, не говоря уже о времени, которое уходит, наверное, на ее туалет. Нет, правда! У нее самая белая кожа и самые тонкие брови во всем монастыре. И запас свечей у нее, должно быть, свой, ведь к заутрене от ее свечи остается столько же, сколько и у других. А судя по тому, что монастырским запасом свечей ведает старшая прислужница, которая надзирает за складами, здесь наверняка действует черный рынок. Но тут опять же все зависит от того, кто тебе прислуживает, а это значит, что она ничего сделать не может. Августина оказалась не только жестока, но и неподкупна, и никакими задабриваниями ее не проймешь. Она все время молчит и, кажется, ничего не понимает — или притворяется.

Ну, куда она не обзавелась новой служанкой, придется терпеть ту, которая есть. Могло быть хуже. Когда ей хватает времени обуздать свой страх, она это понимает. Да, здесь так гнусно, что нет слов. Но, будь это монастырь в Милане, аббатиса наверняка знала бы ее семью, слышала бы сплетни и стерегла бы каждый ее шаг. Здесь она по-прежнему обычная бунтарка, а не преступница с каиновой печатью на челе. Ей даже позволяют работать в единственном месте, где она может узнать что-нибудь полезное, если мозгов не растеряет. Тут ей повезло, ведь память у нее всегда была хорошая. Стоило ему пропеть мелодию, как она тут же ее запоминала. Правда, остальным на это

было наплевать. Особенно отцу. Для него ее голос был лишь приложением к приданому. Как и милое личико. И кроткий нрав. Как у ее сестры. Сестры — ха! — которая была так «скромна», что не могла сдержать трепета ресниц, стоило любому мужчине, кроме отца, взглянуть на нее.

Она встает, скатывает одеяло и подкладывает его под дверь, чтобы свет не пробивался наружу. Близится время обхода. Вернувшись к столу, она видит, что свеча шипит, фитилек загнулся и тонет в луже сала. Она пытается поднять его, чтобы сохранить огонь, но он стреляет раз-другой, потом гаснет. Быстро, чтобы не обжечься, она подбирает капли вокруг фитилька и тут же, горячими, переносит их на бумагу, но в темноте все бесполезно. Она чувствует, как в уголках ее глаз собираются слезы, горячие и жгучие, как сало свечи. Жалость к себе. Жалость, рожденная усталостью, — вот что означают эти слезы, и она им не поддастся. Она ложится на кровать и заворачивается в одеяло. Как только ночная сестра пройдет, она снова встанет.

Она пообещала себе, что сегодня между обходами, со свечой или без, выберется из кельи, дойдет до сада и вернется назад, чтобы понять, сколько времени на это нужно, и будет повторять этот маршрут каждую ночь.

Но когда ночная сестра проходит мимо ее двери, она уже крепко спит.

Зуана слышит шаги ночной сестры, поднимает голову от книги и потягивается, чтобы отвлечься от боли внизу спины. От свечки на столе осталась половина. Час отхода ко сну давно прошел, но заботы о послушнице не оставили ей времени для других дел и прежде всего для молодой сестры Имберзаги в лазарете, поэтому она попросила разрешения — которое получила — посидеть ночью над книгами. Состав из герани с ивой, который Зуана попробовала, приостановил кровотечение на время, но сегодня утром из молодой женщины вышел новый сгусток крови, заметно ослабив ее. Когда Зуана зашла к ней после вечерней молитвы, та была бледна как смерть, хотя пульс оставался ровным.

Лежащая перед Зуаной гравюра изображает человека с открытой брюшной полостью. Его лицо лишено черт, руки и ноги нарисованы грубо, а область ниже желудка заполнена переплетением

схематических линий, от которых во всех направлениях тянутся стрелки. Насколько она способна установить, болезнь молодой женщины заключается в ее утробе. Из своего опыта она знает, что, как только кровотечение у женщины выходит за пределы ежемесячного цикла, проблема скоро становится серьезной; утроба, когда в ней не растут дети, словно теряет волю к здоровью. Но что, если дело не в этом? Что, если кровотечение происходит из-за разрыва или закупорки почки? Этим, безусловно, объясняется и боль: отец часто говорил о камнях, которые извлекают из уретры, и о том, что, когда они выходят из почек, люди вопят и корчатся в муках, по сравнению с коими пытки кажутся забавой. Но если дело в этом, то почему же тогда все извергнутое Имберзагой было жидким, а не твердым?

Зуана закрывает книги и опускается на колени, чтобы помолиться перед сном. Ее коленные суставы трещат, упираясь в камень. Ей скоро сорок — старовата уже полы драить да столешницы скрести, однако, вспоминая последние дни и внезапно пробудившееся любопытство послушницы, она нисколько не жалеет об этом. Прежде чем служение начнет приносить утешение, придется пострадать. В этом они с сестрой Юмилианой наверняка согласились бы. Она благодарит Бога за ниспосланное ей здоровье и молится о том, чтобы ей позволено было и дальше продолжать свою работу. Она просит Его сохранить и защитить молодую сестру Имберзагу, страждущую в лазарете, и других сестер, как здоровых, так и недужных, проживающих в стенах монастыря. Она молится за души своих матери и отца, за всех, кто продолжает его работу, помогая другим и обучая их, за всех, жертвующих монастырю, и их семьи; да не оставит Он их своей любовью, да направит их шаги по стезе жизни и, если понадобится, сократит их пребывание в чистилище. И наконец, она молится о послушнице, которая, хотя по-прежнему гневна и сбита с толку, кажется — благодаря Его бесконечной любви и милости — начинает демонстрировать признаки готовности успокоиться. Да будет благословенно имя Господне.

Закончив, Зуана встает, тихо подходит к двери, открывает ее и выходит в коридор, откуда можно различить крики или беспорядок в лазарете. Но там все тихо и спокойно.

Она ненадолго задерживается, впитывая атмосферу спящего монастыря. За стеной, откуда-то из-за монастырской ограды, раздается

мужской голос: видно, гуляка поет, возвращаясь домой с пирушки. Голос у него великолепный: высокий, насыщенный, взлеты и модуляции полны страсти. Язык любви. Песня заканчивается, и в наступившей тишине Зуана различает пронзительную трель какой-то певчей ночной птицы, с негодованием защищающей свою территорию от посягательств непрошеного гостя. Она продолжает стоять, вслушиваясь в ее звонкий и настойчивый голосок, и вдруг чувствует, как вся ее усталость куда-то уходит, а вместо нее возникает ощущение радости бытия: разум человека растворен в разуме природы, повсюду царят красота и гармония, как и задумал Господь. И она, здесь и сейчас, слышит и воспринимает это.

Сегодняшняя заутреня будет для нее поводом для особого торжества, даже если тело Христово на кресте не шелохнется. Она задумывается, не наведаться ли ей к сестре Магдалене. Летиция, ее прислужница, докладывала, что та в последнее время беспокойна, однако, вспомнив наказ аббатисы не вмешиваться в сферу полномочий ночной сестры, она решает не рисковать встречей с ней.

Монастырь вокруг погружен во тьму, ни один предательский огонек не пробивается из-под чьей-нибудь двери. Заутреня скоро наступит, и ей надо поспать. Закрывая дверь в келью, она слышит другой голос, тоже мужской, — ниже и глубже предыдущего, но не менее совершенный, он раздражается целым каскадом нисходящих звуков, словно в шутку вызывая птицу на соревнование. Неисповедимы чудеса Господни. Зуана улыбается. Чтобы тягаться с таким, надо быть грачом или вороном.

## Глава десятая

— Не понимаю, почему нам нельзя хотя бы спросить.

— Потому что это неприлично, вот почему.

Собрание всего полчаса как началось, а монастырские фракции уже готовы вцепиться друг другу в глотки.

Водянистый сумрак сочится через ряд высоко посаженных окон, но, несмотря на погоду, в комнате тепло от тел собравшихся. Все вместе они похожи на странное племя: послушницы у одной стены, прислужницы — у другой, в середине рой монахинь из хора, возвышение в конце комнаты занято аббатисой, безукоризненной в своих свежeweыглаженных одеяниях. Зуана осматривает большую комнату. Временами чувство общности со всеми, кто собирается в ней, охватывает ее, как в часовне. Любому постороннему, если бы он мог видеть их сейчас, они показались бы стаей одинаковых черно-белых птиц (сорок, как их обычно называют в шутку), но внимательному наблюдателю заметить разницу между ними не так уж трудно, стоит лишь приглядеться.

Прежде всего в глаза бросаются калеки. Как и в других городах, брачный рынок в Ферраре жесток; легче найти верблюда, способного пройти сквозь игольное ушко, чем хромую или горбунью, которой уготованы серенады и супружеская постель, а потому в Санта-Катерине бракованного товара полно. Но разве они такие уж страшные, если приглядеться? Взять хотя бы сестру Лукрецию, вон она, двумя рядами дальше. Первое впечатление, конечно, не из приятных: она ведь родилась с зияющим отверстием на месте верхней губы. Но стоит только оторвать взгляд от исковерканного рта и заглянуть в ее глаза, как тут же утонешь в двух озерах чистой небесной лазури. А вот сестра Стефана, чья бархатная персиковая кожа и безупречный бутон рта свели бы с ума всех поэтов без исключения, правда, чтобы заметить ее достоинства, им бы пришлось сначала заглянуть за огромный вопросительный знак ее спины.

Но особенно сердце Зуаны болит из-за двух сестер: Креденцы и Аффиллаты. Похоже, что их любовь друг к другу была столь сильна с самого начала, что они не могли вынести расставания при выходе из утробы. Старшую, Креденцу, пришлось вытаскивать первой, и

новомодные щипцы хотя и спасли ей жизнь, но так изуродовали правую ногу, что Креденца до сих пор ходит, точно кренящаяся на бок каравелла. Аффилиата, родившаяся пятью минутами позже, могла бы завоевать армию поклонников одной своей улыбкой, если бы их не обескураживала таящаяся за ней пустота. Наверное, не удивительно, ведь ей щипцы накладывали в основном на голову. Сложить бы их вместе — и получилась бы прекрасная жена для какого-нибудь благородного человека. А так, за отсутствием лучших предложений, они повенчаны с Христом и друг с другом. Как всегда, они сидят бок о бок, а широко раскинутые складки их одеяний скрывают сросшиеся кисти рук.

Зуана ловит себя на том, что улыбается, глядя на них. Они не замечают. Как и все остальные, они с интересом смотрят и слушают. В трапезной надо смотреть только в тарелку, в часовне — говорить только с Богом. Но на собрании — о, на собрании можно смотреть, на кого захочешь, и говорить, с кем пожелаешь. И даже пользоваться самой большой свободой — не соглашаться с чужим мнением.

— Но что же тут неприличного? Все хотят его послушать, а в нашем карнавальном календаре еще есть место для такого события.

— Неужели, сестра Аполлония? Неужели вы в самом деле думаете, что наш Господь одобрил бы подобное?

В первом ряду Юмилиана в отличной боевой форме. Город не протрезвел после свадьбы д'Эсте, а тут еще разгар карнавала через каких-то шесть недель. Есть от чего взволноваться, когда кругом столько возможностей для соблазна. Не успеешь оглянуться, как улицы заполнятся гуляками, и всё кругом, включая монастырские правила, обязано будет с ними считаться. Даже в обители специально для женщин-благотворительниц поставят небольшую пьеску о мученичестве святой Екатерины, написанную для такого случая главной копиисткой и словотворицей монастыря, сестрой Сколастикой, а в парлаторио состоится концерт для родственников и друзей обоих полов. Да еще и лучшие музыканты города пройдут мимо центральных ворот монастыря или даже остановятся возле них, чтобы монахини могли их послушать.

В этом году все только и говорят, что о певце, которого герцог привез из Мантуи: этот мужчина обладает голосом таким высоким и чистым, что всякая женщина, услышав его, раздражается горькими

слезами зависти. Правда, для этого ему пришлось расстаться с мужским достоинством, но, если верить тетушке сестры Аполлонии, без которой не обходится ни один званый вечер у герцога, даже для самых близких друзей, он и в таком состоянии вполне счастлив. Хотя о таких мужчинах много говорили и раньше, однако это первый визит одного из них в Феррару, и всеобщее возбуждение столь велико, что даже в женском монастыре решают, нельзя ли, учитывая его не полную принадлежность к мужскому полу, пригласить певца в обитель и попросить показать свое искусство.

— Не понимаю, почему бы и нет, — говорит сестра Аполлония, в притворном неведении поднимая свои искусно выщипанные брови.

Живя в монастыре, она не отказалась от привычек двора и за удовольствия, как для себя, так и для других, готова биться до последнего.

— Я хочу сказать, что он ведь даже не совсем он... Да и вообще, кто бы он ни был... Если он, как добрый христианин, придет в сопровождении родственников сестры Стандини, вряд ли это будет против правил, которыми мы связаны.

Ропот проносится по залу, как ветер по траве. Кастрат в парлаторио? Что дальше? Послушницы, которые могут посещать собрания и даже выступать на них, если у них хватит смелости, но еще не имеют права голоса, едва сдерживают волнение, наблюдая такой накал страстей. Среди них Зуана находит Серафину. В начале собрания ее лицо было, как обычно, непроницаемо, но теперь даже она явно заинтересована происходящим.

— Я против этого, сестра Аполлония, как следует быть и вам, потому что наше дело — служить Господу смиренно и тихо, не отвлекаясь на светские развлечения, не позволяя каждому скандалу или незначительной новинке сбивать нас с пути.

Уберечь послушниц от «порчи», которая, как ей кажется, сочтется сквозь самые стены монастыря, подобно гнилой сырости, стало для сестры Юмилианы делом жизни. Без нее собрания монастыря были бы куда приземленнее и даже скучнее.

— А карнавал и так является неиссякаемым источником подобного рода соблазнов, как хорошо известно всем в этом монастыре. Хватит с нас того, что во время подготовки к этой оргии всякий доморощенный трубадур Феррары сочтет своим долгом



явиться к стенам обители, чтобы досаждать своими серенадами целомудренным женщинам, которые отнюдь не желают их слышать.

— Да, вот именно. И это уже началось. — Что бы ни сказала сестра-наставница, сестра Феличита тут же поддакнет. — Уж, наверное, не мне одной не давали вчера спать? Двое, у одного голос низкий, что твой колокол, расхаживали туда-сюда вдоль стен, подвывая, как томящиеся кобели. Но у них хотя бы голоса настоящие, от Господа, а не от ножа цирюльника. Сестра-наставница права. Такой полумужчина — прямое оскорбление природе. А вы как думаете, сестра Бенедикта?

— О, дорогая моя, о, я просто не знаю, что сказать, я ведь никогда ни одного не слышала, — бормочет Бенедикта.

Зуана вынуждена опустить глаза чтобы сдержать улыбку. Раздираемая страстью к новым голосам и нежеланием позволить чужеземцу, пожертвовавшему своими гениталиями ради службы при дворе, затмить славу ее хора, жизнерадостная хормейстерша Санта-Катерины колеблется. Она вздыхает...

— Судя по тому, что я слышала, они могут производить и удерживать самые высокие ноты с величайшей легкостью... Но слышавшие их расходятся в том, доступны ли им пассажио или изысканность подачи хорошего сопрано.

Зуана бросает взгляд на аббатису, но выражение лица мадонны Чиары непроницаемо. Она сидит, положив прекрасные ладони на резные подлокотники большого кресла из красного дерева, и склоняет голову то на одну сторону, то на другую, следя за обсуждением. Чем серьезнее прислушивается она к каждому мнению, тем меньше будет оснований у проигравших считать, будто их слова пропустили мимо ушей.

— Тем прекраснее было бы для нас составить собственное мнение. Ведь это же все-таки карнавал. Мы не можем все время молиться, да и того, что происходит на улицах, невозможно не услышать, — настаивает сестра Аполлония и при этом так волнуется, что за покрывающими ее щеки белилами даже начинает угадываться румянец. — Если видеть его для нас грех, так пусть хотя бы подойдет к воротам с той стороны, а мы с этой послушаем.

— Я согласна, — кивает сестра Франческа из мастерской вышивальщиц, прямо-таки светясь в предвкушении такого количества

очистительной радости и смеха. — В других монастырях заходят куда дальше. Всем известно, что в прошлом году, когда в Корпус Домини представляли карнавальную пьесу, ворота «случайно» остались приоткрытыми и половина мужчин города могла в них заглянуть.

— Гхмм! — подает голос сестра Юмилиана.

В тишине, наступившей после ее замаскированного окрика, все ждут вмешательства аббатисы. Взгляды пронизывают комнату, сталкиваясь, словно противоположные течения. Зуана снова высматривает Серафину. О да, теперь-то глазки у той разгорелись. И монахиня думает, что несдерживаемая радость ей к лицу.

Тишина нарастает. Три, четыре... Зуана считает про себя. Их духовная мать знает, когда начать. Пять, шесть...

— Вы совершенно правы, сестра Франческа. — Прозвучавший в тишине голос глубок и властен. — Они и правда не заперли ворота. За что и получили суровый нагоняй от епископа — заодно с продолжительным наказанием, которое означает, что в этом году им запретят ставить пьесу вовсе. — Аббатиса делает паузу, чтобы смысл сказанного дошел до каждой. — Я не сомневаюсь в том, что с точки зрения музыки голос этого «существа» весьма любопытен, хотя, судя по тому, что мне доводилось слышать, сестра Бенедикта права, и, выигрывая в диапазоне, он значительно уступает в утонченности. Однако я полагаю, что в данном случае нам лучше согласиться с мнением нашей достопочтенной сестры-наставницы. Не надо, чтобы о нас думали, будто мы стремимся к похвале так сильно, что готовы состязаться за нее с самыми сомнительными личностями. Не мне напоминать вам о том, что наши добрые прелаты совсем недавно совершили в Тренте геркулесов подвиг очищения Церкви перед лицом грозящих ей ересей, обратив свое особое внимание на монастыри. — Прямой взгляд на сестру Аполлонию. — Господь благословил нас епископом, который счел возможным защитить нас от введения самых жестоких ограничений, а потому было бы крайне плачевно, если бы мы своими собственными «проступками» привлекли внимание к тем, кому положено быть безупречными.

Слова мягки, но смысл их ясен. Безупречные брови сестры Аполлонии сходятся, образуя не менее безупречные морщины. Однако она склоняет голову и прикусывает язык. Если на собрании чья-то тактика оказалась искуснее твоей, лучше согласиться и смолчать.

— Кроме того, — добавляет аббатиса уже веселее, — мне доподлинно известно, что на нынешнем карнавале у него расписан каждый день. Осмелюсь утверждать, что кроме придворных его услышат лишь те, кто будет проходить мимо раскрытых окон палаццо Скифанойя.

В комнате кое-где раздаются смешки. Палаццо Скифанойя знаменито своим большим салоном, стены которого расписаны изображениями языческих богов и богинь, наслаждающихся жизнью, а иногда и друг другом. Хотя в правилах святого Бенедикта о разлагающих свойствах беспечного смеха сказано прямо, понятно, что в каждой здоровой общине кислое непременно мешается со сладким. Зуана считает, что в этом их аббатиса поднаторела; жаждущим новизны она подбрасывает лакомые кусочки, а сама меж тем соглашается с теми, кто этого не одобряет.

Сестра Юмилиана, напротив, сидит с каменным лицом, словно и не заметив одержанной победы. В последнее время ни одного собрания не проходит без того, чтобы она не высказала своего несогласия по какому-либо вопросу. А аббатиса, хотя у нее хватило бы и власти, и силы характера, чтобы подчинить ее, уступает ей больше обычного.

Зуана оглядывает комнату. «Интересно, — думает она, — кто еще заметил эту перемену?» Если бы исход последних монастырских выборов не был предрешен расстановкой сил между городскими семейными фракциями, вполне вероятно, что Юмилиана сама была бы сейчас аббатисой, ведь у нее есть свои последовательницы. При ней наставницей молодых была бы Феличита, и вместе они не давали бы спуску вверенным их попечению душам. Хотя, вне всякого сомнения, есть и такие, кому их правление принесло бы радость. Зато остальным, дочерям благородных семейств, не по своей воле оказавшимся за этими стенами, пришлось бы куда хуже. Однако при нынешних обстоятельствах мадонна Чиара победила с убедительным преимуществом, а должность сестры-наставницы стала утешительным призом для Юмилианы. И хотя никто не ждал, что это заставит ее умолкнуть, все же в здоровой общине лучше иметь оппозицию в своих рядах, чем за их пределами. Однако Зуана в последнее время стала сомневаться, что мадонна Чиара по-прежнему придерживается такого мнения.

— Ну что ж, тему развлечений можно считать закрытой, перейдем к угощению. Сестра Федерика, как монастырский эконо́м, не могли бы вы сообщить нам свои требования? Полагаю, вам понадобятся дополнительные припасы.

— О да, разумеется, — с готовностью соглашается Федерика, краснощекая матрона, правящая кухней как собственной вотчиной. — Для пирогов и выпечки понадобятся два мешка муки, еще сахару, ванили и по крайней мере еще три дюжины яиц. Тем, кто ожидает больше восьми посетителей, придется добавить яйца от собственных птиц, так как монастырским несушкам не справиться.

Это замечание адресовано сестре Фортунате, которая держит до полудюжины птиц в своей просторной келье первого этажа и вокруг нее и слывет удивительно щедрой во всем, что касается их продукции.

— А еще мне понадобятся краски для марципановых фруктов. Сестра Зуана?

Зуана склоняет голову. С тех пор как ей выделили в монастыре особую комнату для хранения аптечного оборудования, карнавальные марципановые фрукты Санта-Катерины стали славиться в городе не только ярким цветом, но и вкусом, подобным настоящему.

— Я посмотрю, что у меня есть в запасе.

— Особенно красная. В прошлом году клубнику съели сразу.

«Причем монахини старались не меньше гостей», — немилосердно думает Зуана.

— Сделаю, что смогу, но эту краску нам присылает епископ, сами мы ее не делаем, а у меня почти ничего не осталось.

Тут Зуана снова ловит взгляд Серафины. Они уже говорили об этом в аптеке: в мире за стенами монастыря краситель из кошенили — настоящее сокровище, которым за бешеные деньги торгуют испанцы, привозя его из Нового Света; он так дорог, что, только став единственным аптекарем епископа, Санта-Катерина смогла рассчитывать на нечастые «подарки» из дворца. И репутация кошенили вполне заслужена, ибо все, к чему она ни прикоснется — от кардинальской мантии до женских губ, — обретает стойкий и яркий красный цвет. Федерика, надо полагать, слишком редко заглядывает куда-нибудь, кроме своих духовок, иначе заметила бы, что у монахинь, налегавших на марципановую клубнику, в первые дни Великого поста губы алели столь же соблазнительно, как и у придворных дам.

Зато Юмилиана все видит и все замечает. Но подобные проступки кажутся ей слишком мелкими, чтобы тратить время на борьбу с ними, по крайней мере пока. Она хмурится, глядя на Зуану. В ней она видит свою противницу в подобных вопросах, и совершенно справедливо, хотя и по иной причине. Зуане краска нужна не меньше, чем Федерике, но лишь потому, что ей совсем недавно попались описания лекарств, в которых используется кошениль, в частности для лечения лихорадки, но пока не представилась возможность их опробовать, Зуана не хочет расставаться с драгоценным запасом ради горстки карнавальных сладостей.

— Разве мы не можем раздобыть еще? — Замечание хозяйки кухни адресовано аббатисе. — Оно того стоит, даже если придется потрудиться.

— О да. В прошлом году в парлаторио несколько месяцев только и слышно было, как все рассыпались в комплиментах нашим сладостям, — ничуть не раздавленная предыдущим поражением, с новой силой бросается в спор сестра Аполлония.

— Сделаем все, что сможем, — снисходительно отвечает аббатиса. — Сестра Зуана уже работает над новым заказом епископа. Уверена, благодарность его святейшества вновь будет щедрой. Как продвигается работа?

— В течение следующей недели снадобья будут готовы. — Зуана делает паузу, а затем добавляет: — Мне очень помогает наша новая послушница, она способна и предана делу.

Не менее шестидесяти пар глаз поворачиваются к среднему ряду скамей, где сидит Серафина. Пока все оглядываются, Зуана замечает, как лицо сестры-наставницы вспыхивает гневом.

— Что ж, это приятная весть. Похоже, наш Господь неисповедимыми путями возвращает возлюбленных Им молодых овечек в свое стадо. — Голос аббатисы истекает молоком и медом. — Остается лишь надеяться, что ее больное горло исцелится как раз к началу нашего карнавального концерта. Право, жаль, если молодой девушке придется сидеть одной в своей келье, когда весь монастырь будет радоваться и веселиться. Так ведь, дитя мое?

И Серафина, захваченная врасплох столь неожиданным вниманием, торопливо опускает голову, чтобы скрыть зардевшиеся щеки.

— Негоже давать послушнице повод для гордости, когда ей только предстоит научиться смирению.

— Я просто сказала правду. Она умна и быстро учится.

Комната для собраний пустеет, но Зуана задерживается, получив от аббатисы знак.

— Да, бунтарки нередко таковы. Тем не менее община только выиграла бы, если бы ее «способности и преданность делу» удалось перенаправить к ее горлу. Вы с ней беседуете, я полагаю.

— Да, когда это необходимо.

— Только когда необходимо?

Зуана смотрит на головы львов на подлокотниках большого орехового кресла и замечает, как истерлись их гривы за сотни лет прикосновений беспокойных пальцев. Оно и понятно, руководить таким количеством душ — дело нелегкое.

— Раз она должна помогать мне и приносить пользу общине, то есть вещи, которые она должна знать, вопросы, которые ей приходится задавать, а мне — давать на них ответы.

— И?

Зуана молчит, но затем не выдерживает:

— И ее голос, когда она говорит, вполне чистый.

— Интересно, — кивает аббатиса. — Даже сестра Юмилиана находит для нее время. И больше, чем можно было ожидать. Возможно, для нее это вызов. Она говорит, что в девушке есть сила, но душа ее закрыта плотно, как сжатый кулак.

— Если кто-нибудь и сможет его разжать, то только наша добрая сестра-наставница.

— Совершенно верно, — сухо подтверждает аббатиса.

В другое время они могли бы поговорить об этом, обсудить неодобрение Юмилианы и ее возможное влияние на монахинь хора, но теперь ясно, что у аббатисы иное на уме.

— Я написала ее отцу письмо, в котором сообщила о состоянии дочери и спросила, не следует ли нам знать что-нибудь еще, что помогло бы нам справиться с ее скрытностью. Но ее семья в отъезде и будет назад лишь через несколько недель. Кажется, поговаривают о браке младшей дочери с юношей из благородной флорентийской семьи, — вздыхает аббатиса, как будто разочарованная этой

новостью. — Скажи мне, в первую ночь, когда ты давала ей лекарство, ты не заметила чего-нибудь у нее в сундуке?

— В каком роде?

— Песни, стихи.

— Я... э-э... в ее требнике были какие-то листки.

— Ты их читала?

— Нет.

— И не подумала о том, чтобы рассказать о них мне?

Конечно подумала, и не один раз. Но если бы листки были конфискованы по ее доносу, Серафина сразу поняла бы, кто ее предал, и всякая надежда на установление отношений между ними была бы потеряна. Но потому ли она промолчала?

— Я... Она пришла к нам как певица, и я подумала, что это, наверное, переписанные песни. Мадригалы какие-нибудь. А что? Кто-то другой их обнаружил?

— Можно и так сказать.

Разумеется. Могла бы и догадаться. Руки у Августины, может, и крюки, зато голова достаточно умная, чтобы знать, где настоящая власть. Зуана так и видит, как та, склонившись над сундуком, роется в нем в поисках вещей, о которых может быть выгодно донести. А сама аббатиса? Не зная характера скрытого, разве может она сказать, следует его обнаруживать или нет? Временами Зуана спрашивает себя, есть ли такие монастыри, в которых благочестие одерживает верх над любыми проявлениями незаконной торговли. И если есть, то не в ее силах представить себе, как они существуют.

Аббатиса сидит, ее пальцы продолжают играть с гривами львов.

— Может быть, ты права. Тот, кто их написал, наверняка много читал Петрарку, можно даже сказать, проглотил его целиком. — Она замолкает, а потом произносит: — Осмелюсь сказать, что из них получились бы неплохие песни.

— Как вы с ними поступите?

— Еще не решила. Конфисковать их сейчас значило бы пойти на риск, что они еще глубже запечатлеются в ее памяти, — вздыхает мадонна Чиара так, словно и на это не до конца решилась. — Пока они лежат в ее сундуке.

— А сестра Юмилиана?

Новое движение пальцами.

— Она занята своим делом. Уверена, стоит ей услышать голос девушки, поющий хвалу Господу, и она забудет, каким песням ты еще учили, — говорит аббатиса, затем после паузы добавляет: — Нам всем было бы лучше, если бы к послушнице как можно скорее вернулся голос. В часовне на празднике святой Агнесы будет половина двора. Может, какое-нибудь наказание поможет?

— Насколько я успела ее узнать, это маловероятно, — отвечает Зуана.

Первый опыт наказания самой Зуаны оставил дурной привкус как во рту, так и в душе: после трапезы из посыпанных полынью объедков она час лежала ничком на полу у выхода из трапезной, где сестры должны были переступать через нее, входя и выходя, а те, что построже, нарочно не рассчитывали шаг и наступали не только на платье, но и на тело под ним. Ее слезы тогда имели столько же отношения к воспоминаниям о целительных бальзамах отца, сколько и к новообретенной близости к Господу. С тех пор как ее поставили во главе аптеки, она всегда держит баночку с мазью из календулы для тех, кому та может пригодиться.

— Я постараюсь, — тихо говорит Зуана. — Я не просила об этом бремени.

— Нет, конечно, не просила. Я сама его на тебя возложила — для твоего блага так же, как и для ее, — замечает аббатиса. — Но если говорить о бремени, то не думаю, что оно тебя так уж утомляет. Напротив, по-моему, ты прямо расцвела с ним.

Их взгляды встречаются, и аббатиса улыбается впервые за всю их встречу.

— Не будем предаваться унынию, — говорит она, расправляя свои юбки. — По крайней мере, кастратов в парлаторию мы не принимаем. Услышь об этом епископ, у него начались бы такие колики, что и твои суппозитории не помогли бы. Хотя в некотором роде обидно...

— Что, у него правда такой замечательный голос?

— Похоже, что да. Говорят, высокие ноты он держит так долго, что хрустальные подвески на люстре во дворце герцога начинают звенеть, аккомпанируя ему, как целый хор. Только представь. Быть может, Господь все же допустит в рай хотя бы некоторых из них, чтобы мы могли иметь удовольствие... — Глаза аббатисы делают быстрое



движение в сторону. — А, сестра Феличита. Я и не видела, что вы в дверях стоите.

— Прошу простить меня, мадонна Чиара, — произносит монахиня, робко входя внутрь. — Я спрашивала у вас разрешения, нельзя ли мне...

— Да-да, я помню. Хотя мне казалось, что мы условились... Ну ничего, входите. Мы с сестрой-травницей уже обсудили наше дело.

## Глава одиннадцатая

Он пришел! Он нашел ее! Он был здесь прошлой ночью, пел за стенами, пока она спала. О, это не мог быть никто иной. Он говорил, что придет, и пришел. Два голоса, один низкий, как колокол, так она сказала. Если вторым был безупречный альт, значит, это был он, ведь на свете не так много мужчин, чьи голоса с такой легкостью охватывают все двадцать две ноты, от баса до дисканта. Как глупо было с ее стороны взять и уснуть. Ах, если бы узнать, какие слова он пел, тогда она сразу поняла бы, он это был или нет. Но спросить старую ведьму Феличиту она не решилась: ей что ни скажи, через секунду все донесет наставнице.

Она так волнуется, что с трудом унимает дрожание рук, держащих свечу. Пламя ярко вспыхивает и стреляет искрами. Она заставляет себя поставить свечу на стол и немного успокоиться.

Это наверняка был он. Хотя... хотя такие вещи случаются в это время года. Так все говорят: мужчины — кто группами, кто в одиночку — прохаживаются вокруг стен монастыря и поют мадригалы и любовные песни. Ей вспоминается то безумие, которое творилось на улице вокруг их палаццо; она видит себя и сестру (не такую уж скромную, когда отца нет рядом), как они склоняются из верхней лоджии и ловят воздушные поцелуи и заверения в любви, пока нянька, неодобрительно цокая, но на самом деле довольная не меньше, чем они, не загоняет их в постель. Карнавал: время проказ и неповиновения...

На рекреации после ужина все только и делали, что вспоминали карнавальные истории вроде той, которую рассказала сестра Аполлония — наверняка в отместку Юмилиане за то, что та запретила концерт. Много лет назад кучка монахинь и послушниц пробралась на склад, где хранятся запасы ароматических веществ, набрала там полные корзинки сушеных розовых лепестков, поднялась с ними на колокольню и начала посыпать ими оттуда толпу на улице, так что все молодые мужчины принялись петь серенады и любовные песни чистым и непорочным невестам Господа нашего — правда, не все они были невестами, некоторые оставались нареченными. Мужчины стали подбрасывать вверх кошельки, кто-то даже бросил веревку, чтобы

помочь им спуститься. Скандал был такой, что с тех пор колокольная всегда стоит на замке, а ключи есть только у аббатисы и ночной сестры.

Ах, если бы раздобыть такой ключик... С башни можно разглядеть половину города. Но есть ведь и другие способы. Например, если бы она поняла, откуда доносится его голос, то пробралась бы к той части стены и перебросила через нее письмо. Завернула бы в него камень побольше. Это она может сделать. Сегодня. Да, прямо сегодня. Если надо, она не будет спать всю ночь.

Волнение все равно не даст ей уснуть. О, как только сестра Феличита произнесла эти слова, «голос, что твой колокол», ей показалось, будто огромный кулак сжал ее сердце так, что она чуть не упала в обморок. Заметил ли кто-нибудь? Да нет, вряд ли. Все как раз хихикали и перешептывались. Кастрат, поющий в парлаторио. Можно подумать, сам дьявол явился разделить с ними их убогие соломенные тюфяки. Нет, в самом деле, шумят, крыльями хлопают, ну сущие дети. Эдакая семейка носатых сестриц, пререкающихся из-за пустяков и каркающих, как целый мешок воронья.

Вороны. Ох! А про птичьих-то трели никто не сказал. Может, это все-таки был не он. Потому что он наверняка принес бы с собой инструмент. Они ведь договорились: она будет знать, что это он, когда услышит птичью трель после его голоса. Так они, кажется, договорились или нет? Только вот она ничего уже не помнит. Столько слез было пролито при их последних встречах. И все произошло так быстро. Так быстро...

А ведь у нее никогда и в мыслях не было бросать кому-либо вызов. В детстве ей не меньше, чем всякой другой маленькой девочке, хотелось, чтобы архангел Гавриил стал первым, кто пронзит ее сердце. Но вместо него в ее окошко впорхнул Купидон. И отец сам зазвал его внутрь. К тому времени он уже выбрал ей жениха, точнее, не самого жениха, а фамилию, которую тот должен носить. Ему и в голову не приходило, что безымянный талантливый учитель музыки явится и получит заветный приз. И никто не был в том виноват. Точнее, если уж искать виновных, то им будет прекрасный голос, который даровал ему Господь, и его песни на стихи Петрарки, ибо слова великого поэта всегда поощряют ростки любви.

А когда нагрязнул с визитом и сам избранный искатель ее руки, она уже так влюбилась, что с трудом заставляла себя молвить с ним пару слов, не говоря уже о том, чтобы поощрять его. Но он не расстроился. Дуэньей в часы их свиданий была ее сестра, прекрасно умевшая сочетать показную скромность с кокетством — да так, что после бессонной ночи (так он, по крайней мере, заявил) жених вернулся и выразил желание взять в жены младшую дочь. Поскольку важен был не он сам, а его имя — приданое последовало бы за любой из дочерей, — отец был уверен в успехе. «Вообще-то мы планировали, что наша младшая будет служить Богу, но, если она не против...»

Ей сообщили об этом лишь после того, как сестра дала согласие. В то время она была настолько поглощена любовью, что сначала даже обрадовалась новости. Они с Джакопо — ибо у безымянного певца было-таки имя, и притом прекрасное, — возьмут меньшую часть приданого и будут рады. Ведь, когда живешь песнями, многого не нужно.

От гнева ее отца гобелены едва не попадали со стен. Если уж выбирать между обнищавшим учителем музыки и Христом — его выбор жениха для дочери был очевиден. Когда она отказалась, отец запер ее в комнате и сказал, что не выпустит, пока она не согласится. Злость на ее тупость и непослушание скрывала страх, не скомпрометировала ли себя дочь. Застав учителя у двери, где он шептался с ней, отец вышвырнул его из дома, а ее избил до полусмерти под вопли стоявшей рядом матери. Не прошло и десяти дней, как она была на пути в Феррару, успев лишь подкупить служанку, чтобы та передала Джакопо название монастыря, где он должен ее искать.

И он сдержал слово... Он пришел за ней. Он снаружи, ждет.

Но... но... червь сомнения все еще точит ее. Что, если это все-таки не он? О, что, если ей предстоит быть похороненной здесь до конца жизни и до конца жизни вслушиваться в трели птиц по ночам, пока что-то внутри ее не съежится и не погибнет?

Она нервно оглядывает келью. Та монахиня, которая жила здесь прежде, умерла, когда что-то лопнуло у нее в голове. У нее даже мозги частично через рот вытекли. Так рассказывала ей одна из послушниц. Иногда ей кажется, будто стены источают вонь от того, что произошло здесь. Она с ума сойдет, если не выберется отсюда. «Как жаль, если

кому-то придется сидеть в своей келье взаперти, пока вся община будет развлекаться и веселиться». Судя по тому, как произнесла эти слова аббатиса, можно подумать, что сама мысль об этом доставляла ей большое удовольствие.

Как они тогда все на нее уставились. Compliment сестры Зуаны изумил ее не меньше, чем других. Как она ее назвала? Способная? Решительная? Нет, преданная. Вот как. Но ведь она так не думает! С чего бы? Значит, она сказала это просто так, по доброте. Но доброта для нее сейчас хуже злобы, ведь теперь за ней будут следить еще пристальнее. Аббатиса, сестра-наставница и все прочие...

Мысли проносятся в ее голове с такой скоростью, что ее едва не начинает тошнить. Надо остановить, усмирить это бешеное мелькание, иначе она не сможет думать. Из всех сил стиснув ладони, она опускается на колени, наклоняется вперед и изливает всю силу своей мысли и чувства в следующих словах:

— Господи милостивый, молю Тебя, услышь меня. Молю Тебя, сделай так, чтобы это был он. Пожалуйста, пусть он споет еще и пусть я найду способ дать ему о себе знать.

Однако это похоже на безумство: быть здесь и просить помощи у Бога. Если Господь любит ее, то почему позволил им запереть ее? Ведь она ничего не сделала. Ну, почти ничего. Несколько поцелуев украдкой, влажные ладони, скользкие по коже, касание набухающих языков. В музыке они грешили куда больше. О-о! Сами их души соединялись в ней. Но этого никто не видел. Кроме Бога. Неужели это и впрямь грех — полюбить человека из-за его голоса? И теперь Господь наказывает ее за это? Разве может Он быть так жесток?

«Говори с ним. Он ждет, Он всегда ждет знака. Мы Его дети, и Он слушает нас». — Наставления Юмилианы всплывают в ее мозгу.

— Прости меня, — произносит она шепотом. — Прости. И помоги. Молю.

Она стоит на коленях и молча ждет. Края каменных плит пола впиваются ей в колени, тело ломит от бесконечной чистки и мытья. Постепенно шум в ее голове стихает, сменяясь пульсирующей болью, и она становится спокойнее и сосредоточеннее.

— Благодарю Тебя, — говорит она, наслаждаясь болью в коленях. — Благодарю.

Она встает и направляется к сундуку. На смену возбуждению пришла целеустремленность. Под сукном, рядом с листками, лежат шесть камней, подобранных на краю аптекарского огорода, где они с Зуаной копали корни. Выбрав самый крупный, она взвешивает его на ладони. Он гладкий и тяжелый, как будто сама земля его полировала. Ха! Она уже думает, как сестра Зуана. Радуги в небе, реки золота и серебра в земле, космический дух, оживляющий все сущее... Даже в камнях для нее таится чудо. Сумасшедшая...

И все же, когда сегодня после работы Зуана вытащила тот магнитный камень и поднесла его к ложке, которая буквально подпрыгнула и прилипла к нему... О-о! Это было что-то. Что-то, понятное ей. Сила притяжения. Как музыка между нею и Джакопо.

Она возвращается к сундуку и шарит в нем дальше, пока не находит то, что ей нужно: две нижние юбки, обе шелковые, одну белую, другую красную. Она кладет их на пол. Ночью на мостовой какой цвет будет выделяться ярче? Белый? Она поднимает над юбкой свечу, но белый кажется серым и обыденным, в то время как красный сверкает, как свежая кровь. Тот ли это цвет, о котором все говорили: придающий красноту губам, прерывающий лихорадку и избавляющий от меланхолии? Так, кажется, сказано в книге, написанной отцом сестры-травницы? Меланхолия. Даже само слово печально, как серый туман, удушающий все, к чему ни прикоснется. Не один раз за последние недели она прямо чувствовала, как он ползет по каменным плитам ее кельи, поджидая того мига, когда у нее больше не будет сил сопротивляться. Но он пришел, и настроение ее переменялось.

Губы дамы моей краснее рубинов,  
А волосы — облако золотое,  
Пронзенное солнечным лучом.  
Но когда повернет ко мне она спину,  
День станет ночью, ударит мороз.

Она берет красную юбку, зубами надрывает ткань и принимается рвать ее на широкие ленты. Закончив, она берет два листка со стихами, переворачивает их обратной стороной и начинает писать.

## Глава двенадцатая

Если Зуана ждала благодарности от Серафины, то всякие иллюзии на сей счет покинули ее довольно быстро. Вообще-то некоторое время ей даже пришлось работать в одиночку, ибо с девушкой не все оказалось ладно. В ночь после собрания ночная сестра, получив тайное указание участить обходы ввиду раннего появления карнавальных воздыхателей, обнаружила послушницу во второй галерее, где та заблудилась, пытаясь найти дорогу в свою келью, причем руки у нее были ледяные, а сандалии покрывала грязь, испачкаться которой можно лишь в саду.

Когда сначала сестра-наставница, а потом и аббатиса расспрашивают ее о том, где она была и что делала, девушка отказывается отвечать на их вопросы. На виновную, которая отказывается признаться, налагается более суровое взыскание. Два дня она сидит взаперти в своей келье на хлебе и воде. Но сначала Августина и другая прислужница тщательно обыскивают келью и находят в сундуке некие бумаги. В ту же ночь вопли послушницы снова сотрясают монастырь. Зуана сидит у себя в келье над книгами и ничего не может сделать. Ей, как и другим монахиням, запрещено даже близко подходить к девушке. Когда процессия сестер движется по галерее к заутрене, они слышат, как девушка бросается на дверь своей кельи, осыпая ее ударами такой силы, что кажется, будто или она, или дерево не выдержит. Другие послушницы нервно оглядываются на ходу, одна начинает плакать. Но когда некоторое время спустя они возвращаются из часовни, стук и крики прекращаются. С тех пор в келье стоит тишина.

На второй день пополудни сестра Юмилиана проводит с Серафиной час в ее келье, откуда приводит девушку к обеду в трапезную, где та сидит одна на полу, а перед ней стоит тарелка с объедками, густо посыпанными горькой полынью и золой. Урок, который с легкой дрожью в голосе читает в тот день сестра Франческа, взят из поучений святого Иоанна Климакуса, одного из отцов-пустынников, и посвящен покаянию как добровольному преодолению страданий, очищению совести, дочери надежды и отказу от отчаяния. Поучение обладает особой красотой, и многие монахини ощущают, как

у них становится светлее на сердце. По окончании трапезы аббатиса велит девушке лечь на пол у двери, где все выходящие переступают через нее, но не все делают это так же осторожно, как Зуана.

Как назло, следующий день в монастыре — время визитов.

Серафина не в первый раз проводит время в келье, пока другие развлекают гостей (в первые три месяца послушницам запрещены все контакты с внешним миром — правило, которое в обычных обстоятельствах при всей его кажущейся жестокости является милосердным, ведь слишком ранняя встреча с родными и любимыми может разбередить едва начавшую затягиваться рану), однако всеобщее возбуждение, нарастающее с приближением карнавала, придает этому посещению особую энергию. Следующий день — праздник святой Агнесы, ради которого приготовлен особый обед, а в часовню придут придворные послушать новые псалмы сестры Бенедикты, сочиненные для вечера. В парлаторию полно народу: без малого две дюжины монахинь, разделившись на небольшие группы, развлекают и угощают отцов, матерей, сестер, братьев, племянников, племянниц, кузенов и кузин, с которыми так громко болтают и обмениваются подарками, что любой посторонний решил бы, что присутствует на какой-то придворной церемонии, а не на дне посещений в монастыре ордена Святого Бенедикта. Зуана, одиноко трудясь в своей келье (ее немногочисленные родственники, живущие в Венеции, давно предоставили ее своей судьбе), различает смех отдельных сестер, и даже после того, как ворота монастыря затворяются и в обители снова наступает тишина, те, кто принимал сегодня посетителей из внешнего мира, кажутся легче и светлее остальных.

В ту ночь за стенами одинокий тенор поет песню о женщине с волосами, как золото, и румянцем цвета алых роз. После третьего куплета серенада обрывается, раздается трель соловья, и ночная тишина воцаряется снова.

Чай из одуванчика уже заваривается в горшке, когда девушка, чуть заметно прихрамывая и опустив глаза долу, входит в аптеку. Зуана наливает чай в чашку и ставит ее рядом с имбирным шариком, лежащим на ее месте за рабочим столом.



— Добро пожаловать, — говорит она весело, стараясь, чтобы голос оставался спокойным. — Присядь и освежись, У нас много работы сегодня.

Правила монастыря абсолютно ясны на этот счет. Покаяние, как только оно окончилось, остается в прошлом и не касается никого, кроме самой каявшейся и ее духовной наставницы. И разумеется, Бога. О нем не положено говорить, а уж тем более выражать соболезнования или сочувствие по его поводу.

Подбородок девушки твердеет, когда она пытается сделать глоток, и Зуана понимает, что та находится на грани слез. Лучше бы она не плакала, а если заплачет, то Зуане лучше сделать вид, что она ничего не заметила.

— Пей чай и ешь имбирь, — говорит она спокойно. — Я добавила в него трав. Они смягчат голод и придадут тебе сил.

Серафина переводит дыхание, потом берет шарик и надкусывает его. Зуана представляет, как смешанные с медом специи орошают рот Серафины, побеждая вкус полыни, который может держаться несколько дней. Как-то, впервые показав ей острые листья и велев их пожевать, чтобы Зуана почувствовала их отвратительную горечь, отец пересказал ей тот отрывок из Книги Откровений, где третий ангел мщения бросает с неба на землю звезду по имени Полынь, и вода во всех реках и источниках становится горькой, и, испив из них, люди умирают. Тогда ее поразило, что простое растение может стать таким мощным орудием уничтожения. Она раздумывает, не напомнить ли эту историю Серафине, но потом решает, что девушка слишком занята своим горем и вряд ли это ее отвлечет.

Слезы приходят, пока Серафина жует, но ясно, что она не разрешает им пролиться, а потому сердито шмыгает, стараясь их сдержать. Немного погодя, когда девушка протягивает другую руку за чашкой, Зуана замечает, как она морщится.

Зуана берет с другого конца рабочего стола глиняный горшочек и ставит его рядом с чашкой.

— Держи.

— Что это? — Голос у девушки тонкий и безжизненный.

— Это мазь для лечения прищемленной или размозженной плоти. Она быстро сведет синяк и уменьшит боль.

— Разве наказание не должно причинять боль?

— Оно должно помогать. Но сначала боль и помощь не всегда совпадают.

— Ха! Скажи об этом сестре Феличите.

Зуана опускает глаза. Хотя не полагается называть сестер, которые наступают больнее других, разумеется, все знают их поименно.

Девушка допивает свой чай и отодвигает горшок.

— Это ты?

— Что — я?

— Сказала им про мои стихи?

Разговор переходит на опасную территорию. Зуана, ничего не говоря, едва заметно мотает головой.

— Тогда кто же? Августина не умеет читать...

— Не умеет, но нюх на секреты у нее превосходный... — соглашается Зуана, обрывая фразу на полуслове.

Девушка кивает. Она все поняла.

— Держи. — Зуана достает передник и дает его девушке. — Допивай чай. У нас много работы. Я приготовила все ингредиенты для сиропов, но мешать теперь будешь ты. Тогда в следующий раз ты сможешь приготовить лекарство самостоятельно. — Зуана прекрасно понимает намек, кроющийся в ее словах, но продолжает: — Только будь осторожна. Кипящая патока намертво приклеивается к коже и сходит вместе с верхним слоем.

Девушка смотрит на нее, допивает последний глоток и берет передник.

Кипящая на огне масса густеет с каждой минутой, но, приспособившись к ее плотности, девушка мешает хорошо. Они работают молча, как много раз за последние недели, и тишина приносит им облегчение. На столе разложены специи, тертые, рубленые и отмеренные, рядом с ними небольшой пузырек коньяка, который следует добавлять в определенное время. По мере того как ингредиенты соединяются с патокой, запах насыщенного корицей и гвоздикой жженого сахара окружает их со всех сторон. Все это до такой степени напоминает Зуане ароматы молодости, что стоит ей закрыть глаза, и она снова видит себя рядом с отцом и слышит, как он шаркает подошвами и гремит посудой, работая на своей половине комнаты.

«Надо жить настоящим, а не прошлым, Зуана». Слова аббатисы всплывают в ее памяти. «Ради твоего же блага. Это сделает тебя лучше, счастливее, и как монахиня ты приблизишься к Богу».

Зуана открывает глаза и ловит устремленный на нее взгляд девушки. Это заставляет ее вернуться к снадобью. Проходит несколько минут.

— То, что ты сказала обо мне тогда. Ты была очень добра... — произносит девушка тихо, почти шепотом, не отрывая глаз от кастрюли. — Прости меня. Я не... я не хотела тебя подвести.

Слова извинения застают Зуану врасплох. И хотя не обижаться на молодую женщину — ее долг, ей не надо прилагать усилия, чтобы его исполнить. Да и какого-либо раздражения или нетерпения по отношению к Серафине она тоже не испытывает, если подумать. Напротив, присутствие девушки в аптеке в последние недели, то, как она не давала ни утешить, ни укротить себя, почти... Что? Радовало ее? Нет, так нельзя говорить. Может быть, вызывало сочувствие? Ну, по крайней мере, понимание.

— «Наш долг смиренно и тихо служить Господу, не отвлекаясь на мирское и не позволяя всякому скандалу или незначительной новинке сбивать нас с пути».

Теперь она вспоминает слова Юмилианы, сказанные на последнем собрании. Неужели именно это с ней и происходит? И она просто соблазнилась новинкой, драматичностью происходящего? Ведь теперь она каждое утро просыпается с мыслью о том, что принесет ей очередной день в аптеке, на какой вызов ей придется давать сегодня ответ. Мысль об этом ее тревожит. Безмятежность, которую она воспитывала в себе все эти годы, слишком дорого ей далась, чтобы пожертвовать ею ради первой же случайности. Краем глаза она замечает, что Серафина вновь наблюдает за ней.

— Мешай, — велит она немного резко. — Очень важно, чтобы масса все время находилась в движении.

Девушка возвращается к работе. Но несколько минут спустя снова поднимает голову.

— Я... Мне надо кое-что у тебя спросить. — Серафина делает паузу. — Что за человек епископ?

— Епископ? — качает головой Зуана. — Лучше забудь о нем. Он тебе не поможет.

— Он старший над нашей аббатисой, — говорит она упрямо. — По-моему, я имею право знать, что он за человек.

Зуана вздыхает. Что сказала мадонна Чиара о его назначении много лет назад, когда сама была еще простой монахиней? «Столь же уродливый, сколь и благочестивый. Однако придется нам с ним мириться. Рим не спускает глаз с Феррары, с тех пор как обнаружилось, что французская жена покойного герцога прячет еретиков под своей юбкой».

Теперь-то аббатиса, разумеется, выразилась бы иначе, но смысл остается прежним.

Зуана тоже осторожно подбирает слова:

— Он слывет благочестивым человеком и сторонником реформ.

Девушка хмурит лоб. Разумеется, она слишком занята своими несчастьями, чтобы замечать огромные перемены, совершающиеся вокруг: ей не видна та борьба, которую ведет внутри себя вера с целью победить окружающую ересь и которая порождает бесконечные правила и условности касательно того, какую мысль считать истинной, а какую нет. До сих пор монахиням Феррары удавалось избегать худшего (спасибо Господу за хвори епископа), но будущее остается туманным. Наверное, лучше ей пока не знать правды, которая может лишь удлинить ее путь и сделать переход к спокойствию более болезненным.

— А еще он... — Зуана задерживает дыхание. А, ладно, все равно она задолжала исповедь отцу Ромеро, спящему или бодрствующему, — невероятно уродлив. Епископа уродливее в Ферраре не видели, наверное, никогда. Мешай. Масса не должна загустеть раньше, чем в нее попадут все специи.

Рука девушки движется, но взгляд остается отсутствующим. «Я знаю, что он означает», — думает Зуана: ей кажется, что она слишком одинока и зла, чтобы радоваться или получать удовольствие хоть от чего-нибудь на свете. Но она ошибается. О, как же она ошибается...

— Думаешь, я шучу? Поверь мне, нисколечко. Епископ Феррары жирен, как дикий кабан, его отвисшие щеки похожи на два куска ноздреватого камня, а кожа грубая, как у носорога.

— Как у кого?

— Как у носорога. Ты не знаешь такого зверя? О, это существо замечательное: похожее на корову-переростка, с гладиаторским

панцирем вместо кожи и с рогом на голове, как у единорога. Я удивлена, что вас с ним друг другу не представили.

— И ты его видела — этого зверя?

— На картинке, но не живьем. Он встречается лишь в самых отдаленных частях Индии, хотя, по-моему, однажды его привезли на корабле в Португалию и показывали там.

Зуана наблюдает за тем, как Серафина широко раскрывает глаза. Отец часто говаривал, что мир полон женщин, которые думают лишь о тряпках и безделушках и не ведают чудес Божьего творения вокруг. Он бы не хотел, чтобы его дочь так же бездарно проводила время. Что ж, он хорошо потрудился. Когда она впервые услышала об этих животных? Совсем рано, помнится, тогда отец еще велел ей понюхать страницу, которая, по его словам, пахла чернилами.

— Эта книга только вчера сошла с книгопечатного прессы в Венеции, а потом плыла день и ночь на корабле, чтобы попасть к нам. Ты только представь себе, дорогая. Только представь.

Но ей было все равно, когда напечатали эту книгу, ее интересовали лишь картинки: страницу за страницей заполняли диковинные растения и животные, увиденные путешественниками на краю света и зарисованные с целью пополнить каталог Божьих тварей. А вот отец интересовался ими скорее как врач, чем просто любопытствующий; говорили, что огромный торчащий рог носорога обладает чудесными исцеляющими свойствами, не уступающими по силе рогу единорога. Годы спустя, увидев профиль епископа во время службы — месса, сопровождавшая его визит, длилась бесконечно, даже самые богобоязненные то и дело впадали в дремоту, — она поразилась его сходству с носорогом, во всем, вплоть до митры, которая торчала посреди его лба, точно рог. В тот же вечер она показала картинку со зверем сестре Чиаре, и они вместе посмеялись над ней. Это случилось едва ли через месяц после того, как старая аббатиса слегла с лихорадкой и семейные фракции зашевелились в предвкушении следующих выборов.

— Ты, наверное, и про ламию никогда не слышала?

— Ламию? Нет.

— О, если верить рассказам очевидцев, то это самое поразительное существо на свете. Полутигр-полуженщина, женское лицо и груди выступают из меха, так что человек, повстречавший ее в

естественной среде, то есть в джунглях, подходит к ней без опаски, до самого конца не подозревая, что перед ним тигр. Одурманенный, он бежит к ней со всех ног, а она в последний миг бросается на него из зарослей и принимает его в свои когтистые объятия. Ты, правда, ничего о ней не слышала? Чему тебя только учили в твоём Милане?

— Меня хорошо учили. Поэзии. Музыке. Пению. — В голосе Серафины вдруг появляется нежданная свирепость. — Самым прекрасным вещам на свете.

Зуана впервые замечает в ней признак оживления, порожденного не яростью и не отчаянием. Поэзия, музыка, пение. Нет, ее точно готовили не для пострига, эту девушку.

Некоторое время они работают в молчании. Однако наживка оказалась слишком соблазнительной.

— Ты говорила, что видела этих зверей в книге?

— Да.

— Она еще у тебя? В твоём сундуке?

— В сундуке?

— Ну да. С книгами твоего отца, которые ты принесла с собой в монастырь, — замечает девушка, пожимая плечами, и обводит глазами полки с травами и книгами, которыми Зуана пользуется особенно часто. — Я хочу сказать, ни для кого не секрет, с каким приданым ты прибыла сюда.

Хотя своими секретами Серафина не делится, но чужие в часы рекреации слушает, должно быть, очень жадно.

— Ты мне ее покажешь?

Зуана чувствует, что попалась, ибо теперь ей придется правдиво соврать. Таким картинкам, неважно, чудесные они или нет, не место в рабочей комнате сестры-травницы.

— Даже будь она у меня, сестра Юмилиана не одобрила бы ее изучения.

— Она вообще ничего не одобряет. Кроме молитв и смерти! — восклицает девушка. — Нет, правда. Она только об этом и говорит: плоть разлагается, и мы должны быть готовы, молиться каждую минуту, потому что смерть может застать нас в любой момент. Говорю тебе, будь у нее нарывы или гнилые десны, она не пошла бы к тебе, а приняла бы их как дар Господа, — заявляет девушка, и ее

передергивает. — Когда она рядом, у меня такое чувство, как будто меня уже едят черви.

Серафина — не первая послушница, находящаяся в плену подобных фантазий. Отчасти причина в возрасте: девушки в момент полового созревания воспринимают все особенно остро, а Зуана не однажды замечала, что сестра-наставница, осуждая поэзию как игру словами дьяволу на потеху, сама нередко прибегает к ее приемам, преследуя свои цели, особенно когда ей случится почуять исходящую от кого-то ядовитую волну плотского желания. Разумеется, это старая и почтенная традиция спасения: умерщвлять плоть ради возвышения духа. С какими словами Тертуллиан<sup>[8]</sup> обратился к тем, кто избрал своей стезей монашество? «Если пожелаешь женщину, то представь, как она будет выглядеть после смерти. Подумай о слизи, которая заполнит ее горло, о жидкости в носу и о содержимом ее кишок». Из него вышел бы хороший врач, а заодно и ученый.

— Я знаю, что сестра Юмилиана бывает иногда весьма сурова, — произносит Зуана, тщательно подбирая слова. — Однако в ее душе горит пламя веры, и она искренне стремится согреть других его теплом. Уверена, стоит тебе довериться ей полностью, и ты это тоже поймешь.

Но девушка ничего не хочет слышать. Она отворачивается к кастрюле, и возникшее было меж ними доверие пропадает. Вскоре на другой стороне двора начинает петь хор.

Зуана снова видит, как, вопреки желанию девушки, ее голова поднимается и верхняя часть тела словно устремляется навстречу звукам. Для празднования дня благословенной мученицы святой девы Агнесы существует специальный канон, а написанные Бенедиктой псалмы надо как следует отрепетировать к началу вечера. Аббатиса специально выбрала эту службу, чтобы представить городу свою новую певчую птичку. Музыка и впрямь очаровательна, даже для не столь взыскательного слуха Зуаны. Послушницы обычно любят юных святых, ведь в глубине их благочестия кроется зерно протеста, и сама Серафина, не разделяя стремления юной девы к мученичеству, против воли прониклась драматической составляющей музыки.

В ее возрасте Зуана уже могла распознать на вкус все основные растительные составляющие лекарств и перечислить их целебные свойства. Она не удивилась бы, узнав, что девушка про себя поет

сейчас каждую ноту. Вон как внимательно она слушает. Западающий в душу хоровой антифон<sup>[9]</sup> подходит к концу, и начинаются псалмы.

— Знаешь, я не понимаю, зачем ты добровольно терпишь такую боль. Ведь иметь красивый голос — это, наверное, одна из самых больших радостей в жизни.

Девушка трясет головой, глядя в патоку.

— Птицы не поют, когда их держат в темноте.

— Это верно... кроме тех, которые песнями встречают зарю. — Зуана делает паузу. — Я недавно слышала соловья, чей голос был исполнен такой сладости, что она могла бы облегчить океан страданий, — говорит она, вспоминая тот момент в галерее, когда чувствовала свое единство с миром.

Серафина вскидывает голову, точно ужаленная ее словами. От резкого движения ложка в ее руке подлетает вверх, капля раскаленной патоки срывается с нее и падает девушке на руку.

— Ой! — вскрикивает она и с искаженным от боли лицом отдергивает руку, ложка падает в кастрюлю.

Одним прыжком Зуана оказывается рядом с ней, хватая ее за запястье, срывает с ее руки жгучую патоку и тянет девушку к бочке с водой.

— Окуни руку!

Та колеблется, и Зуана сама засовывает ее руку в бочку, отчего та вскрикивает снова — на этот раз от ожога ледяной водой.

— Не вытаскивай. Холод снимет боль и облегчит ожог.

Вернувшись к огню, Зуана принимается за спасение деревянной ложки, прислушиваясь к всхлипываниям девушки у себя за спиной. Дав волю слезам, та уже не может остановиться.

Вдруг Зуане вспоминается один зимний день в скрипториуме, много лет назад. Молодая женщина, столь же сердитая, сколь и несчастная, сидит, глядя, как ее слезы падают на страницу, которую она переписывает. Пытаясь смахнуть их, пока они не причинили вреда бумаге, она замечает, что внутри большой иллюминированной буквы «О», с которой начинается текст, по самому ее краю, вдоль изгиба золотого листа, лепятся слова, старательно выписанные умопомрачительно мелким шрифтом. Прочитав их тогда, она помнит их по сей день.



Мать в монастырь меня отдала,  
Чтоб дать сестре побольше.  
Послушалась я и в монашки пошла.

Она произносит слова так, чтобы проступила скрытая в них вязь стихов.

Но в первую ночь из кельи,  
Любимого голос услышав,  
Сбежала я отворять ворота.

В комнате за ее спиной стало тихо.

Но мать-аббатиса поймала меня.  
Скажи мне, сестренка, что с тобой —  
Любовь или лихорадка?

Зуана оборачивается к девушке:

— Знаешь, ты ведь не первая, кому так плохо и одиноко.

— А? Это ты сочинила?

На ее лице написано такое недоверие, что Зуана невольно начинает смеяться.

— Нет. Не я. Мой разлад с этими стенами протекал по-другому. Другая послушница — вроде тебя.

— Кто?

— В миру она звалась Вероника Гранди.

— Звалась? Она что, умерла?

— О да, давно. Когда я только пришла сюда — послушницей, как и ты, — меня определили на работу в скрипториум. Я нашла эти слова в псалтыре, они были спрятаны в одной картинке. Вместе с именем и датой: тысяча четыреста сорок девятый, за сто лет до меня.

— Что с ней случилось?

— Как твоя рука?

— Ничего не чувствую.

— Тогда можешь вынуть.

Пока вода стекает с ее пальцев, Зуана разглядывает небольшой рубец вздутой красной кожи. Холод уменьшил боль, а когда образуются волдырь, боль пройдет.

— Позже я нашла запись о ней в архиве. Год спустя она приняла постриг под именем сестра Мария Тереза.

— О! Так она осталась. — Голос Серафины потускнел.

— Осталась. А до смерти, которая наступила тридцатью годами позже, она успела девять лет пробыть аббатисой. — Зуана ненадолго умолкает. — Запись в монастырских некрологах сообщает о ее превосходном правлении и смирении и о том, как на смертном одре она с улыбкой на лице пела хвалы Господу. Мне кажется, к тому времени она уже позабыла о том, кто ждал ее у ворот, как ты считаешь?

Зуана наблюдает за девушкой, пока та пытается справиться со своим изумлением и ужасом. Если бы ее кто-нибудь ждал за воротами, сколько времени ей понадобилось бы? Тосковать о покойном отце — еще куда ни шло; самые строгие исповедники и сестры-наставницы не находят в себе смелости наказывать избыток дочернего горя. Но те, кто приходит в монастырь с иными, более подозрительными воспоминаниями, должны держать их в тайне. Не ее дело задавать вопросы. Когда за послушницей закрывается дверь монастыря, ее прошлое остается снаружи. И все же иногда лучше, когда есть кому тебя выслушать.

— Я не могу... — Девушка запинается. — Я хочу сказать, если ты...

Но ее слова прерывает громкий стук в дверь.

— Сестра Зуана! Сестра Зуана!

Вслед за этим появляется прислужница, молодая и полная, на ее лице блестит пот.

— Вы должны пойти, пожалуйста, сейчас. Это сестра Магдалена. Я... По-моему... Я не знаю... Я не могу разбудить ее.

— В чем дело?

— Я не знаю. Я... я шла с бельем по двору, как вдруг услышала голоса в ее келье. Время было рабочее, но я подумала: ну, может, одна из сестер зашла к ней. Они смеялись. — Тут прислужница спотыкается. — Девушки смеялись — голоса были девичьи. И вдруг стало тихо. И тогда... я открыла дверь, и... и там никого не оказалось.

В келье никого не было. Только сестра Магдалена на соломенном матрасе.

Зуана уже протянула руку к горшку с кристаллами камфоры.

— Иду, Летиция, — произносит она и, обернувшись, видит полное любопытства лицо Серафины. — Гхм... На остаток рабочего времени ты свободна. Возвращайся в свою келью и жди вечера.

— Разве мне нельзя пойти с тобой?

— Нет.

— Но... Я же твоя помощница. Так сказала аббатиса. Она сказала, что я должна помогать тебе.

— Вот именно, и теперь ты поможешь мне, если пойдешь в свою келью. Летиция, найди прислужницу присмотреть за этой жидкостью, пока я не вернусь.

— Но ведь я могу это сделать, — воспротивилась Серафина. — Я изучала это снадобье. Я знаю, как и когда добавлять травы.

Все верно, кроме того, что правила запрещают оставлять послушниц в аптеке без присмотра. Здесь слишком много такого, чем можно навредить другим. Или себе.

— Ты рискуешь быть наказанной за непослушание, Серафина. Иди в свою келью. Сейчас же.

И все, чего они достигли за последние несколько часов, перечеркивает ярость во взгляде девушки. Она грубо отталкивает послушницу и выходит, громко хлопнув дверью.

## Глава тринадцатая

Рабочее время еще в полном разгаре, и галереи пусты, когда Зуана спешит через двор. Хор молчит, зато из комнаты вышивальщиц наверху долетают отдельные звонкие голоса, которые то взлетают, то надают. «Наверное, это их смех слышала Летиция», — думает она; звук прихотливо распространяется в зимнем тумане, и, хотя сегодня не так мрачно, все кругом затянуто полупрозрачной серой пеленой.

Дверь в келью сестры Магдалены полуоткрыта, точно та ждет гостей. Входя, Зуана чувствует, как по ее шее вниз сбегает нервные мурашки.

Глаза Зуаны еще не успевают привыкнуть к полумраку (в этой келье даже при свете дня темно), как ее поражает запах. Она была готова к затхлости болезни, даже предательскому запаху смерти, но здесь пахнет иначе: легкий, воздушный аромат накатывает на нее, словно волна; пахнет розами или даже франжипани,<sup>[10]</sup> ароматами лета зимой. Это потрясает ее не меньше, чем то, что она видит на постели.

Тюфяк Магдалены лежит на полу, у дальней стены, рядом стоят кувшин с водой и тарелка, чуть дальше — ведро для экскрементов. В последнее время, докладывает Летиция, из него почти нечего было выносить. Оно и понятно: чем меньше входит внутрь, тем меньше выходит наружу, а сестра Магдалена в своих настойчивых поисках Господа много лет ведет беспощадную войну со своим телом, приучая его выживать практически без пищи.

Магдалена появилась в монастыре на заре столетия, теперь уже нет в живых ни одной монахини, которая помнила бы то время. Однако ее история известна всем, включая Зуану: еще послушницей из очень бедной семьи Магдалена могла неделями питаться одними облатками, и, когда она находилась в таком благословенном состоянии, ее ступни и ладони кровоточили из сострадания к ранам Христовым.

Подобная набожность была тогда в моде, и герцог Эрколь, который любил святых женщин и собирал благочестие, как иные коллекционируют древности или фарфор, разыскал ее в близлежащем городке и поместил в обитель Санта-Катерина, куда он, члены его семейства и придворные нередко наведывались, чтобы послушать ее пророчества, ибо при них она иногда впадала в экстаз.

Говорят, она уже тогда была очень маленькой — и такой легкой, что, по утверждению некоторых, нетрудно было поверить, будто она могла воспарить над землей. Времена были смутные: с севера напали французы, шла война, и каждый город защищался по-своему. Подобные женщины, неграмотные, из низов, — живые святые, как их называли, — искавшие Бога через молитву и собственную добродетель, стали тогда талисманами чистоты в мире всеобщей испорченности. Но стоило Лютеру и его мятежникам за горами раздуть пожар ереси, как подобные наивные поиски спасения сразу начали вызывать подозрения, и после смерти Эрколя герцогские визиты иссякли, а вместе с ними, казалось, прекратились и стигматы Магдалены.

Когда в монастырь пришла Зуана, Магдалену все уже забыли и, по ее собственной просьбе, оставили в келье, откуда та не выходила никогда, а ее репутация отпугивала даже тех, кто разделял ее страсть к Божественному. Длительные посты, один за другим, привели к тому, что у нее не стало сил ходить в часовню, и через много лет монастырские исповедники то ли устали посещать ее в келье, то ли забыли о ней, так что она уже давно жила без гостии. Ее дверь оставалась закрытой, и постепенно даже воспоминания воспоминаний о ней начали стираться. Когда монастырской сестрой-травницей стала Зуана, забота о Магдалене легла на ее плечи, а потому Зуана тщательно следила за тем, чтобы той доставляли пищу, а прислужницы не были бы с ней жестоки. Сделать больше никто не мог. Магдалена сама выбрала для себя жизнь монастырского изгоя, и обитель тихо и безропотно согласилась с ней. Остальное предоставили Господу.

И вот, похоже, Он сказал свое слово.

Тело Магдалены настолько истощено, что Зуана с трудом различает его очертания под одеялом. Чепец свалился с ее головы, седая щетина покрывает череп, как иней мерзлую землю. Но лицо... О, ее лицо дышит жизнью: широко распахнутые глаза сверкают в море морщин, улыбка — открытая, неудержимая — раздвигает губы, как будто она увидела нечто столь прекрасное, что набрала полную грудь воздуха, готовая засмеяться от радости, но смех застрял у нее в горле.

Зуана откупоривает пузырек с камфарными солями и проводит им у Магдалены под носом.

Та продолжает лежать недвижно, без признаков жизни.

В комнате снова становится темно, когда пышнотелая Летиция загораживает дверь.

— Ох Господи Иисусе! Никак прибрал ее, а?

— Ты так ее нашла?

— Да-да. Ах, слышали бы вы смех.

— Отойди от двери. Мне нужен свет.

Правая рука старой монахини так крепко сжимает распятие, что костяшки ее пальцев стали белыми. Зуана нашаривает под одеялом левую руку, лежащую вдоль бока и холодную на ощупь. Вытащив ее на свет, Зуана видит, что кожа на руке прозрачная, вся в синяках, а вены надулись, как жилы на коровьем брюхе. В поисках пульса сестра-травница ощупывает внутреннюю сторону запястья.

— О Господи Иисусе, приברי ее душу, Господи Иисусе, приברי ее душу! — Молитвенные стенания Летиции наполняют комнату за ее спиной.

Пальцы Зуаны ощущают удар, слабый, как трепет крыльев бабочки. Потом еще один. Пульс хотя и медленный, но есть. Она просовывает под шею старухи ладонь, чтобы приподнять ее, и натывается пальцами на позвонки, которые торчат, словно стоячие могильные плиты на кладбище. Но окостеневшее тело не хочет двигаться. Ригор мортис при наличии пульса? Зуана снова заглядывает в глаза, широко раскрытые, яркие, не мигающие, не тусклые, не подернутые пленкой. Мертвая с живыми глазами? Зуана касается щекой ее ноздрей. Вблизи ей кажется, будто странный запах исходит изо рта. И тут же щекой чувствует тепло — выдох едва заметный, но перепутать с чем-нибудь его невозможно.

— Господи Иисусе, упокой ее душу.

В комнате снова потемнело.

— Отойди, говорю тебе. Мне нужен свет.

— Что с ней? — Но это голос Серафины, осипший от страха.

— Она умерла?

— А ты что тут делаешь? — Зуана не сводит глаз с лица старой женщины.

— Я... я услышала чьи-то шаги. И смех. Мне... мне стало страшно одной в келье.

Может, это и правда, но в ее устах она звучит как ложь. Ее накажут, если Зуана решит донести о неповиновении Серафины,

однако теперь нет времени думать об этом. В глубине души Зуана уверена, что и сама поступила бы так же; острое любопытство победило бы пресную осторожность.

Свет возвращается, когда девушка подходит ближе.

— А-ах... какой запах... Что это? Смерть? Она мертвая?

Зуана берет стоящий рядом с кроватью кувшин, поднимает его повыше и тонкой струйкой льет воду на лицо лежащей. Ничего.

Правда, на этот раз выдох сопровождается едва различимым «а-а-ах».

— Нет-нет, она не мертвая.

— А что же тогда? — В этой тихой комнате шепот Серафины еле слышен. — Что с ней?

— Я думаю, это экстаз.

— О! О, я так и знала, — испускает новый стон прислужница. — Слышали бы вы смех. Как будто сама Богоматерь со всеми святыми и ангелами спустились с небес, чтобы побыть с ней.

— Довольно, Летиция, — резко прерывает ее Зуана. — Ступай и приведи аббатису. Скажи, что она нужна мне здесь и сейчас.

В тишине, наступившей после ухода Летиции, Зуана чувствует, как волнуется Серафина у нее за спиной. Быть может, и в непослушании есть свой смысл. Даже самая непокорная послушница не останется равнодушной, видя пламя такого накала.

— Подойди, — говорит она, оборачиваясь к девушке. — Раз уж ты здесь, так смотри собственными глазами. Бояться тут нечего.

— Я не боюсь, — смело отвечает та.

Зуана двигается, освобождая ей место подле тюфяка. И разумеется, едва увидев лицо старухи, Серафина уже не может оторвать от него глаз.

— О-о, у нее вид такой... такой счастливый. И этот запах...

— Такое иногда случается. Это запах цветов, но не только.

— А откуда ты знаешь, что она не мертвая?

— Вот, пощупай. Не бойся — она ничего не чувствует. Внутри запястья, там, где большая вена... Нащупала? Потрогай, как бьется. Попробуй еще раз. Нашла? Видишь, как редко. А у той сестры, которая лежала с горячкой, пульс был частый-частый.

— Но разве это не значит, что она умирает?

— Нет. Если все будет, как в прошлый раз, то она может лежать так часами.

— В прошлый раз? Так ты такое уже видела?

Когда же это было? Семь, восемь лет назад? Может, больше. Летом. Жара стояла, как в аду. Сестра Магдалена лежала тогда на тюфяке, вытянувшись и согнув перед собой руки, точно держала младенца, а ее голова была запрокинута, словно она обессилела от радости.

Разумеется, Зуана и раньше о таком слышала — а кто не слышал? — но своими глазами видела тогда в первый раз. Тогдашняя аббатиса велела ей, как недавно назначенной сестре-травнице, оставаться с ней до тех пор, пока паралич не пройдет, и Зуана сидела в келье, наблюдая. Хотя наблюдать было особенно нечего, разве только считать мух, которые садились на лицо, норовя залезть в глаза или даже в рот лежавшей в беспамятстве женщине. Сколько так продолжалось? Час или меньше? Однако для старой монахини это был долгий путь. Ее уход из мира был таким полным, что, вернувшись, она не могла понять, где находится; не помнила ни времени, ни места, ни дня недели. Но ее восхищение тем местом, где она была, и горе оттого, что она его покинула, было больно видеть. Когда в теле живет такой дух, разве ему нужна какая-нибудь пища?

Рядом с ней Серафина протягивает руку к широко раскрытым глазам старухи, но нерешительно останавливается.

— Не волнуйся. Она тебя не видит. И не слышит. Ты могла бы сейчас хоть иголку в нее воткнуть, она и не почувствовала бы. Ее здесь нет.

— А где же она?

— Не знаю. Правда, я думаю, что сейчас она там, где ее душа столь же сильна, как и тело. И она может из тела перейти на время в душу. Чтобы оказаться рядом с Богом.

— Рядом с Богом!

С Богом. Хотя вряд ли она понимает, что это значит.

С другой стороны, кто это понимает? С Богом... Когда Зуана только поступила в монастырь, тогдашняя сестра-наставница, добрая, но бледная копия Юмилианы, обычно говорила о пути к Нему как о тропе, которая уготована всем им, словно послушание и молитвы



обеспечивают любовь Господа так же верно, как ежедневная порция фиг — регулярный стул.

Однако этого так и не случилось. Ни с ней и, казалось, ни с кем из ее окружения. О, конечно, были среди них такие, которые с годами сделались проще и мягче душой, и даже такие, которые, придя в монастырь, фыркали на всех, точно злые кошки, но постепенно превратились в агнцев, хотя и не слишком резвых. Были те, кто безропотно переносил страдания, и те, кто от перевозбуждения падал в обмороки во время ночных служб. Однако такие моменты вознесения, откуда бы они ни являлись, проходили так же скоро, как и приходили, и — по крайней мере, так казалось Зуане — всегда имели оттенок скорее искусственно вызванного, нежели естественного превосходства.

Когда некоторое время спустя она оставила попытки, то ей стало легче. Книги и работа создавали собственный ритм, временами даже позволяя ей забыться. Но любопытство не отступало: что это значит, быть настолько поглощенной радостью, чтобы перестать даже двигаться... Зуана бросает взгляд на Серафину, глядящую в лицо старой женщине, и знает, что и та задается сейчас тем же вопросом. Может быть, это и опасно, но лучше бы сестра Юмилиана говорила со своими послушницами об экстазах, чем о гниении и порче. Тогда ее слова наверняка глубже запали бы в мятежные юные сердца.

— Что здесь произошло? — Голос стоящей в дверях мадонны Чиары чист и спокоен. — Она опять в экстазе?

— Похоже, что так.

Аббатиса негромко вздыхает, словно перед ней еще одно невесть откуда взявшееся дело, с которым придется справиться в течение дня.

— Давно?

— Не знаю. Прислужница сказала, что слышала голоса, но, когда она вошла, в келье никого не было.

— Кто это с тобой? — спрашивает аббатиса резким голосом.

Серафина вздрагивает, слегка поворачивает голову.

— Что здесь делает послушница?

— Я... я попросила ее помочь. — Позже Зуана вспомнит, что не собиралась ничего такого говорить, слова сами сорвались с ее губ.

— Ей здесь не место. Отправляйся в свою келью, молодая женщина.

Серафина немедленно начинает двигаться.

— Ах! — Вдруг она останавливается. — Я... не могу... Я не могу освободить руку. Она держит меня так крепко.

И правда. Теперь Зуана и сама видит. Раньше девушка держала запястье Магдалены, пытаясь нащупать пульс, а теперь рука старой монахини извернулась и схватила ее худыми, похожими на когти пальцами, сдавив юную плоть, особенно в том месте, где на недавнем ожоге начал подниматься волдырь.

— А-а-а-а!

Боль и страх Серафины очевидны, и аббатиса направляется через келью к ней. Но стоило ей сделать шаг, как фигура на постели ожила. Все вдруг стало происходить очень быстро; даже запах в келье изменился, как будто внезапно прокис, когда лицо старой монахини вновь обрело подвижность.

— Ха-ха-а-ха-ха... — Смех, так долго удерживавшийся внутри ее, вытекает наружу, высокий и звонкий, полный радости и изумления, слишком юный для такого старого, высохшего тела.

Зуана пытается ее успокоить.

— Все хорошо. Вам ничто не угрожает. Вы здесь, с нами, сестра Магдалена.

Но ее слова тонут во внезапном раскатистом стоне. С неожиданной силой старуха пытается подняться, но рука Серафины, которую она все еще сжимает в своей, мешает ей сесть. Зуана инстинктивно подхватывает и держит старуху, пока та, легкая, как высохшая палка, не усаживается прямо. Она часто моргает в полутьме глазами, как будто пытаясь прогнать попавшую соринку, а ее рот открывается и закрывается, как у рыбы, шлепая сухими губами. Зуана осторожно подносит к ним кувшин, и женщина медленно делает глоток, закашливается, хватая ртом воздух, потом отпивает снова. Вода бежит по ее подбородку, как слюна. Рядом с ней тихонько поскуливает Серафина, но от страха или от боли, вызванной усилением хватки, непонятно.

— Сестра Магдалена, вы меня слышите? — Голос аббатисы гулок и силен, как удар монастырского колокола. — Вы знаете, где вы?

Старуха поднимает голову, словно желая увидеть лицо говорящей, но ее взгляд так и не доходит до Чиары. Потому что теперь она видит Серафину.

— О-о-о, дорогая моя, это ты. — Теперь это голос древней, еле живой старухи, но слова слышны ясно. — О-о, подойди ко мне.

Девушка бросает испуганный взгляд на Зуану, но все же делает шаг вперед. Возможно, ей просто некуда деться, ведь рука Магдалены, этот пучок обтянутых кожей веток, обладает, похоже, значительной силой. Когда Серафина оказывается совсем близко, старуха протягивает другую руку и ласково трогает, почти гладит, щеку девушки.

— О, здравствуй! Здравствуй, дитя. Я слышала, как ты плакала, и знала, что ты придешь. Ты не должна печалиться. Он здесь. Он давно ждет тебя.

Серафина снова смотрит на Зуану, в ее глазах ужас. Но не только: что-то похожее на удивление. А как же иначе? Зуана едва заметно кивает головой. Девушка поворачивается к старой монахини. По ее изуродованному временем лицу расплывается широкая улыбка.

— О, не бойся — тебе не надо бояться.

— Сестра Магдалена!

— Он сказал, чтобы я передала тебе, что Он здесь и позаботится о тебе, что бы ни случилось.

— Это мадонна Чиара, ваша аббатиса, говорит с вами.

— Он обо всех нас позаботится, — опять смеется она, и нежные, девические звуки жемчужно раскатываются по келье. — Ибо Его любовь... О, Его любовь безгранична...

— Вы меня слышите?

Очевидно, Магдалена не слышит. Она вздыхает, закрывает глаза и наконец ослабляет хватку. Пока Зуана помогает ей улечься, Серафина отводит руку, не сводя взгляда со старухино лица.

Над их головами переглядываются в полутьме Зуана и аббатиса.

Снаружи колокол начинает звонить к вечерне.

## Глава четырнадцатая

Лишь много времени спустя Зуана поняла, какую важную роль сыграл в тот день точный расчет.

Разумеется, в течение дня существовал лишь один подходящий момент, и им была вечеря, служба, когда монахинь хора может слышать — хотя и не видеть — всякий, кому придет в голову заглянуть в открытую для публики церковь. К тому же все знали, что служба в тот вечер будет необычной. В честь дня девственной мученицы к ней были добавлены особые песнопения и молитвы; да и люди, соблюдавшие дни святых — а таких был целый город, — считали праздник святой Агнесы особенно трогательным, и потому набожные купцы и представители придворных семейств с дочерьми того же возраста, что и святая, могли в этот день проделать целое путешествие специально для того, чтобы испытать благодатное воздействие неземных звуков, которые текли из-за решетки за алтарем.

Даже погода сыграла свою роль, ибо если в течение дня было туманно, то, едва колокол зазвонил к вечерне и сестры двинулись по галереям в часовню, небо чудесным образом очистилось и несколько слабых лучиков солнца пробились сквозь облака.

Да и влияние дневных волнений на сестер тоже сказалось.

В келье Летиция заняла свое место подле тюфяка старухи, а аббатиса, сестра-травница и послушница ждали вместе с ней за закрытой дверью, пока монахини хора пройдут в часовню. Обращенный ко всем троим приказ мадонны Чиары был краток и суров.

— Все, что произошло здесь сегодня днем, касается лишь сестры Магдалены и Господа Бога. Понятно? Всякая, кто дерзнет заговорить об этом с кем-либо, кроме меня, подвергнется строжайшему наказанию.

Но, как аббатиса, вне всякого сомнения, знала, старалась она напрасно. Хотя все в обители были заняты делом, когда это произошло, тем не менее одни заявляли, будто слышали дикий смех, другие — торопливые шаги в коридорах, а одна монахиня, бросив взгляд в высокое окно, уверяла, что заметила открытую дверь кельи.

Однако обнаружится все это, конечно, лишь много времени спустя.

А пока колокольный звон плывет над городом, монахини спешат в часовню, и всеми владеет лишь легкое чувство замешательства, будто рябь пошла по спокойной поверхности воды, но никто не знает, от чего именно. Дверь в часовню закрыта, подготовка к службе началась, и монахини озираются по сторонам, чтобы понять, кого еще, кроме аббатисы, нет на своих местах.

В этот самый миг Зуана и Серафина тихонько проскальзывают внутрь, лица потуплены, очи долу. Когда они входят, у девушки вырывается судорожный вздох, точно она вот-вот заплачет, но ее лица Зуана не видит. Хозяйка хора, сестра Бенедикта, уже сидит сбоку за маленьким органом, где будет играть и дирижировать, и занавес отодвигается, открывая огромную решетчатую стену, сквозь которую проникает мягкое мерцание зажженных в церкви свечей.

Есть обители, в которых монахини поют на хорах, подвешенных над церковным нефом так, что особенно остроглазые из них могут заметить движение или яркое цветное пятно в щели меж досок у них под ногами. С хоров Санта-Катерины происходящего в церкви не видно, зато хорошо слышно: прихожане шаркают ногами, откашливаются, редкий раскатистый мужской кашель прерывает негромкое журчание голосов. В тот вечер монахини замечают, что народ в церкви волнуется больше обычного: Санта-Катерина славится своим хором, в городе еще не перестали праздновать свадьбу д'Эсте, а значит, церковь полна, и многие, придя пораньше, чтобы занять самые удобные места, нетерпеливо ерзают, ожидая начала службы.

Со своего места в конце второго ряда Зуана пытается не спускать глаз с Серафины. Девушка по-прежнему в шоке. Она мертвенно-бледна и, с тех пор как ее руку высвободили из хватки сестры Магдалены, не сказала ни слова. Еще до того, как войти в келью старой монахини, Серафина наверняка испытывала головокружение от голода и недостатка сна, однако теперь ее потеря ориентации особенно очевидна. Стоя неподвижно, как вкопанная, она прямо смотрит на всех и не видит никого. Рядом с ней старая Мария Лючия, та самая, с ядовитым дыханием, сидит, согнувшись над требником, ее подбородок дрожит в предвкушении.

Наконец входит аббатиса и быстро занимает свое место. Кивок Бенедикте, обе встают, все монахини за ними. Шелест их платьев настораживает публику в церкви, и собравшаяся за решеткой паства притихает, готовая внимать музыке.

За исключением нескольких сестер, слишком глупых или — как в случае с сестрой Лукрецией — слишком увечных, чтобы петь, пятьдесят земных ангелов замирают в готовности воздать хвалу Господу, а заодно немного и себе. Крошечная Бенедикта поднимает и тут же кивком опускает голову: это знак, по которому голоса взмывают в воздух, и слова канона, ясные и чистые, немедленно погружают собравшихся в драму мученичества молодой женщины...

Благая Агнеса, в пламени  
Простирает руки и молится...

В следующей за этим секундной паузе, которая служит ей знаком, Евгения, лучшая певчая птичка хора, поднимает голову и набирает воздуха в грудь. Но не успевает она открыть рот, как голос самой Агнесы, полный молодой силы и острый, словно золотое копьё, воспаряет над пламенем костра и устремляется сквозь решетку в церковь.

О, Отец великий. Тебя почитаю, пред Тобою  
склоняюсь. Тебя боюсь...

Все, кто есть на хорах, невольно устремляют взгляд на послушницу. Зуана отмечает, что у нее в животе точно поворачивается что-то; но от удовольствия или неожиданности, она не может сказать. Лицо Серафины по-прежнему бледно, глаза устремлены куда-то вдаль. Но она сама, вернее, ее суть, которую она так долго скрывала ото всех, теперь здесь. Голос вернулся к ней.

Властью Твоего великого сына  
я избежала угроз тирана.  
Презрев телесную грязь,

Я остаюсь неоскверненной.

Господь одинаково любит всех чад своих, а потому считается неправильным выделять одного среди многих, все равно что отдавать предпочтение одной нити перед всем полотном. Цель всей монастырской жизни — искоренить само чувство индивидуального, влить во всех одну душу, которую и поднять до единения с Богом. И нигде обитель не подходит к этому идеалу ближе, чем в церкви, где множество голосов сливаются в один связный, непрерывный звук, воздающий хвалу Господу и Его бесконечной милости.

И все же есть мгновения. И есть голоса... И когда они встречаются, то противостоять им невозможно, и даже нежелательно.

Узри, я иду к Тебе...

Когда первая фраза стихает и готовится следующая, Зуана замечает, как аббатиса одним взглядом словно запечатывает уста Евгении; однако бедная девушка и без того настолько ошарашена, что вряд ли попытается отвоевать свое место. Она закрывает полуоткрытый рот и опускает глаза. Какой бы урок ни усваивала она сейчас, особой силы ему добавляет то, что в этот миг даже ее унижение не имеет значения.

Ты, мой Господь, которого я возлюбила,  
Искала и желала — всегда.

Многие из присутствующих будут говорить об этом позже как о маленьком, но настоящем чуде. По обе стороны решетки будут искать слова, чтобы описать звук, который они слышали, сравнивая его сначала с богатой сладостью медовых сот или теплым древесным ароматом, а потом, противореча самим себе, с яркой вспышкой кометы, чистотой льда и даже сверкающей прозрачностью небесных тел. Но наибольшую похвалу воздадут ему те, кто будет говорить не о том, как он звучал, а о том, что заставил их пережить.

Старые и набожные вспомнят, как что-то словно вонзилось им в сердце, и трудно стало дышать, и как, несмотря на боль, любовь хлынула из них, точно кровь Христова из-под копья центуриона, или радость Девы Марии, когда слова архангела Гавриила вошли ей в грудь. Юные, напротив, будут знать, что ощутили его в основном животом, вместилищем иной любви, но скажут, что стрела вошла в грудь, и все, и молодые и старые, будут, сами того не замечая, подносить руку к сердцу, вспоминая тот миг. И, устав от тщетных попыток превзойти друг друга в сравнениях, они тихонько сядут, радуясь тому, что их город и впрямь музыкальный рай, и даже сам Господь находит нужным посылать им все новых ангелов, чтобы направлять горожан на путь истинный.

Однако подобное словоблудие немного значит для сестры Бенедикты. Мечтательница в своих сочинениях, как руководитель хора, она ясно видит достоинства голосов, с которыми ей приходится работать. Избыточную сладость она слышала и раньше (и знает, как ею воспользоваться, ведь в монастырском хоре слишком много чистоты не бывает), но вот чего она не предвидела, так это необычайно широко диапазона голоса, исходящего из столь юного тела — столь же девичьего, сколь и женского, — и мастерского владения им. Удивительно, сколько воздуха помещается в ее легких за один вдох. И как она охватывает столько регистров, переходя от одного к другому без усилий, без малейшего признака напряжения или недостатка чистоты тона, возникающих иногда с наступлением месячных. И наконец — и это самое главное, — когда хор доходит до новых сочиненных ею псалмов, каким образом этот уникальный голос различает их и с той же уверенностью переходит от одного к другому, ведь девушка слышала их всего раз или два, да и то через полуприкрытое окно? Поэтому не успевает служба подойти к концу, а Бенедикта уже погружается в сочинение следующей: так захватил ее этот голос, который словно пишет партию для самого себя.

А что тем временем думает обо всем этом сестра Зуана? Зуана, столь же невежественная во всем, что касается вокальной техники, сколь невосприимчивая и к поэтическим преувеличениям? Зуана, которую с детства учили наблюдать и делать выводы, извлекая смысл из того, о чем свидетельствуют ее чувства? Однако беда в том, что теперь ее чувства, похоже, ошибаются. Она видит перед собой



молодую женщину, которая, очевидно, упивается радостью. Она слышит голос, от самых глубин души возносящийся во славу Господа и радостного самопожертвования девственницы, в огне нашедшей мученический конец. Но кто она, эта девушка? Как могло произойти подобное преобразование? Как могла эта волевая, упорная, непокорная, сердитая молодая особа, которую она знает, — сильная, но вряд ли высокодуховная — в одночасье уступить место этому новому существу: поглощенной, растворенной в собственной музыке настолько, что она, кажется, не осознает даже произошедшей с ней перемены.

Но должна же она хоть в какой-то степени понимать, что делает. Что, в сущности, уже сделала.

Служба приближается к своему триумфальному завершению. Даже когда стихает последняя нота — голос Серафины теперь сплетается с остальными, но не теряется среди них, — ни один человек по обе стороны решетки не двигается.

Аббатиса, чей подъем будет знаком для других сделать то же самое, неподвижно сидит. Вокруг нее застыл хор, одни монахини смотрят вниз, как их учили, другие ждут знака, третьи почти открыто глазуют на послушницу, которая стоит, опустив руки и глядя только в пол.

Тишине на хорах вторит тишина в церкви. Ни один звук не доносится через решетку, никто не прочищает горло, не кашляет и не шепчется. Добрые горожане Феррары не могут или не хотят примириться с тем, что все кончено.

И тут тишину пронзает мужской голос, громкий и чистый. Он произносит одно слово:

— Браво!

От неожиданности все вздрагивают, аббатиса вскакивает на ноги, остальные следуют ее примеру.

А что же девушка? Сначала ничего, все так же стоит, уставившись в пол. Но когда все вокруг нее приходит в движение, она поднимает голову и ее глаза на миг встречаются с глазами Зуаны.

Что видит в них старшая из двух женщин? Возбуждение? Удовлетворение? Даже радость? Конечно. Но еще и безошибочно узнаваемый блеск торжества.

Именно на это Зуана обращает особое внимание, ибо, хотя у девушки есть все основания быть довольной тем, что она сделала, она не может не понимать, что тем самым подписала себе приговор. Ведь теперь, что бы ни случилось, она навсегда останется в монастыре.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ



## Глава пятнадцатая

Запахи, доносящиеся из пекарни, почти невыносимы. Эти ароматы, это насилие над чувствами продолжается уже несколько дней, с тех пор как первые противни с имбирным печеньем, а затем с пирожками и свежими хлебами с травами отправились в печь, благоухая дрожжами и сахаром на весь монастырь. Некоторые сестры даже признаются, что исходят слюной, проходя мимо кухни (зимняя еда стала скудной и однообразной), но их признания только обостряют чувство того же греха в других, и раздражительность становится самым распространенным нарушением правил. Однако скоро им всем дадут отведать результатов труда поварих.

В кухнях сестра Федерика, освобожденная от самых утомительных дневных служб, во главе отряда монахинь и послушниц сражается с мешками муки, грудями яиц и горами пряностей, готовя из них столько лакомств, чтобы хватило на целую армию посетителей. Свертки с гостинцами относят к привратницкой через день, а отвечающая за провизию старшая прислужница сбилась с ног, мечась между кухней и речными складами, куда доставляют посылки и припасы. Как раз утром привезли два бочонка вина от нового покровителя. Один предстоит открыть и разлить по бутылкам, другой — сохранить на будущее. Аббатиса разрешила воспользоваться стаканами из личных запасов сестры Избеты. Эта монахиня из знатной семьи отличается страстью не только к маленьким собачкам, но и к стеклянным изделиям из Мурано, которых она привезла в монастырь целый сундук. На собрании, как и каждый год, поспорили о том, не является ли подобного рода роскошь хвастовством и даже тщеславием, однако проголосовали — хотя и не так гладко, как в прошлом году, — в пользу требований гостеприимства. Чтобы утешить сестру-наставницу и ее сторонниц, решено подавать стеклянные стаканы только покровителям и самым важным гостям, и если часть их побьется, монастырь за них ответственности не несет.

Скоро позолоченные фужеры займут свое место рядом с полными кувшинами вина на покрытых скатертями козлах вдоль стены парлаторио. Само помещение преобразилось: в один угол поставили принесенный из музыкальной комнаты небольшой орган и два стула с

высокими спинками для лютнистки и арфистки, а рядом освободили место для хора. На специальных подставках приготовили свечи (из чистого пчелиного воска, взяты из запасов), потолок убрали ветками вечнозеленых растений с яркими зимними ягодами, вплетенными в гирлянды из трав, повсюду развесили металлические емкости с фумигантами, которые в ожидании огня уже наполняют воздух ароматом. Комната стала так похожа на настоящий домашний салон, что сестры, недавно вступившие в монастырь и еще не забывшие, как отмечали этот праздник дома, изумленно замирают на пороге, охваченные воспоминаниями.

В трапезной один конец отгородили, чтобы возвести в нем сцену, на которой избранной женской аудитории представят пьесу о мученичестве святой Екатерины Александрийской, а соседнюю кладовую открыли и сложили в ней декорации и костюмы. Часть из них монахини сшили сами, но самые сложные — дублеты и чулки для императорских придворных, сапоги и мечи для солдат, а также колесо, которое должно производить впечатление целого до того самого момента, когда Божественное вмешательство разобьет его, не дав привязать к нему святую, — родственники некоторых монахинь принесут извне. Теперь в часы отдыха нередко можно видеть, как занятые в пьесе сестры и послушницы энергично меряют шагами сад или пространство вокруг галерей, повторяя свои слова с другими или в одиночку. Святую Екатерину будет играть сестра Персеверанца, чья привычка к умерщвлению плоти несколько не мешает ей получать удовольствие от участия в представлениях, в которые она, по общему признанию, вносит немало утонченного правдоподобия. В последние годы созданные ею образы многих блестящих святых исторгали потоки слез — и подарков — у видевших их дам-покровительниц.

После долгой и холодной зимы в городе немного потеплело, но недостаточно для того, чтобы разогнать туманы. Перемена наступила слишком поздно для пальцев Зуаны, которые успели загубеть за те утра, что она провела в своем огороде, устанавливая колпаки из дерюги над самыми уязвимыми из своих питомцев. А поскольку гирлянды из трав и веток, изготовление фумигантов и украшений — ее ответственность, то ей тоже выделили помощь, хотя и не в таком объеме, к которому она привыкла за последние несколько месяцев.

Когда все наконец готово, монахини Санта-Катерины могут оглянуться и порадоваться сделанному, не в последнюю очередь потому, что прожитые недели были во многом трудны и наполнены событиями, которые стали поводом для печали и волнений, а не только для праздников. Событиями, которые на Зуану повлияли больше, чем на кого-либо другого.

Все началось через несколько дней после праздника святой Агнесы, когда молодую сестру Имберзагу, чье кровотечение Зуана так и не смогла остановить, взял наконец Господь. Слабеть сестра Имберзага начала уже давно и вот однажды, во время вечера, потеряла сознание.

В тот же вечер по завершении последней службы отец Ромеро совершил над ней срочный обряд помазания (настоящий подвиг, учитывая его любовь ко сну), а перед заутреней, когда в монастыре все спали, она скончалась на руках у сестры Юмилианы.

Когда Зуана пришла сменить сестру, чтобы дать ей поспать немного перед службой, то нашла ее коленопреклоненной рядом с телом, ее ладони были молитвенно сложены, а по щекам струились слезы радости. Не нуждаясь в словах, запрещенных до рассвета, обе женщины встали рядом на колени и молились, не смыкая глаз, пока колокол не позвал их к заутрене. Глубина благочестия сестры-наставницы изумила Зуану; более верного спутника своих последних часов на земле не могла бы желать ни одна монахиня.

На следующее утро тело покойной обмыли, одели в чистое и, после того как остальные обитательницы монастыря простились со своей сестрой, похоронили в простом деревянном гробу на маленьком кладбище за садом. По ней отслужили мессу, которой ощущение Божественной благодати придавал скорее голос Серафины, нежели бормотание отца Ромеро, а в ее некрологе, составленном аббатисой и внесенном в поминальные списки монастыря безупречным почерком сестры Сколастики (чье драматическое сочинение уже учили наизусть с полдюжины увлеченных актрис), говорилось о ее целомудрии, покорности, смирении и терпении перед лицом страдания.

В этом смысле ее некролог мало чем отличался от прочих, хотя никто не осмелился бы предположить, что он не верен: за свои

двадцать два года сестра Имберзага не так уж много повидала в жизни, чтобы успеть пасть жертвой соблазна.

Однако Зуана в своих записях проявила не так много милосердия, по крайней мере к себе, и перечислила все средства, которые не помогли, и те, которые следует испытать, когда и если подобные симптомы повторятся у других. Быть может, будь у нее больше времени... но его не было. Зуана думает о том, что, может быть, зря так сосредоточилась на матке и что локализация болей могла указывать на опухоль в мочевом пузыре или в кишечнике, ибо недавно — слишком поздно — ей попался отчет о проведенном в Болонье вскрытии, где рассматривался как раз такой случай. Но ее ограниченный медицинский опыт свидетельствует о том, что подобные опухоли обычно бывают не у молодых, а у старых, да и вообще, в чем была причина, ей уже не узнать, ибо тайна умерла и похоронена вместе с больной. В отличие от Юмилианы, воспоминание об экзальтации которой до сих пор жжет ее, точно кипятком, Зуана живет с чувством постоянного, почти болезненного беспокойства и даже назначает себе в виде покаяния несколько лишних молитв в надежде искупить вину.

Однако не проходит и нескольких дней, как ее постигает новое наказание в виде проникшей в монастырь мощной инфекции, которая вызывает настоящую эпидемию кашля и насморка, сопровождаемых жаром и рвотой. Зараза распространяется, как наводнение: за шесть дней она свалила шестерых монахинь хора и одну прислужницу. Хотя зимой подобные болезни не редкость, сила этой поражает даже Зуану, и во избежание распространения инфекции она велит всем заболевшим сидеть по своим кельям, где, пока продолжаются поиски лекарства, их навещают лишь она сама да прислужница-сиделка. Вместе они накладывают больным на лбы повязки, смоченные в уксусной воде с мятой, для снижения температуры и дают тонизирующее из вина с добавлением амброзии полыннолистной и мяты болотной для очищения желудка. Когда первые страдалницы уже начинают вставать, еще три сестры и одна послушница становятся жертвой эпидемии, а одна прислужница жалуется на головные боли и приступы лихорадки.

Зуана, которая уже несколько ночей почти не спит, просит о встрече с аббатисой, чтобы та назначила ей кого-нибудь в помощь. Или

хотя бы вернула ей ту помощницу, которая у нее была.



## Глава шестнадцатая

Иногда ночами в келье ей приходится сдерживать себя, чтобы не затанцевать. Он здесь... Он пришел... Они найдут выход.

Хотя листки со стихами ей так и не вернули, она знает их наизусть — как и его музыку на них — и, кружась под воображаемые звуки, чувствует шелест мягких нижних юбок под грубой саржей и шелк собственных волос, вымытых, причесанных, скользящих по плечам под свободно повязанным шарфом. Теперь, когда ее сундук распакован, каменный пол стал мягче, и в келье появились иные цвета, кроме серого: шерстяной ковер на полу, золотые нити скатерти, сверкание серебряных подсвечников, синее с алым одеяние Мадонны и ангельски-розовая плоть младенца на ее коленях на маленькой деревянной картинке над столиком во второй комнате. Хотя места здесь мало и днем почти так же темно, как и ночью, при свечах комната кажется почти приветливой. Пока не вспомнишь о стенах и запертых дверях вокруг.

Но о них она больше не думает. И жадничать, если ей повезет, тоже не будет. Когда она уйдет отсюда, то оставит все следующей монахине; куда более приятное наследство, чем рвота и смерть.

За многие из новых удобств ей следует благодарить свою прислужницу. На второй день после праздника святой Агнесы злюку Августину сменила Кандида, крепкая молодая женщина, знающая, как обойти многие монастырские ограничения, и умеющая за небольшую сумму (или равноценный подарок в виде одежды или безделушки) сделать жизнь послушницы не столь мрачной. Кандида может достать свечей, особого мыла и даже остатки вкусенького с кухни, из которых, правда, берет себе часть. Но лучший дар Кандиды — это ее руки, не такие мягкие и нежные, как у дамы, — избыток черной работы сделал свое дело, — зато обладающие нежнейшим прикосновением. Когда в личное время перед последней службой, закончив расчесывать волосы Серафины, она иногда притворяется, будто укладывает ей локоны, то каждое прикосновение ее пальцев к плечам Серафины посылает каскады мельчайших мурашек по спине девушки. Когда это случается впервые, внизу живота Серафины словно начинает тлеть огонек, напоминая ей не только об игривых

руках сестры, но и о других, более смелых ласках, о которых она мечтала. Следующим вечером, когда Кандида стоит за ее спиной, будто бы ожидая приказаний, Серафине вдруг приходят на ум страшные сестры-близнецы, которых часто видят рука об руку и о которых поговаривают, что они дополняют недостатки друг друга самым необычайным образом. Послушница, рассказавшая ей об этом, улыбалась как-то странно, и теперь, глядя на Кандиду, Серафина замечает ту же полуулыбку на ее лице, и ей становится неловко. Какое бы удовольствие ей ни предлагали, оно, вне всякого сомнения, имеет свою цену; а Серафине сейчас и без того есть на что потратить свои безделушки.

То, чего она на самом деле хочет от нее, неисполнимо, ибо и у продажности есть свои пределы, а влияние Кандиды, похоже, не распространяется на ту сторону ворот. Она не может, к примеру, тайно, под грудой белья, доставить в монастырь обезумевшего от любви молодого человека, как об этом пишут в романах, ни даже вынести письмо так, чтобы о нем не узнали монахини-цензоры, которые просматривают и накладывают свое вето на любую переписку, идет ли она наружу или внутрь. Обо всем этом Серафина узнала случайно, обмениваясь монастырскими сплетнями с другими послушницами, поскольку у нее нет другого способа проверить, что она приобрела за плату, перешедшую из ее рук в руки Кандиды, — преданность или только услуги. Однако среди пустой болтовни нет-нет да и промелькнут крохи полезной информации, которые Серафина припрятывает, чтобы как следует обдумать после, например о том, где находится келья главной прислужницы (должность позволяет ей иметь отдельную келью, а не ночевать в одной комнате с прислугой), о времени, когда та работает, и, самое главное, о том, что у нее есть свои ключи от речных складов, с которыми она почти не расстаётся.

И хотя тонкий ручеек волнения продолжает течь в ее душе так быстро, что порой почти превращается в поток страха, Серафина держит его под спудом, питаясь его энергией. Когда в часы рекреации она гуляет с другими послушницами в саду, стены не кажутся ей ниже, чем были, но ей уже не хочется выть и бросаться на них, как вначале. Вместо этого она, не тратя времени даром, выучивает кратчайший путь от своей кельи до того места у стены, откуда она бросила первый камень. Зная, что он нашел его, она ходит туда и обратно между

появлениями ночной сестры, рассыпая по дороге мелкие белые камешки из-под подола платья в надежде, что они облегчат ей поиск обратного пути.

Она все еще дрожит, вспоминая, как в ту первую ночь заблудилась, не попала вовремя в галерею и ее застигла ночная сестра. Снаружи было темно, как в преисподней, кто-то шуршал и возился в кустах, и, споткнувшись о древесный корень, она сперва подумала, что кто-то ухватил ее за ногу, и, рванувшись, растянулась в густой грязи. В следующие два дня, сидя в своей келье, как в клетке, она задыхалась от ее вони и запаха собственного пота. И все же она рисковала снова и снова ради того, чтобы услышать птичью трель и его танцующий голос. Господь милосердный, ей тогда показалось, что она умрет от чувства, которое в ней вызвали эти звуки, от бурной радости, которая взорвалась у нее внутри. Когда ее выпустили, она умирала от страха, а вдруг он не нашел письмо, которое она швырнула ему наугад в темноту, или ему надоело ждать. Но если она не слышит его больше, так пусть он ее услышит.

Узри, я иду к тебе, к тебе,  
Которого всегда любила.

И тут сквозь решетку донеслось одно-единственное слово, эхом отозвавшееся по всей церкви: «Браво!»

Сколько усилий стоило ей тогда удержаться и не крикнуть ему в ответ:

— Ты пришел! О, ты пришел! Вместе мы найдем выход...  
Но она лишь склонила голову — и стала монахиней.

О, они, наверное, так гордятся ею и тем, чего, как им кажется, они достигли. Она сама гордится собой. Преображение сказывается во всем: и в том, как она ходит, опустив глаза долу, точно Бога можно отыскать в каждой каменной плите под ногами, или в том, как она сидит за столом в трапезной, скромная, точно молодая мадонна. Но лучше всего она ведет себя в церкви, ибо это представление может открыть целый мир, если только знать, как извлечь из него удовольствие: сначала упасть на пол перед распятием, потянуться всем

телом, ощутить холод камня сквозь теплую ткань, потом сесть на скамью и сидеть так прямо, чтобы чувствовать спиной каждый деревянный клинышек на панно сзади. А еще можно рассматривать фрески на стенах, по-разному освещенные солнцем в разные часы: изображения Христа, Бога и человека; вот Он переносит детишек через вздувшийся ручей, вот помогает душам выбраться из могил и даже поднимается по лестнице на собственный крест. Все это окружало ее и раньше, просто она была слишком зла или обижена, чтобы видеть. Теперь эти образы помогают ей успокоиться, ведь она не может хорошо петь, когда ее голова занята чем-то другим, а пение покупает ей свободу.

Они все еще удивляются. Это видно по взглядам, которые бросают на нее украдкой все, даже сестра Евгения, которую она сместила и чья злоба и зависть поднимаются над ней, словно дым. Она бы ее пожалела — ведь она знает, каково это, когда все кипит внутри, — да времени нет. Ну ничего, скоро она опять вернется на свое место.

А еще там есть решетка — стена из переплетенных металлических прутьев, отделяющая их от мира; близко, а не достанешь. Мысль о возможностях, которые она открывает, занимала ее не однажды; как-то раз она даже пошла в часовню во время часа самостоятельных молитв в тщетной надежде, что он почувствует то, что у нее на уме, и будет ждать ее там, снаружи... и тогда их пальцы сплетутся, подобно мыслям, сквозь кружево металла. Она даже спела несколько нот, чтобы дать ему знак, но в пустой часовне звук показался ей таким гулким и страшным, что она испугалась, как бы кто-нибудь не донес на нее и ее не посадили бы снова под замок. А этого она не могла вынести.

Нет, никаких наказаний больше не будет. Теперь она хорошая девочка, насколько раньше была дурной, настолько теперь стала хорошей; послушной, скромной, милой. Но конечно, они по-прежнему осуждают ее, даже когда притворяются, что нет. И хуже всех сестра Юмилиана: «Ничто не укроется от Его божественного величия. Его взор прожигает дерево, крошит камень, плавит железо». Даже когда, как иногда бывает, удовольствие от пения в церкви заставляет ее забыть обо всем, включая собственное притворство, приходя в себя,

она ловит взгляд Юмилианы, пронзающий ее насквозь. «Как же просто тогда Ему увидеть сквозь плоть человеческую его душу?»

А вот хормейстерша все знает, точнее, слышит, ибо это знание, которое доступно уху, а не глазу; это ощущение покоя в центре собственного «я», островок тишины в окружении сильнейшей бури. Если бы ее попросили описать это, она сказала бы, что тебя как будто нет; но не так, как во время экстаза. О нет, совсем не так. Не как та похожая на труп старуха у себя в келье. Совсем не так...

Серафина старается не вспоминать о том дне, ведь тогда у нее внутри словно становится пусто от страха, а рука начинает болеть там, где старуха впиалась в нее своими когтями, так что даже кровь выступила, и ей пришлось потихоньку вытирать ее о платье в церкви, боясь, как бы кто не увидел и не решил, что это она сама сделала. Вообще-то раны зажили на удивление быстро, почти так же быстро, как появились. Но иногда, ночами, когда волнение внутри не утихает и не дает ей спать, она готова поклясться, что слышит голос старой сумасшедшей монахини, доносящийся к ней сквозь стены, говорящий с ней, окликающий ее по имени. «Серафина, Серафина? Ты здесь? Я знала, что ты придешь. Он здесь. Он ждет тебя». И тогда она снова видит глаза Магдалены, глубокие, изумленные, и чувствует, как что-то тает, размягчается в ней самой. Это вызывает у Серафины такой ужас, что она затыкает себе уши пальцами, чтобы не слышать этой песни, которая, как сирены, манит ее к скалам. И хотя Магдалена стара, как ведьма, и полумертвая к тому же, но в ее морщинистом лице столько напряжения и страсти — да-да, страсти, — сколько нет у всех остальных, вместе взятых.

Ей хотелось бы больше узнать о старухе, понять, что произошло в той келье, но приказ аббатисы молчать — закон, которому она должна теперь подчиняться. Даже сестра Зуана ничего ей не скажет. Может быть, если бы они по-прежнему работали вместе... Но с этим тоже все кончено. Ее голос чересчур драгоценен, чтобы подвергать его риску от едких запахов аптеки или заразы, исходящей от плоти, особенно теперь, когда инфлюэнца свирепствует в хоре. Сестра Зуана так устает, что едва не засыпает над тарелкой с едой. Серафина представляет себе, как та сидит, склонившись при свете свечи над хрупкими страницами, слова и рисунки расплываются перед ее закрывающимися глазами, пока она ищет то самое снадобье, которое поможет вернуть здоровье.

Иногда Серафина вспоминает комнату сестры-травницы, и девушке порой не хватает той особой странности, присущей только этой комнате: холода, огня, книг, запахов, вкуса одуванчикового чая, пряного жара имбирного шарика, а больше всего этой невероятной женщины с широким лицом, узловатыми пальцами, пылающей страстью к каждому неуклюжему горшочку и в то же время такой счастливой, как будто в каждом из них живет сам Господь Бог, а не лежат вороны яйца или вареные корни. Определенно, Зуана сумасшедшая, но такая чудная, даже уютная.

И все же лучше без них обойтись. У нее нет здесь друзей, как бы они ни притворялись, зато ловушки расставлены повсюду. Видит Бог, временами заботу сестры Зуаны выносить было тяжелее, чем жестокость остальных, а она, хоть в чем-то и сумасшедшая, в целом далеко не дура. Взять, к примеру, случай, когда она говорила о власти ночных птичьих трелей... Что, если она слышала не только песню? Что, если она знает больше, чем признается? Да еще тот стих старой монахини про запертые двери и голос возлюбленного на улице. А вдруг она нарочно его выбрала или даже сама сочинила, чтобы выудить из нее правду? Еще до наказания лгать ей стало пыткой; она помнит моменты, когда слова сами лезли из нее, как рвота, и ей приходилось изо всех сил сжимать губы, чтобы сдержаться и не выдать себя. Что было бы, загляни сейчас Зуана в ее душу и пойми, что скрывается за ее возбуждением, как раньше начала понимать, что прячет ее боль?

Нет. Лучше им быть порознь. Когда все в монастыре проснутся и обнаружат, что ее нет — как оно однажды и будет, — она не хочет, чтобы вина пала на ту единственную, которая была к ней добра, которая, сама того не подозревая, уже снабдила ее почти всем, что нужно для побега.

Приподняв матрас, Серафина скользит рукой по его изнанке, пока не находит прореху. Просунув в нее руку, глубоко в соломе она нащупывает комочек ткани. Осторожно вытаскивает его наружу. Шелк нижней юбки потемнел и стал маслянистым от жира. Она разворачивает его, и в ее руках оказывается грубо вылепленная подушечка из похожей на воск мази, которую она зачерпнула из кастрюли, когда субстанция уже достаточно остыла, чтобы ее можно было трогать, но еще не затвердела, и спрятала ее под платьем. В то

утро в церкви от нее так несло тошнотворным свиным жиром, что она боялась, как бы кто-нибудь не догадался, и держалась ближе к беззубой старой карге с вонючим дыханием, чтобы за ее запахом спрятать свой. Слава Богу, у нее теперь другое место в церкви, а запах свинины выветрился, когда мазь затвердела.

При свете свечи она кладет подушечку на стол и глубоко погружает в нее ноготь указательного пальца. Поверхность податлива, и на ней остается след. Убрав палец, она видит, что ноготь отпечатался до малейших деталей, вплоть до маленькой складки кожи вокруг. Она энергично трет поверхность, чтобы снова сделать ее гладкой. Затем вытаскивает из-под своей сорочки серебряный медальон с изображением Девы Марии, который носит на цепочке вокруг шеи. Она снимает его и припечатывает лицевой стороной к мази, с силой прижимает, стараясь давить одинаково со всех сторон. Освободив медальон, при свете свечи она разглядывает его точную копию, каждая линия и каждый изгиб которой полностью отвечают оригиналу.

Спасибо Господу за гнойники епископа и за безумную связь норичника со свиным салом. Он и впрямь от всего помогает.

Он пришел. Он ждет ее. А способ они найдут...

## Глава семнадцатая

Когда в тот день Зуана встречается с аббатисой в ее покоях, они впервые со дня экстаза сестры Магдалены остаются одни.

В келье старой монахини молитва и сон снова сменяют друг друга, как заведено, и о ней никто не вспоминает. Несмотря на всеобщее волнение вначале, слухи о возможном вознесении не подтвердились фактами, а потом драматические события вечери и смерть сестры Имберзаги затмили случившееся, чему немало способствовала и сама аббатиса. Старуху по-прежнему кормит и поит Летиция, она же докладывает Зуане, что та, хотя и слабеет, иногда закрывает глаза и раскачивается туда и сюда, исполненная тихой радости, после чего часто спрашивает о молоденькой послушнице и о том, как у нее дела. Однако, посещая ее, когда удастся выкроить время, Зуана ничего такого не замечает. Магдалена молча лежит на своем тюфяке с полусонным видом, как будто только наполовину здесь. Ее плоть теперь не толще бумаги, так что Зуана избегает касаться ее из страха, как бы она не прилипла к ее рукам. Если бы она могла решать, то приказала бы перенести ее в лазарет, ибо душа, столь близкая к смерти, заслуживает большего внимания. А еще ей интересно, сколько слов будет в ее некрологе, когда сестра Сколастика внесет его в монастырский поминальный список, и какие это будут слова.

Аббатиса приветствует Зуану, похоже, она рада ее видеть. От недавних легких кудряшек не осталось и следа, волосы зачесаны под повязку, однако это ни о чем не говорит: в последнее время у нее было немало высоких гостей, а она всегда заботливо следит за тем, чтобы отвечать самым разным вкусам.

— Я рада, что ты пришла. Я беспокоилась, как бы избыток работы не повредил тебе... Мне хотелось поговорить с тобой раньше, но кончина сестры Имберзаги и общение с ее родственниками отняло столько времени, наряду со всем прочим. Ты прекрасно за ней смотрела.

— Я ничего не сделала, только не смогла остановить кровь. Это сестра Юмилиана облегчила ей переход к свету.

— Ты к себе несправедлива. Тебе ведь пришлось еще сдерживать атаки лихорадки. Мы благодарны тебе за все, что ты делаешь.



— Я бы делала больше, если бы мне вернули помощницу.

— Не сомневаюсь. Я первая отослала бы ее к тебе, если бы не растущие требования хозяйки хора.

— Разве много времени нужно, чтобы заучить несколько псалмов? У нее отличная память.

— Ты сегодня так прямолинейна, — мягко говорит аббатиса. — Не хочешь ли присесть? А также немного освежиться вином, быть может? — Она показывает на графин на столе, в котором купаются рубиновые отблески пламени камина. — Из собственных виноградников герцога.

— Нет. Спасибо, — склоняет голову Зуана. — Прошу простить мой смелый язык, мадонна аббатиса. Но меня осаждают проблемы.

— Так я и думала. Уверю тебя, если бы дело было только в карнавале, я бы отправила послушницу к тебе прямо сейчас, ибо ты прекрасно с ней поработала. — Аббатиса наливает себе стакан вина, поднимает и держит, прежде чем поднести его к губам, как будто собирается пить в честь Зуаны. — Но, как ты знаешь, за карнавалом следует Пост, а потом Пасха. Какое-то время церкви будут полны, и сестра Бенедикта строчит ночь за ночью. — Чиара делает паузу, а затем добавляет: — Иногда мне кажется, что Господь предназначил Санта-Катерину — хоть мы и недостойны — для особых дел: сестра Сколастика со своими сочинениями, сестра Бенедикта со страстью к музыке, ты с занятиями медициной.

Тонкий намек — не укрывшийся от внимания Зуаны — на то, что не всякий монастырь пользуется такой свободой. Однако ее слова, при всей кажущейся скромности, полны гордости. Да и может ли быть иначе? После вечера дня святой Агнесы поток гостей в ее покоях не иссякает: родственники идут разделить триумф (всякое достижение монастыря рассматривается как успех находящегося у власти семейства), прибывают дарители от герцогского двора, представители епископа, и даже один богатый отец из Болоньи, приехавший навестить друзей в день святой Агнесы, подыскивает место для своей второй дочери — девицы, чей голос, уверяет он, столь же нежен, сколь и ее нрав. Затем начинают прибывать письма от других аббатис и, что всего важнее, из Рима, от ее брата, секретаря кардинала Луиджи д'Эсте, который делится с ней новейшими церковными сплетнями и поздравляет младшую сестренку с тем, что она так удачно придержала

восхитительную певчую пташку и выбрала превосходное время для ее дебюта. Теперь Санта-Катерина далеко опередила прочие монастыри. С каждой новой вечерей история распространяется все дальше. Ибо в городе, гордящемся своей музыкальной изысканностью, теперь только и говорят, что о чудесном инструменте Божьем, а не о новинке в лице мужика без яиц. Но несмотря на это, мадонна Чиара не должна забывать и о делах, однако немного удовольствия, конечно, не помешает.

— Хотя я глубоко понимаю твои затруднения — и найду, как только сумею, новую прислужницу в помощь твоим больным, — мой первый долг — блюсти интересы всей общины. Я не могу позволить послушнице рисковать заражением или переутомлением на другой работе наряду со всеми добавочными часами, что она проводит в комнате для музыкальных занятий.

— А интересы общины совпадают с интересами самой послушницы?

Зуана не хотела, чтобы это прозвучало как вопрос, однако вопросительные интонации явно слышны обеим. Собственная прямота ее поражает.

— Ах, я и впрямь счастливая аббатиса. Мало, оказывается, того, что за мной присматривает наш великий епископ, так у меня есть еще две совести, которые следят за каждым моим решением. И важные фигуры: сестра-травница и сестра-наставница, — говорит она со смехом, однако ее тон не исключает определенной язвительности. — Думаю, сестра Зуана, тебе лучше сесть. Пожалуйста.

Зуана делает, что ей велят.

Аббатиса наливает второй стакан вина и подает ей.

— Его прислали специально для всех монахинь хора, с наилучшими пожеланиями герцога. Если тебе кажется, что я несправедливо выделяю тебя сейчас, можешь выпить меньше за обедом.

Зуана подносит стакан к губам. Нежный шелковистый вкус скрывает богатое ягодное послевкусие. Странно, думает она, что именно монашеская жизнь научила ее таким тонкостям; ее отец разбирался в винах ровно настолько, чтобы знать, к какому вину какие снадобья примешивать, в качестве независимого источника удовольствия они его не интересовали.

— Итак. Мне интересно, каковы твои причины опасаться за послушницу — те же, что у сестры Юмилианы, или иные. Ты боишься влияния, которое гордыня оказывает на уязвимую молодую душу? Или, может быть, тебе внушает беспокойство то, что ее возросшие обязанности в хоре не оставляют ей времени на молитву и беседы с наставницей? Сестру Юмилиану тревожит и то и другое. Хотя, возможно, вы обе недооцениваете тот урок дисциплины, который происходит от необходимости возвышать свой голос в церкви, вознося хвалу Господу. Как сказал великий святой Августин, «Петь — значит молиться вдвойне».

Конечно, Зуана задумывалась о том, до какой степени ее забота о девушке порождена ее эгоизмом. Ибо она и впрямь тосковала по ее обществу. И гораздо больше, чем ожидала. Больше, чем в состоянии признать сейчас. Но дело не только в этом. Глядя на девушку со стороны, она замечает в ней что-то такое, какую-то почти лихорадочную энергию, с которой та бросается в каждый новый день — сама покорность там, где раньше была лишь непримиримость, — и это наводит Зуану на мысль скорее о болезни, чем о здоровье.

— Меня волнует не столько ее пение, сколько внезапная перемена к лучшему в ее поведении.

— Хмм. То она слишком плоха, то чересчур хороша. Наша сестра-наставница вообще не доверяет мотивам, которые заставили ее петь. Она считает, что таким образом девушка лишь зарабатывает привилегии, а внутри так же сопротивляется любви Господа, как и прежде. Мне уже давно хотелось знать, что ты об этом думаешь.

Вино имеет слабый металлический привкус. Зуана не знает, приятно это или нет. Как много можно ощутить в одном-единственном глотке жидкости. Как мало успевает испытать человек за свою краткую жизнь.

— Я думаю... Я думаю, что, будь дело только в этом, она запела бы раньше. И избавила бы себя от многих неприятностей.

— Так почему же она сделала это именно тогда?

Зуана молчит. В последние недели она и сама немало думает об этом, словно изучает болезнь, причины которой она никак не может понять.

— Позволь мне спросить тебя иначе. Как ты думаешь, твое наставничество могло помочь?

— Я просто учила ее, как делать леденцы и мази, — качает головой Зуана.

— Ах, Зуана, прежде чем безрассудно пенять на сучок гордыни в глазу своей аббатисы, поискала бы лучше бревно ложной скромности у себя в глазу. — И они улыбаются впервые с начала встречи.

Сидя рядом с аббатисой, Зуана отмечает, как натянулась и пожелтела кожа у нее под глазами, обозначились морщины на лбу. Да, победы даются ей не без тревог.

— Ясно, что между вами возникла какая-то связь. Я даже подумала о том, что, может быть, она начала находить что-то общее между ее вхождением в монастырь и твоим.

— Моим! О нет... Я ведь никогда не была столь... образованной. Или столь желанной.

— Нет, но гнева и сопротивления в тебе было не меньше, чем в ней.

— Так вы поэтому ее ко мне послали? — срывается с уст Зуаны вопрос.

— Думаю, ты знаешь почему, — столь же быстро и почти отрывисто отвечает аббатиса. Она нетерпеливо встряхивает головой, словно отрицая намек на доверительность меж ними, заключенный в этом комментарии. — Хорошая монахиня учится не меньше, чем учит.

Зуана опускает глаза и смотрит на свои руки, смиренно лежащие на коленях: правильная поза для монахини хора в присутствии аббатисы. Поведение. Порядок. Иерархия. Сила послушания и смирения. Сколько же раз придется ей усваивать один и тот же урок?

— Я делала все, чтобы показать ей, что жить можно и здесь, что сопротивление... — начинает Зуана, подыскивая слово: «бесполезно» вертится у нее на языке, но оно не подходит, — сопротивление... бесплодно. Но я не ожидала... Я хочу сказать, что в тот день на службе я была так же поражена, как и все остальные. Только... — Она умолкает.

— Только что?

— Ничего. Это тема, которая не подлежит обсуждению.

— А! Мы говорим о сестре Магдалене?

Зуана кивает. Хотя она ничего не понимает, однако мысленно снова и снова возвращается к произошедшему: выражение трепета на лице девушки, когда та наблюдает возвышенную радость старой

монахини; то, как похожие на когти пальцы смыкаются поверх нежной руки, впиваясь в плоть. И ее слова: «Он говорил мне, что ты придешь». Точно Он уже отметил послушницу каким-то знаком.

— Она говорила с тобой об этом?

— Мы ведь больше не работаем вместе.

— Нет, но вы встречались.

— Один раз. — Один, если не считать взглядов, брошенных в трапезной через стол или мимоходом в галерее.

— Сестра Зуана, если тебе известно что-то, произошедшее в келье сестры Магдалены в тот день, ты должна рассказать мне. Несмотря на свою новообретенную... скромность, девушка по-прежнему крайне напряжена, и хотя я не устаю благодарить Господа за... ту энергию, с которой она включилась в нашу жизнь, однако карнавал приближается, и меньше всего в это время нам нужны беспорядки.

— Она и впрямь говорила со мной о сестре Магдалене, когда мы встретились.

— Что она сказала?

— Спросила меня, кто она такая и почему о ней нельзя говорить за пределами ее кельи. Ее волновало то, что если это был настоящий экстаз, то люди должны узнать о нем. Я ответила ей, что тем, кому нужно об этом знать — то есть Богу и вам, — все уже известно. И что наш долг — повиноваться вашим приказам.

— Хорошо сказано, — улыбается аббатиса, наклоняется вперед и снова наполняет бокал Зуаны.

## Глава восемнадцатая

Хотя Зуана ответила на вопрос честно, как предписывает долг послушания, однако в глубине души она знает, что сказала не все. Дело в том, что встреча между ней и Серафиной была нелегкой, хотя насколько то была вина девушки, а насколько ее собственная, Зуана не вполне понимает.

Внешне это был просто еще один час работы в аптеке, где они заканчивали леденцы для епископа. Однако, учитывая, что это было на следующий день после драмы у сестры Магдалены и в церкви и мадонна Чиара уже наверняка обсудила с сестрой-наставницей и сестрой Бенедиктой будущее послушницы, обе хорошо понимали, что это их последняя встреча, по крайней мере, на ближайшее время.

Все утро община пребывала в возбуждении от голоса послушницы. На обеих утренних службах девушка пела восхитительно, ее глаза сверкали, рот широко открывался, преобразование было столь полным, что казалось чудесным. Но когда Зуана, обернувшись, увидела ее в дверях аптеки, девушка приветствовала ее сдержанно, почти застенчиво, не зная, как себя вести, она вошла, опустив глаза долу, тихо приблизилась к рабочей скамье и заняла свое место.

На столе все было готово для финальной стадии изготовления леденцов, и обе женщины, ни словом не упоминая о происшедшем, стали нарезать холодную патоку и руками придавать ей форму небольших конфеток, которые затем обваливали в сахарной пудре с мукой, чтобы те стали приятнее на вкус и не слипались в простой деревянной коробке, куда их предстояло уложить.

Обе работали быстро и ловко, но молчание, которое в другое время подействовало бы на них успокаивающе, теперь словно кишело невысказанными словами. Зуана не была уверена в том, кому они принадлежат, поскольку, хотя девушка явно нервничала — она казалась раздраженной и пугливой, как будто ее сердце билось слишком быстро, — она сама тоже испытывала напряжение. По мере того как кусочки патоки превращались в горку гладких сахарных шариков, их взгляды раз или другой встретились, и это помогло растопить лед. Первой заговорила Зуана.

— Итак, твой голос наконец вернулся к тебе.

Девушка коротко и торопливо улыбнулась в ответ.

— Ммм. Я... Да, — выдавила она.

— Наш ночной соловей, наверное, будет мучиться ревностью сегодня.

— О, ночной соловей! — нервно хихикнула девушка. — Тот, что поет, приближая зарю, да? — Она снова нагнулась над патокой. — Ты права. Я хочу сказать... Я благодарна тебе за то, что ты... велела мне петь. Мне сразу стало легче... Я как будто нашла здесь успокоение.

Хотя в том, как она это сказала, смятения было больше, чем покоя.

— Ко мне это отношения не имеет. Это Господь проявился в тебе. Мы должны благодарить Его любовь и Его милосердие.

— Да... да, конечно, — прошептала Серафина, беспокойно вертя в пальцах шарики из патоки.

Впервые Зуана почувствовала себя в присутствии девушки неловко. И это ощущение встревожило ее куда больше, чем она была готова признать. Почему ее бешеную ярость и протест, боль и слезы переносить было проще, чем эту новообретенную гармонию? Если, конечно, то, что она чувствует, можно так назвать.

Зуана как раз выдумывала вопрос, который был бы достаточно глубоким и в то же время не бестактным, когда девушка заговорила сама.

— Я... Мне надо кое-что у тебя спросить.

Меньше двадцати четырех часов прошло с тех пор, как она впервые произнесла эти слова, перенесшие их в царство мифических животных и поэзии непослушания. Теперь казалось, что это случилось целую жизнь тому назад.

— Та старая женщина в келье. Кто она?

Но к этому Зуана была готова.

— Просто смиренная монахиня, настойчиво стремящаяся к Господу.

— Так почему же ее прячут, словно в тюрьме? И почему аббатиса запретила нам говорить о ней?

— Я... я думаю, что аббатисе виднее.

— Но то, что случилось с ней вчера... экстаз? Это ведь был экстаз. Ты сама так сказала...

Но теперь, памятуя указание мадонны Чиары, Зуана замешкалась.

— Да, это было что-то вроде вознесения.

— А разве другим людям не надо об этом знать?

— Те, кого это касается, уже знают. Как сказала мадонна Чиара, это дело ее и Господа Бога.

— Но ее слова... которые она мне сказала... Я... я имею в виду, что если она была в экстазе, то...

Конечно. Кто бы не взволновался и даже не встревожился, услышав такое пророчество?

— Серафина, бояться тут нечего. Ее слова, адресованные тебе, были полны любви. Ее и Господа. Я несколько в этом не сомневаюсь. Не сомневайся и ты.

И тут Зуана увидела, как выражение боли на секунду мелькнуло на лице девушки, но та тут же стиснула зубы — движение, которое напомнило Зуане ее бывшее непокорство, — и сосредоточилась на работе.

Обе продолжали работать, их руки порхали над поверхностью стола, резали, скатывали, завершали.

— Я в самом деле чувствую себя... более любимой, — наконец произнесла девушка, и ее голос был тих, но тверд, когда она подкатила следующий сладкий шарик к коробке. — Как будто за мной... присматривают.

— Тогда мы должны молиться за то, чтобы так было и дальше. Благодарить Бог а за Его бесконечное милосердие.

— Я хочу поблагодарить и тебя тоже. — Слова вырвались стремительно, хотя Серафина не отрывала глаз от рабочего стола, а ее правая ладонь лежала на его деревянной крышке. — За все, что ты сделала. Ты... ну, одним словом, ты была добра ко мне.

— Я лишь выполняла мой долг через любовь Господа.

— Ты так говоришь, но, по-моему, ты сделала больше.

Зуана ничего не сказала, поскольку говорить было нечего. Они молча стояли, их ладони лежали друг подле друга на крышке стола. Завтра она будет работать здесь одна, комната снова станет ее единоличным владением. Все, к чему она так привыкла за последние недели: любознательность девушки и ее быстрый ум, нечаянное, непредсказуемое чувство товарищества, возникшее между ними, — уйдет, и ей придется опять привыкать обходиться без всего этого. Так должно быть. Она это знает.



Девушка прижала ладонь к столу так, что ее пальцы расползлись по дереву в стороны, как лучи. Их кончики в тех местах, где приставшая патока сыграла роль клея, были испачканы мукой. Несмотря на работу, они были по-прежнему красивы, длинные, утончающиеся к кончикам, с гладкими розовыми ногтями, с идеальными полумесяцами, выступающими над кутикулой. Рядом с ними пальцы самой Зуаны походили на свежевыкопанные корешки, грубые и шершавые. Глядя на две лежащие рядом ладони, Зуана поневоле вспомнила о юношеской влажности девичьих щек, которую заметила, распустив ее головную повязку в то утро, и упругую пухлость ее тела, которую она чувствовала, помогая ей лечь в постель в ту первую ночь. Хотя теперь плоти на ней поубавилось — избыток переживаний и однообразие монастырской пищи придали больше изящества ее фигуре, — она была по-прежнему прелестна. Да, не только косых и хромоногих, но и прелестнейших из женщин берет к себе Господь, дабы защитить их от соблазнов мира... Духовное сокровище девственности. Зуане вспомнились слова святого Иеронима: «Когда идешь, нагруженный золотом, берегись разбойников. Мы страдаем здесь, на земле, чтобы быть увенчанными в другом месте». Тех послушниц, которые начинали свой духовный путь, жаждающая приблизиться к Господу, всегда вдохновлял этот текст. Хотя с какой стати она вспомнила его теперь, Зуана не могла понять.

Рядом с ней, словно трепетание ветерка, раздался вздох Серафины. Зуана снова взглянула на нее и тут же заметила, как рука девушки шевельнулась, слегка приподнялась и тут же упала, легко коснувшись тремя пальцами ее ладони.

Зуана немедленно отдернула руку, точно прикосновение девушки обожгло ее.

— О, прости меня! — Голос девушки зазвенел, словно она удивилась ее удивлению. — Я... просто хотела показать... то есть...

— Что показать?

— То, что ты для меня сделала. Моя рука. Там, где я вчера обожглась патокой. Видишь?

И Зуана увидела. Точнее, не увидела. Потому что видеть было нечего. Тыльная сторона ладони девушки была чистой, кожа гладкой, без малейших признаков волдыря или ожога.

— Все зажило. Ни волдыря, никакой отметины там, где сестра Магдалена воткнула в меня свои ногти. Твоя мазь творит чудеса.

— Она не предназначена для ожогов. Я дала ее тебе, чтобы ты смазывала синяки после наказания.

— Так их тоже нет. — И лицо девушки осветилось, точно исцеление проникло значительно глубже кожи. — Правда, я совсем вылечилась.

Но Зуана больше не думала о мази. Вместо этого она снова видела лицо старой монахини, слышала ее странный, жемчужный голос: «Он велел мне передать тебе, что бы ни случилось, Он здесь и позаботится о тебе».

Слышала ли это сама девушка? Господи Иисусе, защити это дитя. Не возлагай на нее больше, чем она в состоянии вынести. Зуана, не привыкшая, чтобы молитвенное настроение находило на нее неожиданно, внезапно испугалась.

— Хватит. Некогда болтать, — сказала она резко. — Доделывай последние леденцы, а я пока начну их укладывать.

Девушка, даже если почувствовала отпор, ничем этого не выказала; опустив голову, она продолжала катать патоку.

Когда раздался звук полуденного колокола, Серафина первой встала со скамьи, вымыла руки в чаше, готовясь к церкви, вытерла их о свой передник, который сняла и аккуратно повесила на гвоздь, откуда взяла его раньше. Привычка. Заведенный порядок. Как быстро он вырабатывается.

— Да пребудет с тобой Господь, сестра Зуана, — сказала девушка, смиренно склонив голову, и привычное монастырское приветствие прозвучало в ее устах так, словно она пользовалась им всю жизнь, а не произнесла случайно впервые.

— И с тобой, послушница Серафина.

Теперь они могли разойтись. Однако девушка не спешила прощаться.

— Я... Мне кажется, я буду нужна на репетиции хора сегодня днем.

— Да. Я тоже так думаю. Желаю тебе всего наилучшего.

— Я... я не вернула тебе книгу. О лекарствах и соответствиях. Ты сказала, что я могу взять ее почитать, помнишь? Я принесу ее потом, если можно.

Зуана кивнула. Девушка сделала шаг к двери. И обернулась:

— Было так интересно. Я имею в виду книгу. Жалко, что я не научилась большему.

И она ушла, оставив Зуану в недоумении разглядывать то место на полке, где стояла книга, и думать, почему же хотя она хорошо помнит, как предложила девушке взять книгу, но совершенно не помнит, как та ее брала.

## Глава девятнадцатая

— Сестра Зуана? — Голос аббатисы мягок, они в ее покоях. — С тобой все хорошо?

— Что? О, да-да. Прошу прощения. Я просто задумалась.

— И устала. Я вижу. Озноба или ломоты в теле нет?

— Нет. Спасибо. Со мной все хорошо. Я просто устала.

— Точно?

— Да.

— Хорошо. Это хорошо. Пока другие больны, ты нужна нам здоровой. — Она умолкает. — Быть может, оказавшись так близко к сестре Магдалене во время ее... экстаза, ты тоже немного пострадала, а?

— Я? Нет-нет... Ну, разве что на время. Ее экстаз был очень... убедителен.

— В самом деле. Такие вещи — часть чудесной составляющей жизни всякого монастыря. Взять хотя бы сестру Агнезину, как ее временами трогает утренняя служба, — поспешно произносит аббатиса, словно речь идет о чем-то столь же прозаичном, как регулярная поставка соли.

Зуана молчит. По ее мнению, между этими двумя женщинами пропасть, и аббатиса в свою бытность просто сестрой Марией Чиарой наверняка бы с ней согласилась.

— А что же сама сестра Магдалена? Как она теперь себя чувствует?

— По-моему... по-моему, она умирает. — Зуана умолкает, вспоминая слезящиеся глаза старой женщины, ее лицо, кожу, пересохшую, как старое речное русло. Что ж, в конце концов, это ее мнение, и ничто не мешает ей высказать его... — Я хотела бы перевести ее в аптеку. Ей там будет удобнее.

— Как всегда, твоя доброта к ней достойна всяческого восхищения. Но, как тебе известно, Магдалена сама высказала желание оставаться в уединении и в этом пользуется полной поддержкой своей аббатисы.

Неожиданная резкость ее тона застает Зуану врасплох. Надо будет не забыть в своих молитвах попросить прощения за неявное

непослушание. Она выпрямляет спину и чувствует боль, которая прошивает ее левый бок и ногу. Ну вот, стоило кому-то намекнуть, что она больна, и ей уже мерещится. Интересно, как мозг иногда проделывает такие вещи, заставляя тело чувствовать то, для чего у него нет никаких оснований. Ее отец мог бы кое-что рассказать и об этом, будь у нее больше времени для него... Возможно, этим объясняется владеющая ею усталость и чувство потери — ведь с того дня, как послушница появилась в ее жизни, все в ней переменялось, исчезло даже утешение от бесед с отцом.

Аббатиса внимательно смотрит на нее.

— Ты думаешь, что я жестока с сестрой Магдаленой.

— Я... я совсем об этом не думаю, — отвечает Зуана.

Теперь к списку прегрешений придется добавить еще и ложь. Бывают дни, когда в голову не приходит ни одной мысли, которая не содержала бы в себе зерно преступления. Даже следующая: о том, что она зря сидит здесь и тратит время на разговоры о вещах, изменить которые не в ее власти, когда у нее столько дел. Усилим воли она заставляет себя думать о происходящем.

— Может быть... Вообще-то да, мне это странно. Я хочу сказать, что все случилось так много лет назад, а теперь она кажется такой... — подыскивает слово Зуана, — такой безобидной.

Мадонна Чиара осторожно опускает свой стакан на маленький столик у огня, затем складывает ладони вместе и поднимает руки, кончиками пальцев касаясь губ. Будь на ее месте любая из монахинь Санта-Катерины, Зуана ни минуты не сомневалась бы, что она молится, но с аббатисой все не так просто. Она наблюдает за тем, как проясняются ее мысли, каковы бы они ни были.

— В истории сестры Магдалены есть еще одна глава, которой ты не знаешь. В этом нет ничего удивительного, ведь все случилось еще до твоего прибытия в монастырь, однако теперь тебе лучше знать. Несколько лет назад она ненадолго снова обрела в монастыре силу. Считается, что все прекратилось в ее молодости, со смертью второго герцога Эрколя, после которой никто из придворных ее, разумеется, больше не навещал, и она заперлась у себя в келье. Тем не менее, когда шум вокруг нее утих и ей стало лучше — ведь, несмотря на все посты, она была еще вполне сильной женщиной, — она начала снова потихоньку входить в жизнь общины, а тогдашняя аббатиса, добрая и

смиренная душа, не нашла в себе сил остановить ее. Несколько месяцев спустя у нее снова начались припадки — что-то вроде паралича святости, похожего на то состояние у нее в келье. А один или два раза в церкви — всегда во время заутреней — ее ступни и ладони начинали кровоточить. Прямо посреди службы она могла развести руки, и все видели кровь, стекавшую из незримых ран у нее в ладонях. Те, кто видел это собственными глазами, говорят, что она ни разу не проронила ни звука, просто стояла, а по ее лицу текли слезы. Она ничего не говорила, помощи не просила, просто уходила к себе в келью и закрывала дверь.

Теперь Зуане уже не так невтерпеж вернуться к работе, ибо это и в самом деле монастырский секрет, о котором она никогда раньше не слышала.

— Конечно, тут же начался переполох. А как иначе? И в первую очередь среди послушниц. Они особенно поверили. Даже тогдашний исповедник и тот поддался, впрочем, он был человек простой. Одним словом, через парлаторию новость вышла наружу, и люди стали говорить, что скромная птичка герцога Эрколя снова запела и в Санта-Катерине опять живет святая.

— Когда это было?

— Когда? Весной и летом тысяча пятьсот сорокового года, по моему.

— Тысяча пятьсот сорокового? Но ведь ты уже была здесь в то время. И наверное, все видела своими глазами.

— Монастырь был тогда моей школой, но еще не стал домом, а монахиням, которые нас учили, запрещалось говорить с нами об этом. Нет, то, о чем я веду речь сейчас, я узнала намного позже.

Тем не менее что-то она наверняка заметила. Столь драматические события не могли не нарушить монастырскую дисциплину, а умные дети всегда это чувствуют. С годами Зуана научилась отличать их в стайке девочек, идущих следом за монахиней хора на занятия: у таких малышей любопытство всегда одерживает верх над запретами, их круглые мордашки сияют, словно пузыри, озорство борется в них с добродетелью, и исход этой битвы еще не предрешен. О да, она наверняка что-то узнала.

— Сейчас эта дата ни о чем тебе не говорит, но в те времена подобные события были настоящей катастрофой. Французская жена

герцога, Рената, вызвала при дворе настоящий скандал своими симпатиями к еретикам. Она кормила отступников за своим столом, ходили даже слухи, будто одно время она давала убежище архиеретику Жану Кальвину.<sup>[11]</sup> Большой церковный совет как раз встречался в Тренте, и поговаривали, что инквизиция уже едет в Феррару. В такие времена невежественная крестьянка вроде Магдалены, став проводником слова Божьего без надлежащего наставничества церкви, лишь привлекла бы к городу ненужное внимание.

— И что же произошло?

— После некоторых... обсуждений в монастыре старую аббатису, у которой, к несчастью, была при дворе сестра, входившая в окружение Ренаты, сместили, а на ее место назначили новую, мадонну Леонору. При содействии епископа в монастырь прислали другого, более взыскательного исповедника, и было принято решение, что для общего блага сестра Магдалена должна возобновить заточение в своей келье.

Возобновить заточение в келье. Точнее, замуровать себя в четырех стенах. Как это было? Протестовала ли она, выла, бросалась на дверь? Или только свернулась калачиком на тюфяке и обратила лицо к Богу? Даже если Он и впрямь встретил ее, от этой воображаемой картины у Зуаны все равно мурашки бегут по спине.

— Значит, это не она так решила. Ее заперли.

— Нет... — колеблется аббатиса. — Ее затворили в келье. И все — включая ее саму — согласились с этим, потому что так нужно было для блага общины. — Она делает паузу. — Примечательно, что с тех пор... в отсутствие зрителей у нее никогда не открывались стигматы и не случались экстазы.

— Вы хотите сказать, что она устраивала их нарочно?

— Нет, — нетерпеливо трясет головой аббатиса, точно сам выбор слов в этой беседе не устраивает ее с начала и до конца. — Хотя в молодости ее не раз обвиняли в мошенничестве, это верно. Нет, я просто рассказываю все, как было. Одному Господу известно, что у нее в голове.

Но, как бы благоразумно это ни звучало, Зуана не может забыть то, что видела. Старухе, чьи кости легкостью напоминают птичьи, а плоть больше похожа на слишком тонко раскатанное тесто, негде взять столько сил, чтобы словно клещами стиснуть руку молодой здоровой

женщины, а уж тем более впасть в транс столь глубокий, чтобы не замечать, как мухи ходят по ее глазным яблокам.

— Историю, которую я тебе рассказала, мне полностью растолковали лишь четыре года назад, когда я была избрана аббатисой, и мне стал ясен мой долг по отношению к общине и пребывающей в ней сестре Магдалене.

«Долг по отношению к общине... — думает Зуана. — А также по отношению к твоей семье». Аббатиса недоговаривает одного, поскольку это и так всем известно: любая монахиня, если она не полоумная, знает, что те бурные годы в начале тысяча пятьсот сороковых были временем смены ориентиров внутри Санта-Катерины, а назначение мадонны Леоноры на пост аббатисы стало началом возврата к власти семьи мадонны Чиары. И несмотря на некоторое нарастание оппозиции, Чиара до сих пор пребывает на посту.

— Понимаю.

— Поэтому, если она и впрямь при смерти, тебе, как старшей по лазарету, надлежит найти иные пути позаботиться о ней в данных обстоятельствах.

— А что, если... — Голос Зуаны замирает.

— Если что?

Зуана колеблется.

— Что, если Господь и впрямь говорит ее устами?

— В таком случае пусть Он найдет себе других посредников, — тихо произносит аббатиса. — Хотя ты не из самых святых сестер в Санта-Катерине, Зуана, зато наверняка одна из самых проникательных. Я сейчас делюсь с тобой не сплетнями. И даже не старыми историями. Я рассказываю тебе об этом лишь потому, что мы снова входим в бурные воды.

— Но... но я думала, что худшее уже позади. Герцогиня Рената давно вернулась во Францию, у нас теперь новый герцог, новый Папа, а инквизиция нас покинула. Разве теперь город не в безопасности?

— Это лишь временная передышка. Наш новый Святой Отец по-прежнему не спускает глаз с Феррары. В отсутствие законного наследника наш город по смерти герцога снова вернется во владение Папы, хотя, если Господь смилостивится над нами, этого не случится. Однако есть и еще более близкая угроза. Ты знаешь, что среди декретов, принятых во время последнего собора в Тренте, был один,



направленный на очищение монастырей от всего нечистого и скандального путем ограждения от него всех монахинь, невзирая на то, к какому ордену они принадлежат и какое положение в нем занимают.

— Да, но на нас он не распространяется. Как бенедиктинки, мы и без того принадлежим к закрытому ордену.

— Это верно. Однако есть предположение, что слово «закрытый» можно трактовать по-разному. И теперь становится ясно, что декрет был принят столь поспешно — можно даже сказать, намеренно поспешно, — что превратился в висящий над нами меч, который, если его столь же торопливо опустить, полностью изменит всю нашу жизнь.

Зуана молчит. Для большинства монахинь внутренние повороты церковной политики столь же запутанны и непонятны, как изгибы и извивы человеческого кишечника, и в стены монастыря то и дело проникают снаружи сплетни, одна скандальнее другой. Вот когда от брата, служащего в церкви, толку определено больше, чем от визионерки, сидящей в келье.

— Я не понимаю. Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что этот декрет наделяет епископов властью, если те сочтут нужным, ограничить или полностью оградить монастырь от любых контактов как с другими монастырями, так и со всем внешним миром. Я хочу сказать, что теперь епископы, если им заблагорассудится, могут запрещать пьесы и концерты, уменьшать количество посещений и посетителей, прерывать деловые связи с внешним миром так, что монастырь окажется зависимым исключительно от милости дарителей, а не от собственных деловых усилий. Говорят даже об ограничении переписки как занятия, «не способствующего безмятежности нашего состояния». — Она делает паузу. — Легко себе представить, как именно этот декрет отразится на нас.

А вот тут она не права, ибо представить себе жизнь в Санта-Катерине столь изменившейся, столь обуженной, столь урезанной не может никто.

— Но... но как они могут так сделать? Это же противоречит тем представлениям о монастырском укладе, согласно которым женщины вступали сюда.

— Думаю, что страх перед ересью был настолько силен, что заставил добрых епископов и кардиналов, собравшихся в Тренте,

позабыть обо всех подобных «представлениях», — едко отвечает аббатиса. — Однако декрет останется лишь словами на бумаге до тех пор, пока его не начнут приводить в исполнение, чего жаждут далеко не все церковные иерархи. По крайней мере, епископ Феррары пока прислушивается к мольбам влиятельных семейств города и более склонен проводить реформы в соответствии с их духом, а не буквой. Но и мы, в свою очередь, должны быть в данной ситуации на высоте, чтобы никому не давать повода к упрекам и не привлекать к себе внимания тех, кто под очищением понимает разрушение.

Теперь Зуане все становится ясно: и те неуловимые перемены, которые происходили в самой атмосфере монастыря в последние месяцы, и стремление аббатисы заполучить побольше богатых приданых, чтобы подтолкнуть приходно-расходные книги монастыря к положительному сальдо, и ее желание, чтобы послушница как можно скорее пришла в себя и запела, и подавление более либеральной фракции в общине ради того, чтобы удержать под спудом рвущееся наружу пламя Юмилианы. А теперь еще и пресечение всяких сплетен касательно экстаза сестры Магдалены...

Зуану всегда впечатляла пронизательность Чиары во всем, что касалось равновесия между Божественным и человеческим, в особенности во времена ее подневольного послушничества, когда она с трудом отделяла истинную святость от лицемерия, присущего монастырской жизни. И если во многом такой, какая она есть, ее сделало отцовское воспитание, то таланты аббатисы наверняка были врожденными. Имена родственниц Чиары пронизывают всю историю Санта-Катерины, как богатая золотая жила — пласт земли: эти пронизательные и незаурядные женщины осуществляли влияние семьи через монастырскую общину, а не через детей, которых были лишены. Единственный вопрос — Зуана много раз задавала его себе, не облакая при этом в слова, — состоит в том, что если такой женщине придется выбирать между Богом и семьей, чей голос окажется громче?

— Я уверена, теперь ты поймешь, как чудесно, что мы смогли предложить городу новую певчую птицу. А вот возвращение к жизни святой, которая впадает в экстаз без должного наставничества подходящего исповедника, — это совсем другое дело. — Она умолкает, прежде чем взять со стола стакан. — Я надеюсь, что теперь любые сомнения, которые были у тебя касательно этого дела, улеглись.

Бог против семьи. Похоже, Зуана получила-таки ответ на свой вопрос. И наверное, нет ничего удивительного в том, что от осознания этого факта ее слегка знобит.

Когда Зуана возвращается в лазарет, утреннее рабочее время уже на исходе. Похоже, сегодня туман проник внутрь, потому что комната выглядит мрачнее обычного. Бросив взгляд на опустевшую кровать Имберзаги, она мгновенно переносится памятью в тишину той ночи, когда молодая женщина, которую покинула боль, лежала здесь с лицом гладким, точно из воска, а воздух вокруг нее вибрировал от молитв сестры Юмилианы, претворявшей горе в радость. Сестра Юмилиана... Как бы она отнеслась к очищению их монастыря согласно букве нового декрета? Без сомнения, она оказалась бы в своей тарелке, не то что многие другие. А сестра Магдалена? Будь Юмилиана аббатисой, продолжала бы она так же покорно сидеть взаперти в своей келье? «Ах, Зуана, не твоего ума дело отвечать на такие вопросы, — твердо говорит она себе. — Ты сестра-травница, твоя задача — заботиться о больных, этим и займись».

Она оглядывает комнату. Сейчас в ней пять пустующих кроватей. Наверное, тех, кто страдает от инфекции, лучше перевести сюда, где она сможет почти непрерывно наблюдать за ними. Но что, если они заразят других? Трое из четверых оставшихся старух, вероятно, сами скоро умрут естественной смертью, они и так все время спят, и даже сестра Клеменция, кажется, угасает. С тех пор как в монастырь нагрянула инфлюэнца, Зуане пришлось прекратить ее хождения по галереям в любое время дня и ночи, и старая монахиня тяжело восприняла этот запрет. Теперь она почти все время бурчит что-то себе под нос, завернувшись в одеяло, но каждый раз, когда Зуана проходит мимо, вдруг впадает в волнение и пытается встать.

— О, ты вернулась. Ангел из сада ждет тебя. Она снова с нами, — говорит сестра Клеменция, взмахивая рукой в сторону аптеки, и, выпрямляясь, натягивает полосу материи, удерживающую ее в кровати.

— Ш-ш-ш-ш. Не надо кричать. Я тебя и так хорошо слышу.

— Нет, но, по-моему, она ранена. Она вошла так тихо. Наверное, у нее сломаны крылья. Ты должна дать ей снова взлететь. Она нужна нам, чтобы охранять нас по ночам. — С тех пор как ей запретили

двигаться, ее сознание не перестает дробиться на все более мелкие кусочки.

— Не волнуйся, — произносит Зуана, приближаясь к ней, и осторожно помогает ей лечь. — Тебя и так охраняет множество ангелов.

— Да нет же, слушай. Она там! Говорю тебе, она пришла. Видишь, видишь — мой ночной ангел вернулся.

Зуана оборачивается — и видит Серафину, выходящую из аптеки и, словно нимбом, окруженную сиянием свежестыранного головного покрывала. Ангел со сломанными крыльями? Вряд ли. Нарушившая правила послушница — это точно.

— Что ты здесь делаешь?

— О-о... Я жду тебя. Я везде тебя искала, но никто не знал, где ты, — говорит Серафина и умолкает. — Я... я принесла назад книгу, которую брала почитать. Я... я не знала, куда ее положить, и потому оставила на столе.

— Ты не должна входить туда одна. Ты больше со мной не работаешь, а посторонним там быть нельзя, это против правил.

— Прости меня. Я не знала... Сестра Клеменция сказала, что все будет в порядке.

И девушка посылает старухе улыбку, а та радостно и безумно машет ей в ответ.

— Ангел — я же говорила тебе, — ангел вернулся к нам.

— Ох, успокойся, сестра, ты переполошишь остальных, — довольно резко произносит Зуана. — А с тобой, — кивает она Серафине, — мы поговорим там.

Закрыв дверь, Зуана быстрым взглядом окидывает комнату. Все, кажется, на своих местах, кроме книги, которая лежит на рабочем столе, а из соседней комнаты, приглушенные толстым слоем древесины, продолжают долетать радостные вопли Клеменции.

— Что ты ей сказала?

— Ничего. Ничего, клянусь. Я думала, что она спит, поэтому вошла тихонько, но она проснулась.

— А почему ты вообще здесь? Ты должна быть в хоре.

— Сестра Бенедикта отпустила нас пораньше. Она репетирует какое-то новое сочинение с лютнистками. Прямо сама не своя от радости.

Настолько не своя, что, не задумавшись, нарушает правила.

— В таком случае тебе надлежало идти в свою келью.

— Прости меня. Пожалуйста, я ничего плохого не хотела. Я же говорила. Я просто принесла назад книгу. Думала, что теперь она может тебе понадобиться.

Зуана внимательно смотрит на нее. Десять недель назад она даже не подозревала о существовании этой молодой женщины. Работала одна со своими снадобьями и растениями и держала мысли, которые ее посещали, при себе. И вдруг вся ее жизнь, а с ней и жизнь всей общины, полностью переменяется, наполнилась этой девушкой, словно ее период послушничества должен был стать испытанием для всего монастыря.

— Вход в аптеку закрыт для всех, кроме меня. Ты нарушила правило, и я должна об этом сообщить. И тогда тебя опять серьезно накажут.

— Ну так сообщи, коли должна, — отвечает та негромко, с едва заметной дрожью в голосе. Некоторое время они стоят в молчании. — Я знаю, что поступила неправильно, но... я хочу сказать... Я пришла еще и затем, чтобы спросить, не надо ли тебе помочь. Столько людей заболели. Я знаю, что здесь только ты и прислужница, но ты ведь не можешь делать все сама. А я могла бы ухаживать за ними вместе с тобой. Ты ведь рассказывала мне кое-что о рвоте и лихорадке.

— Ты очень добра, что подумала об этом... — вздыхает Зуана.

— Нет, доброта тут ни при чем, то есть, конечно, я надеюсь, что при чем. Но ты помогла мне. А теперь я хочу помочь тебе.

«Интересно, если бы я чувствовала себя лучше, было бы мне легче сейчас? — думает Зуана. — Что же мне с ней делать? Как не ошибиться?»

— Я... я подумаю, может, тебе попробовать кошениль?

— Что?

— Ту краску. Мы о ней говорили, помнишь? О том, как она действует. Разве не ты рассказывала мне о ней? Ну, что она не только красит все на свете, но и может снимать лихорадку.

— У тебя замечательная память, Серафина.

Девушка склоняет голову.

— Мне было интересно то, что ты рассказывала. Разве так нельзя поступить?

— Нет, это не... не опробованное средство. Но все равно, спасибо за подсказку. Из тебя получился бы хороший помощник аптекаря.

Наступает секундная пауза, после которой Серафина поднимает голову и говорит:

— А может быть, ты опять попросишь, чтобы меня отправили помогать тебе?

Только теперь до Зуаны доходит, какая гордыня заключена в этом вопросе.

— Хватит! Твое присутствие необходимо в церкви. Так решила аббатиса. А ты ее послушница.

Девушка опять опускает голову.

Прости меня. Я просто... Сама не знаю почему, но... я скучаю по аптеке.

— Ничего, сестра Юмилиана поможет тебе с этим справиться. — Зуана переводит дыхание. — Если тебе повезет, ты успеешь вернуться в келью прежде, чем колокол прозвонит шестой час.

Девушка вскидывает глаза.

— Значит, ты не будешь сообщать? Я правда ничего такого не хотела.

Зуана нетерпеливо прикрывает глаза. Она думает о мадригалах в сундуке послушницы и о том, как та без спросу вошла в келью сестры Магдалены. Многие сочли бы, что закрывать глаза на проступки других — значит потворствовать своим проступкам.

— Уходи сейчас же. Просто уходи.

Девушке не нужно повторять дважды. Зуана слышит, как за ее спиной затворяется дверь.

Говорят, в раю спасенная душа обретает такую чистоту и свойства, столь не присущие ей в земной жизни, что она не только начинает перемещаться по небу быстрее молнии, но обостренным слухом за сотню миль улавливает биение птичьего крыла, а взглядом пронизывает самые плотные тела с такой легкостью, как будто они состоят из воздуха. Жаль, что Зуана еще не рассталась со своей смертной оболочкой. Может быть, тогда она услышала бы вздох облегчения, сорвавшийся с губ Серафины, пока та прикрывала за собой дверь, и увидела бы, как правой рукой она прижимает к себе бутылочку с темной жидкостью, спрятанную под платьем.

Когда Серафина проходит через лазарет, Клеменция плаксиво  
взывает к своему сомнительному ангелу, но тот проходит мимо, не  
удостаивая старуху даже беглым взглядом.

## Глава двадцатая

Ах! Она едва переводит дыхание, так колотится сердце. Пальцем она проводит по горлышку спрятанной под платьем бутылки, чтобы проверить, на месте ли пробка. Не годится оставлять за собой след из макового сиропа.

Все пошло не так, как она планировала. Она думала отлить немного жидкости в другой флакон, чтобы не оставлять зияющую дыру на полке, но не нашла пустого. В аптеке наверняка был запас чистой посуды, но она не помнила случая, чтобы Зуана хоть раз воспользовалась им, так экономно она обращалась со всеми припасами. В общем, услышав голоса в лазарете, она едва успела раздвинуть на полке бутылки, сунуть в карман нужную и выскочить за дверь.

Она не ожидала, что Зуана вернется до шестого часа. Распространение болезни нарушало распорядок монастыря, и, увидев, как Зуана входит в покои аббатисы после завтрака, Серафина поняла, что более удобного случая ей не представится. После того как Бенедикта отпустила их пораньше (тут она не солгала — хормейстерша и впрямь истекала новыми мелодиями, которые хлынули из нее в таком изобилии, что даже ей трудно было с ними совладать), она заметила закрытые ставни переднего покоя аббатисы, а это значило, что за ними еще идет разговор.

Пронесло... Она сглатывает, чтобы наполнить слюной пересохший рот. Вот она вышла из лазарета, входит во двор главного здания. Она дрожит, сама не зная, от страха или от возбуждения. О том, что могло бы произойти, не услышь она болтовню Клеменции об ангелах и голос Зуаны в ответ, страшно даже подумать. Надо быть осторожнее. Но откуда ей было знать, что она так долго будет пробираться мимо сумасшедшей, которая слышала ее, хотя она и шла на цыпочках?

— О, это ты. Где же ты была? Как там снаружи, в ночи? Собралось ли уже святое воинство? — И понесла чепуху... — Я больше не могу их считать, теперь ты должна делать это за меня.

Говоря, старуха все натягивала постромки, которые удерживали ее в постели, словно сумасшедшая свою цепь. Вот что случается, когда



кого-то держат взаперти против воли: мозги скисают, и всякие фантазии начинают расти на них, словно плесень на сыре. Но ее они не удержат. Она уйдет отсюда сразу, как только будет готова. Когда ключи будут у нее и они вместе придумают план, только ее тут и видели. И пусть разразится скандал. Все равно никто ее не остановит. Даже сестра Зуана...

Вот что заботит ее теперь постоянно: сколько она знает... Прочих она обманет. Даже сестра Юмилиана как будто перестала придирааться к ней, так она озабочена благополучием других своих подопечных в пору, когда воздух в монастыре насыщен парами болезни и предвкушением карнавала. Но Зуана...

«Что ты тут делаешь?»

Она снова видит ее лицо в тот миг, когда они встретились в дверях аптеки. В нем была такая свирепость. Неужели она как-то догадалась, что ее приход был вызван не только желанием вернуть книгу? Что, если она знала, что она лжет? Что, если она почуяла запах сиропа, вытекающего из-под пробки, или разглядела очертания бутылки у нее под платьем?

Хорошо, что страх заставил ее сопротивляться...

«Я пришла потому, что хотела спросить, не нужна ли тебе помощь».

В это Зуана поверила. А если и нет, то так хотела поверить, что забыла о своем подозрении. И правильно сделала. Конечно, это был всего лишь предлог, подсказанный хитростью, но в нем было искреннее чувство. Серафина помогла бы ей, если бы можно было (ей, но не другим — на них ей плевать), потому что ясно видела, как плохо Зуане. Ей хотелось приготовить для Зуаны чай из одуванчиков, а потом сесть с ней рядом и наблюдать, как теплый отвар пробуждает ее жизненные силы, пока они обсуждают возможные методы борьбы с болезнью.

«А теперь иди. Уходи».

Впечатление было такое, будто Зуана ее боится. И тогда она поняла, что победила. Что она не донесет на нее. И наказания не будет. Значит, Бог все-таки на ее стороне. Где-то далеко Он понял, как несправедливо с ней обошлись и что она заслуживает свободы.

Серафина тихонько напевает себе под нос, чтобы успокоить колотящееся сердце. Ее голова полна новой музыкой: строки молитв

взмывают и парят, точно вечерние стрижи, прелестью и глубиной слов не уступая мадригалу. Наедине с собой она слышит и другие партии, которые растут, тают, соединяются с ее собственной, обвиваются вокруг нее. Никогда в жизни ей не приходилось быть внутри такого множества голосов, и ей странно, до чего это успокаивает и в то же время возбуждает. Иногда после вечерни ей кажется, что, если бы не заточение, она была бы вполне счастлива; тогда она почти понимает сестру Бенедикту, которая каждую минуту своей жизни занята тем, что вытягивает ниточку мелодии у себя из головы. Надо же, настолько жить музыкой. Серафина же не может дождаться того дня, когда снова споет ему и увидит его лицо, ведь здесь она научилась такому, чему ее не мог научить даже он.

В келье, затворив за собой дверь, она достает из платья бутылку и отворачивает матрас, в котором устроен тайник.

Ее хитрость в таких вещах изумляет даже ее саму. Она все уже тысячу раз продумала. Как, когда, где... Если бы кто-нибудь спросил ее сейчас, она ответила бы, что почти получает от этого удовольствие, ведь ей еще в детстве больше нравилось учиться тому, что можно применять на деле, а не просто запоминать. «Из тебя вышел бы неплохой помощник аптекаря». Так сейчас сказала ей Зуана. Что ж, может быть, она и права... Но ее ждут более великие дела. Какие — она пока не в силах представить, так как в иные дни ей некогда даже думать об этом — и о нем — так она занята остальным: планированием, подготовкой.

По ночам, заглушая голос Магдалены, она представляет себя свободной. В мечтах она видит комнату (Феррара за стенами монастыря остается для нее неведомым городом), не такую богатую, как в доме ее отца, но вполне уютную, в камине горит огонь, повсюду музыкальные инструменты, и себя в его объятиях, после того как их музицирование прервали поцелуи. Она пытается представить его рот, губы, мягкие, точно нутро спелой сливы, и, чтобы ощутить его снова, подносит тыльную сторону ладони к своему рту и ласкает ее губами, чувствуя влажный жар собственной слюны, касания языка, ровные зубы, игриво прикусывающие кожу. От этого у нее начинает щекотать в животе так, что она едва не задыхается. Их воображаемое объятие так тесно, что она не различает его черты и делает шаг назад, чтобы заново познакомиться с его лицом, но его образ все равно остается

расплывчатым, и она чувствует разочарование, почти стыд, и это ее слегка пугает.

Ничего. Скоро все будет по-другому. Скоро она снова увидит его милое лицо и вспомнит, за что она его так любит.

Ее план уже готов. Карнавал — самое удобное время. Представление, к которому так взволнованно готовятся, отвлечет всех, и ни у кого не будет лишнего времени, чтобы следить за тем, куда уходит и когда приходит одна-единственная — да к тому же удивительно покорная — послушница. А поскольку все самое главное будет происходить в галереях и парлатории — она и это продумала, шаг за шагом, — никто и не вспомнит о складах у реки, в тени которых спрячется лодка, не вызывая ничьего подозрения.

Но, чтобы войти или выйти, по отдельности или вместе, надо одолеть две двери: одну, ведущую с реки в склад, и другую — из склада в монастырь. А для этого нужны дубликаты ключей. В этом и заключается ее следующая задача. Помимо главного ключа, который хранится у аббатисы, есть еще два набора. О первом, который у келаря, и думать нечего; лицо сестры Федерики под стать ее каменному сердцу, и все знают, что она носит свою связку под одеждой, не расставаясь с ней день и ночь. Однако ходят слухи, будто главная прислужница не настолько привержена своему делу, чтобы терпеть отпечатки железа между грудями, и потому спит без ключей, на ночь кладя их под свой головной валик. Однако, согласно тем же слухам, спит она чутко, как и полагается хорошему дракону, стерегущему сокровище.

В таком случае она наверняка оценит одну спокойную ночь — с капелькой того самого снадобья, которое иногда милостиво наливают преступникам по дороге на эшафот, хотя вызванные им сны тревожили бы их после пробуждения, доведись им, конечно, проснуться. Но и теперь, когда маковый сироп у нее в руках, задача не стала проще: ведь она должна ухитриться его дать. Кандида могла бы сделать это за нее, однако ей своя рубашка ближе к телу, особенно в тех случаях, когда дело пахнет разоблачением. Нет, придется действовать по-другому.

Она просовывает пузырек через дыру в матрас, туда, где среди соломы и конского волоса уже лежит восковая подушка.

Колокол звонит шестой час.

## Глава двадцать первая

Быть может, если бы у Зуаны было больше времени, тогда она смогла бы еще подумать над историей аббатисы. Тогда она строже проверила бы запасы и образцы в своей аптеке. Но несколько минут спустя колокол ударил шестой час, а иногда от молитвы до работы и до следующей молитвы времени ни на что другое просто не хватает...

В следующие двадцать четыре часа болезнь распространяется дальше, крепнет, и у одной из заразившихся сестер начинается опасный жар. До концерта и представления новой пьесы остается всего несколько недель, и есть опасность, что монахини Санта-Катерины будут слишком больны, чтобы участвовать в них самим или — что еще хуже — развлекать других и производить на них впечатление.

На следующее утро в рабочий час Зуана сидит в аптеке и сосет подушечку из имбирного корня, чтобы заглушить тошноту, которая поднимается из желудка, и старается не обращать внимания на то, как у нее горит голова. Она заболела, это ясно. Но еще не потеряла способности действовать. Теперь либо инфлюэнца свалит ее, либо она победит инфлюэнцу. И нечего тратить время, раздумывая, кто из них возьмет верх. Куда важнее найти способ сопротивляться.

Зуана не раз наблюдала эту болезнь и раньше, в разных вариантах, в разном ритме и разной степени жесточенности. В одну зиму она приходит рано и проносится, точно ветер по полю, сгибая, но не ломая колосья. На следующий год она выжидает, кормясь сыростью и туманом, до тех пор пока он не впитает в себя всю зловонную влагу, и тогда набрасывается на самых старых или на тех, у кого самые обильные мокрые гуморы, топя их в собственной мокроте, — и все ради того, чтобы на следующий год смениться болезнью, отдающей предпочтение жару, а не воде, горению, а не медленному удушению.

«Помни, что всегда лучше сдерживать болезнь, чем полагаться на ее лечение, ибо к тому времени, когда ты найдешь надежное средство, она может уже сделать свое дело». Отец всю жизнь вел записи самых заразных вспышек болезни, сравнивая возраст и конституцию умерших с возрастом и конституцией тех, кто уцелел.

— Все это, конечно, хорошо, но, раз начав, понимаешь, что легче сказать, чем сделать, — бормочет Зуана, смешивая очередную порцию мяты с рутой и уксусной водой от лихорадки.

Отец обнаружил, что те люди, которые выхаживали больных — матери, доктора, священники, — заболели чаще, и неудивительно, ведь дело было не только в их близости к источнику болезни, но и, возможно, в том, что Господь призывал к себе самых добрых и, следовательно, самых любимых своих чад. Правда, при этом Он брал, по крайней мере, столько же грешников, сколько и несостоявшихся святых. И пока одни спасались тонизирующими средствами, другие оставались здоровыми и без них, как будто лекарство уже было внутри их. А были и такие, которым не помогало ничего, хотя они пили и пробовали все, что было возможно.

Что до причин болезни, то тут ответов существовало не меньше, чем разновидностей самого недуга. В последние годы отец склонялся к теории одного веронского коллеги, построенной, как и многие другие, на основе теорий древних. Веронец считал, что подобные болезни распространяются с помощью множества крошечных вредоносных спор, которые летают в воздухе, оседают на платье и других вещах, а попав внутрь организма, атакуют и побеждают находящиеся там здоровые споры, превращая их во вражескую силу внутри. Однако если они так малы, что их нельзя даже увидеть, то как можно знать, где они прячутся? И почему одни из них опаснее других? И как можно их уничтожить, не предавая огню все кругом, включая самый воздух? К недостатку ответов прибавились новые вопросы. В конце концов результат все равно был один: болезнь, что бы она собой ни представляла, приходила год за годом, то сменяясь новым видом, то возвращаясь к форме, похожей на предыдущую, и все это за исключением тех лет, когда появлялись чума и оспа.

Зуане в каком-то смысле повезло, что она все время занята, иначе ей непременно вспомнилась бы та зима шестнадцатилетней давности, когда ее собственная жизнь перестала быть загадкой. Погода в тот год стояла необычайная, тепло было вплоть до начала февраля, и инфекция, которую отец подхватил, сначала показалась довольно легкой, хотя он был уже стар — за семьдесят — да и не так бодр, как раньше. Он чихал и сипел, попеременно то обливаясь потом, то дрожа в ознобе, но, проведя в постели два дня, пока она лечила его по его

указаниям, встал и объявил, что совершенно здоров и голоден как волк.

Они пообедали — он съел бульон, жаркое, выпил бутылку доброго требианского вина — и сели у огня каждый со своей книгой, как было у них заведено. Он, как нередко в те дни, читал один из недавно приобретенных томов Везалия и был глубоко увлечен.

Когда это случилось, то все произошло так быстро, что нечего даже вспоминать. Она услышала торопливый вдох, как будто он нашел что-то такое, что его возмутило или удивило. В последнее время он не только восхищался открытиями своего более молодого коллеги, но и активно спорил с ним. Она подняла голову, чтобы узнать или спросить о причине его гнева, но успела увидеть лишь гримасу на его лице, прежде чем его голова упала на грудь. В первую секунду Зуане показалось, что отец просто заснул, как иногда случалось с ним после хорошего обеда, но тут он медленно, так медленно, словно само время сгустилось, отмечая это событие, наклонился вбок и рухнул на пол, а его рука, лежавшая на книге, проехала по ней всей своей тяжестью и разорвала страницу.

Его тело едва успело коснуться пола, как она была уже рядом с ним, криком сзывая слуг и пытаясь поднять его. Она сделала все, чему он ее учил: ослабила ему воротник, звала его по имени, перекатила на бок — хотя он был тяжелым и неповоротливым, как куль зерна, — влила немного воды из кувшина в его полуоткрытый рот. Но чувство было такое, словно его тело опустело. Его, ее отца, не было в нем. Ни движения, ни вдоха, ни намек на пульс — ничего. Казалось, будто жизнь, не желая причинять никому беспокойства и вызывать суету с лекарствами и сиделками, просто выскользнула из него вместе с последним выдохом.

Позже, когда пришел священник, тело подняли и перенесли на стол в лаборатории, а дом наполнился слугами и рыдающими людьми, она, потрясенная настолько, что слезы не шли из ее глаз, вернулась к той книге и обнаружила, что это был шестой том, посвященный грудной клетке, а на порванной странице была иллюстрация, изображавшая сердце в разрезе и кровь, текущую из его левой половины в правую. Эта глава вызывала у него особое раздражение, поскольку демонстрировала явное противоречие между авторитетом великого Галена и свидетельством, которое Везалий добыл

собственным ножом. Сам Везалий впоследствии зашел настолько далеко, что объявил об ошибке Галена: кровь не текла и не могла течь таким образом, ведь он своими глазами видел плотную мышечную стенку без отверстий, а значит, двигаться крови некуда.

Когда много лет спустя это известие достигло ее за решеткой монастыря, она подумала, что, может быть, именно об этом размышлял ее отец за мгновение до смерти, а еще о том, что мертвое сердце на той картинке и потеря им живительного дыхания, возможно, были не просто совпадением, а знаком, оставленным ей для того, чтобы она лучше поняла его смерть. И конечно, когда затихло его сердце, затихло и все остальное, от звука его голоса до всех тех мыслей и слов из огромной библиотеки его опыта, которые еще не были записаны и потому исчезли навсегда.

«Ну же, вставай, Фаустина. Довольно плакать, пора за дело».

И он был прав. Нельзя горевать вечно, а сделать нужно было многое. Не успел священник прочесть отходную по усопшему, как передняя наполнилась хлопаньем крыл огромных стервятников, и если бы она не перестала плакать, то и не заметила бы, как с полок его кабинета начали пропадать самые ценные книги или как учителя и честолюбивые студенты, пришедшие почтить его память, рылись в его бумагах и забирали оттуда странички, «оставленные ему на хранение». Это была своего рода лесть. Врач со связями при дворе оставил после себя брешь, которую предстояло закрыть другим; и на что молодой женщине нужны книги по травам и сборники рецептов, даже если бы она могла ими распорядиться?

Однако по-настоящему их общение началось лишь после похорон, за несколько дней до того, как ей предстояло уйти в монастырь, когда у девушки-кухарки вдруг случились чудовищные спазмы в животе и головная боль, сопровождавшаяся сильнейшей рвотой. Это была долговязая, голенастая деревенская девочка в том возрасте, когда кости, кажется, растут быстрее плоти. Зуана нашла ее лежащей на полу и скрючившейся так, что девочка едва смогла разогнуться и показать, где у нее болит.

«Ну же! Неужели ты так скоро забыла все, чему я тебя учил?» — сказал его голос прямо ей в ухо, когда она нагнулась над девушкой.

Зуана так волновалась, что ее руки тряслись, когда она щупала пульс. Не найдя его на запястье, она стала щупать шею за ушами, как

он ее учил, и там ощутила биение, сильное, но не настолько частое, чтобы заподозрить опасную лихорадку. Тогда она занялась головной болью, сделала повязку из листьев вербены в уксусе и положила девушке на лоб, а потом стала поить ее водой с базиликом и коньяком, чтобы успокоить ее желудок или заставить его извергнуть то, что вызывало спазмы. И поскольку она все равно не могла заснуть, сколько ни пыталась, то сидела рядом с девушкой всю ночь, пока та стонала и металась.

«Ну? — спросил он прямо перед рассветом, в тот час, который, кажется, больше подходит мертвым, чем живым. — Каково теперь твое мнение?»

Зуана положила ладонь девушке на лоб. «Если у нее была лихорадка, то теперь она прошла. Но судороги остались. Будь это отравление, у нее уже начался бы понос. Может быть, следует увеличить дозу коньяка, чтобы вызвать очищение кишечника?»

«Возможно. А что, если его незачем очищать?»

«Но внутри что-то есть. Я определенно чувствую мягкость».

«Где? Покажи».

Она кладет свои ладони на сорочку, покрывающую тело девушки, и двигает их от желудка вниз, к лобковой кости. Но правда заключается в том, что она не знала точно где, ведь, хотя она видела гравюры с изображением внутренностей женского организма, настоящую женскую плоть она ощущала впервые.

«Вот».

Но он тем временем уже замолчал.

Девушка застонала, выгибаясь дугой в ответ на давление и боль. И тут сквозь ее сорочку Зуана впервые заметила острые бутончики юных сосков. Она отошла от кровати и вернулась наверх, в рабочую комнату, где сняла с полки мешочек с мятой и листьями воловика, которые заварила горячей водой с вином. Какая она глупая! Неудивительно, что он перестал говорить с ней.

Вернувшись в комнату, она помогла девушке сесть, чтобы та могла выпить.

— О-о-о! Ой, я умираю.

— Вовсе нет, — сказала Зуана. — Причина скорее в том, что ты растешь.



Уже наутро из девушки вышли несколько комочков черной крови, за которыми последовало явное менструальное кровотечение.

— Я должна была понять. — Вернувшись к себе, она ощутила такую усталость, что не могла даже раздеться. — Почему же я не поняла? Все же так просто.

«Простое и оказывается иногда самым сложным. Вот почему важно продолжать задавать вопросы и наблюдать».

«Может быть, если бы у меня была мать...» — хотела сказать она, но не стала, ведь думать об этом сейчас означало бы признать потерю обоих родителей.

«Ты хорошо справилась. А теперь в постель, Фаустина. Сон нужен тебе не меньше, чем твоей пациентке».

— Нет! Не уходи. Пожалуйста, останься.

«Не беспокойся. Я буду рядом, когда понадобится...»

— Бенедиктус. — Голос, который раздается за ее спиной в аптеке, громкий и настоящий.

Зуана поворачивается так поспешно, что в голове у нее начинает стучать, и ей приходится схватиться за стол, чтобы не упасть. Прямо за ее спиной, в шаге от нее, стоит сестра-наставница Юмилиана, чьи толстые, как подушки, щеки покраснели и покрылись сеткой сосудов на холодном зимнем ветру.

— Део грациас. — Неужели она говорила вслух сама с собой? Нет, конечно.

— Я потревожила тебя, сестра? — спрашивает старшая женщина. — Я слышала голоса.

— Нет. Нет, я... — Зуана колеблется, не зная, что именно и сколько та слышала. — Я... молилась. Что-нибудь случилось?

— Послушнице стало плохо во время занятий.

— Которой?

— Анжелике.

— Анжелике? Она же страдает легкими.

— Господу было угодно послать ей такую болезнь. Но она стойко ее переносит.

— Я... я приду к ней, — отвечает Зуана, снова поворачиваясь к столу, как будто что-то взять, но от движения у нее снова начинает кружиться голова.

— Я бы не стала тебя беспокоить. Ей уже лучше. Я послала ее в часовню молиться.

Но Зуана уже думает о том, что произойдет, если инфлюэнца прибавится к астме, и как быть, если девушка начнет задыхаться.

— Ей было бы лучше отдохнуть.

— Что? В церкви и без того пусто.

Зуана колеблется. Если они сейчас поссорятся, легче никому не станет.

— Дело в том, что заражение быстрее происходит в тех местах, где мы собираемся вместе.

— Да, я слышала, так говорят. Однако когда речь заходит о духовном здоровье общины, мнения о том, что приносит больше облегчения, могут различаться.

Зуана следит за взглядом сестры-наставницы, который с ее лица опускается на книги, лежащие на столе за ее спиной: гравюры верхней части грудной полости и дыхательной системы, с комментариями. И вновь ее поражает глубокая сосредоточенность Юмилианы. Не удивительно, что подопечные так ее боятся; кажется, немного найдется в мире такого, в душе или за ее пределами, чего она не заметила бы.

— Интересные у тебя молитвенники, сестра.

— Это записи. Их сделал один врач из Вероны, который лечил инфлюэнцу, подобную нашей.

— А он знал ее причину?

Теперь Зуана думает, что еще не было случая, когда сестра-наставница пришла бы вот так к ней в аптеку. Да и сейчас могла бы не приходить. Известие о заболевшей послушнице легко можно было передать через прислугу.

— Да, кое-какие представления у него были.

— И какие же?

— Он придерживался того мнения, что болезнь связана с семина морборум.

— Семина морборум? Дурное семя? И что же, оно происходит из земли?

— Нет. Нет. Оно вокруг нас. В воздухе.

— Где? — интересуется Юмилиана, озираясь по сторонам с такой простодушной готовностью, что Зуана не видит и тени подвоха.

— Они бесплотны, а потому невидимы для глаза.

— Тогда откуда же они берутся?

— Просто существуют в природе, — говорит она и вдруг понимает, насколько серьезно больна сама.

— Так, значит, их Бог создал? В какой же день творения?

— Думаю, точный день неизвестен, — «Может, повязка на лоб, смоченная в уксусной воде с мятой, поможет». — В трудах самого великого святого Августина содержится та же мысль, — «Надо будет приготовить новую порцию, как только Юмилиана уйдет». — Видимо, я плохо объяснила.

Однако не похоже, чтобы сестра-наставница так уж спешила уходить.

— Ну, я всего лишь простая монахиня. Я не настолько... образованна в таких вещах, — произносит Юмилиана, а затем добавляет: — Но у меня есть свое мнение о том, почему подобное происходит. Конечно, оно не такое... новомодное, как твое.

И она улыбается, словно желая показать, что пришла сюда отнюдь не ссориться. Правда, каковы ее чувства на самом деле, сказать трудно, ведь, когда она улыбается, ее глаза прячутся в складках щек.

Зуана опирается о скамью.

— Ты уверена, что я тебя не отвлекаю? Я бы и не посмела, не будь благо общины под угрозой.

Зуана бросает взгляд на песочные часы, которые показывают, что ее рабочее время на исходе. Если сестра-наставница пришла сюда единственно для того, чтобы поспорить о месте Господа в медицине, то об этом они могли бы поговорить и на собрании. Они уже не раз пускались в подобные дебаты, к тому же на собрании у нее была бы своя аудитория, на которую она могла бы опереться.

— Нет. Ты меня несколько не отвлекаешь. Пожалуйста, мне очень хочется послушать.

Теперь Юмилиана подходит к ней ближе, словно хочет посвятить ее в какой-то секрет. Ее взгляд поверх головы Зуаны устремляется к флаконам и горшкам за ее спиной. «Мой хор лекарств», — думает Зуана, но тут же одергивает себя. Еще ни разу у сестры-наставницы не случалось надобности прибегнуть к ним. Что бы у нее ни болело, она никому об этом не говорит. Если это сила, то разве не выглядят страдания других слабостью рядом с ней? Взгляд Юмилианы снова

устремляется на нее. Ясно, здесь что-то происходит, и будет лучше, если она обратит на это внимание. Она пытается сосредоточиться.

— Сдается мне, что наш Господь создал эту заразу с особой целью и посылает ее тем людям и в те места, где Ему не поклоняются как следует.

Их лица теперь совсем рядом. «Если эти семена и впрямь обретают сейчас во мне силу, то следует быть осторожнее и не дышать прямо на нее», — думает Зуана. И отводит взгляд.

— Да. Что ж, это... это тоже может быть правдой.

— А! Значит, ты тоже это понимаешь?

— Что понимаю?

— Что Он думает о Санта-Катерине. О том, что происходит здесь — как меняется наша община.

— Меняется? Я... не уверена...

— В ту ночь, когда умерла сестра Имберзага, разве ты ничего не почувствовала? Не ощутила Его благословенного присутствия в комнате?

Конечно, кое-что она почувствовала.

— Я... я чувствовала Его великое сострадание, проявившееся в том, что Ему угодно было прекратить ее мучения.

— О да, разумеется. Но нечто большее. Разве ты не почувствовала, что, взяв к себе ее душу, Он дал нам знак своего отношения к Санта-Катерине? Показал, что такой доброй душе у Него будет лучше, чем здесь? — Тут Юмилиана делает шаг назад. — Ты была очень тронута в ту ночь, сестра Зуана, я видела. Я бы даже сказала, больше, чем за все годы, что я знаю тебя.

— Я была... Я... Да... — бормочет Зуана, не зная, что сказать.

Душа нежная, словно штука шелка. Так говорят о сестре-наставнице Санта-Катерины ее сторонницы. А другие добавляют: «И язык, острый, как зубочистка». Да, Зуане в ту ночь было больно, но не столько из-за того, что им открылось, сколько из-за того, что она так и не смогла ощутить. Неужели Господь и впрямь говорил с Юмилианой, но не с ней? Бесспорно, ее печаль скрывала глубокую радость. Бесспорно и то, что молодая монахиня была этого достойна... Но неужели сама Зуана настолько недостойна, что ничего не заметила?

Она чувствует, как молчание затягивается, как сама она обливается потом под неотрывным взглядом Юмилианы. «Мое дело

выращивать травы и облегчать страдания, — упрямо думает Зуана, — а не лезть в монастырскую политику». Будь здесь сейчас аббатиса, она бы знала, что сказать. В особенности о том, что касается блага общины. Но, похоже, говорить придется самой Зуане.

— В последние годы община увеличилась в числе. Думаю, что всякие перемены влекут за собой еще большие перемены.

— Но неизменным остается наш Господь Иисус Христос. Его любовь... Его жертва... А также наш долг перед Ним. Мы обязаны служить Ему с покорностью и смирением, не ища поддержки и похвалы у окружающего мира. Великие епископы в Тренте предостерегали против такой опасности. И все же оглянись вокруг, дорогая сестра. Не кажется ли тебе, что в своем стремлении к богатым приданым и славе мы все чаще принимаем молодых женщин, которые Бога любят меньше, чем себя?

А, так значит, все дело в молодых душах. Всем известно, что они причиняют ей немало огорчений в последнее время. Не говоря уже о недавней сложной задаче.

— Если ты говоришь о молодой послушнице Серафине... — начинает Зуана и замолкает, не зная, что, собственно, хотела сказать. — Я думаю... Я думаю, что с твоей помощью — и с помощью божественной музыки — она медленно, но верно находит свой путь.

— Вот как? Я в этом не уверена. По-моему, Господь взывает к ней, но она своим голосом затыкает себе уши, чтобы не слышать. А почему бы и нет? Нынче в Санта-Катерине больше заняты упражнением голосов для прибыли, чем для молитв. Возможно, ты этого не замечаешь, потому что не помнишь. А ведь когда-то этот монастырь славился своим благочестием. Послушницы чувствовали это во всем. Ангелы принимали в свои объятия сестру Агнезину на заутрене, а сестре Магдалене стоило только раскрыть в церкви ладони, как из ее ран начинала течь кровь. Но теперь она, всеми позабытая, заперта в келье, — говорит Юмилиана и, выдержав паузу, добавляет: — Но я уверена, что Он по-прежнему приходит к ней. Разве нет?

Ого! Значит, и сестра-наставница беззащитна перед сплетней. Хотя, конечно, сплетня ведь тоже разновидность заразы, думает Зуана: слова, однажды произнесенные, не нуждаются в повторении, но летят по воздуху, невидимые и бесплотные, обретая силу, стоит им попасть кому-нибудь на язык. Ей вдруг представляется мир, каким его, должно

быть, видят ангелы: бурлящий котел невидимой материи, смесь добра со злом. В какой же день было сотворено все это? Ей хочется, чтобы ее отец оказался тут и она могла бы задать ему этот вопрос. Однако речь сейчас совсем о другом. Речь о сестре Магдалене и ее возможной трансценденции. Полно, об этом ли они говорят? А может, святая сестра-наставница просто использует благо общины как наживку в надежде поймать более крупную рыбу? Однако такое коварство почему-то кажется недостойным ее.

Благодарение Богу, хотя бы сама Зуана от этого избавлена. Безусловное послушание — величайшая добродетель, на которую может претендовать монахиня. А указание аббатисы для нее — воля самого Господа.

— В последний раз, когда я была у нее, добрая сестра спокойно лежала в своей келье.

В ту же секунду во взгляде Юмилианы прорывается столь явное недоверие, что Зуана вздрагивает; более того, она поражена, видя слезы, которые начинают стекать по крутым склонам щек старшей монахини.

— О-о, я знаю, что у тебя добрая душа, сестра Зуана. Я вижу это по тому, как ты обращаешься с больными. Наш Господь Иисус Христос и сам был целителем, и ты получила от Него этот дар. Но я боюсь, что мы не сумели обучить твою душу обретать Его любовь через молитву. Как мне жаль, что ты не была моей послушницей...

— Я... я бы тоже этого хотела, — говорит Зуана, вдруг чувствуя, что эти слова будто вырвались прямо из ее сердца, которое горит теперь так же, как ее лоб. Может быть, ее даже слегка шатает.

— С тобой все в порядке, сестра?

— О да, я прекрасно себя чувствую. Я... Просто мне еще надо много сделать для помощи больным.

Юмилиана награждает ее серьезным взглядом, словно прикидывая, что еще она может ей сообщить. Слезы тем временем достигли глубоких морщин вокруг ее рта, по которым скатываются к усеянному крупными порами подбородку. Зуана сморит на них как зачарованная. Какая же она милая и какая безобразная. Если бы сестра Сколастика написала пьесу про рождение Христа, сестре-наставнице наверняка досталась бы в ней роль Елизаветы, чья высохшая старая утроба вдруг понесла по милости Господа...

«Хватит, хватит. Пора сосредоточиться», — думает Зуана.

— Я злоупотребляю твоим рабочим временем. Ты нужна Господу для других дел, — наконец произносит старшая монахиня, делает шаг назад, но не отводит взгляда. — Благодарю тебя за эту... этот разговор. Я всегда поминаю тебя в моих молитвах. Надеюсь, я не слишком... тебя побеспокоила.

— Нет. Вовсе нет. Я скоро приду к Анжелике.

Но Юмилиана лишь машет рукой.

— Не волнуйся. Я сообщу, если ты будешь нужна нам. Если молитвы не помогут. Да пребудет с тобой Господь, сестра Зуана. Ты дорога Ему, и Он пристально следит за каждым твоим шагом.

— И с тобой, сестра Юмилиана.

## Глава двадцать вторая

Оставшись одна, Зуана тут же смешивает уксусную воду с рутой, а потом берется за свежий коньяк и базилик. Несмотря на свою болезнь, она намерена все же завершить рабочий час.

Сколько же этого снадобья приготовила она здесь за все эти годы? Двенадцати-, тринадцатилетний запас? Сколько ей еще предстоит? Сколько ей вообще отпущено? Пятьдесят, пятьдесят пять? Есть, конечно, монахини, которые доживают и до таких лет. Даже до шестидесяти. Шестидесять лет... Время кажется ей имеющим вес. Она представляет себе весы, на одной чаше которых, точно мешки с солью, лежат годы, а на другой — добрые дела и молитвы. Возможно, когда обе чаши придут в полное равновесие, она будет готова. Но чем можно измерить добро? И разве всякое время весит одинаково? Вряд ли... Дни, проведенные за молитвой или самопожертвованием, наверняка весят больше, чем те, когда она просто поливает растения или извлекает из них соки. Возможно, суть вовсе не в равновесии, а в том, какая чаша окажется хоть немного тяжелее?

Зуана спрашивает себя, может быть, она знала это раньше, а теперь просто забыла оттого, что чувствует себя так странно? И все же мысль о том, что ее путь оказался таким долгим, не отпускает ее. Сестре Имберзаге едва сравнялось двадцать два, когда Господь призвал ее. Внешне она была такой же монахиней, как остальные, не хуже и не лучше. Так почему же именно ее? Если только сама ее обыкновенность не сделала ее избранной.

Избранная. Даже само это слово пахнет теперь падалью. В это верят еретики: в то, что Господь избрал одних, а не других; и что Его выбор перевесит и жизнь, полную добрых дел, и целую общину монахинь, молящихся за ту или иную душу. Конечно, за такие мысли они будут гореть в адском огне, однако ад уже, наверное, переполнен, ведь эпидемия продолжает распространяться, пересекая горы, моря и границы, беря штурмом деревни, университеты и города, захватывая даже знать и правителей, словно злое семя, летящее по воздуху. Не удивительно, что истинная церковь так боится за свою паству. Что сказала аббатиса? Они готовы даже запретить нам писать письма из



страха, как бы это не нарушило наш покой. Но разве такое возможно? Ведь такая изоляция наверняка породит новую лихорадку.

Едва закончив смешивать базилик с коньяком, она слышит чьи-то шаги, оборачивается и видит стоящую в дверях с пакетом в руке молоденькую прислужницу, чье имя никак не может запомнить.

— Я... Мадонна аббатиса прислала вам это.

Девушка нерешительно делает шаг в сторону. Она еще не привыкла к монастырю, и лазарет кажется ей очень странным местом, обиталищем сумасшедших старух, самой безумной среди которых оказывается неожиданно сама сестра-травница, вся красная, обливающаяся потом. Зуана протягивает руку, но девушка увертывается от нее, кладет пакет на рабочую скамью и тут же выходит, второпях задевая стол.

На пакете печать епископа, хотя и сломанная. Значит, аббатиса уже проверила его содержимое. Наверняка в нем какое-нибудь цветистое послание от его священства, в котором он благодарит достойных сестер за доброту и посылает им немного кошенили в награду за их благодеяние. Внутри, завернутый тряпочку, лежит маленький холщовый мешочек. Зуана кладет его на ладонь, торопливо прикидывая вес. Граммов десять, может, чуть больше. Вместе с тем, что ей удалось сэкономить, хватит и для кухни, и для аптеки. Она распускает завязки и подносит мешочек к носу. Он пахнет таинственно, как то, что произросло и было высушено при большой жаре очень далеко отсюда. Сколько же миль ему пришлось одолеть, чтобы попасть сюда? Очень осторожно она высыпает небольшое количество порошка себе на ладонь. Крохотные, темные, тускло-красные гранулы. Даже не подумаешь, что в них заключен столь яркий, пламенный цвет. Красное золото — вот как называют его люди. То небольшое, что ей о нем известно, она прочла в одной из отцовских книг: истории Новой Испании, написанной врачом, который побывал там в составе армии. Он рассказывал, что кошениль добывают из червячков, которые живут на кактусе, растущем в пустыне, в таких краях, где люди ничего не знают об Эдемском саде и никогда не слышали имени Иисуса Христа, но делают такую яркую краску, что ею можно нарисовать Его кровь, и она будет алой, будто пролитой за них только сейчас. В книге есть рисунок самого растения, нежного и колючего одновременно, но нет изображений людей, которые его

выращивают, так что ей приходится самой домысливать, какие они: голые, с разрисованной кожей, или с губами, выпирающими, словно тарелки, как она видела на картинке где-то еще.

Ее беспокоит то, что, допуская такие мысли, она грешит против скромности, и она принимается размышлять о том, как эти люди, мужчины и женщины, наверняка уже обрели Иисуса Христа с помощью отцов-миссионеров. Некоторые из них, как она слышала, сами вступили в церковь и стали монахами или монахинями. Так слава Господня приносит свет в самые темные места, в особенности такие, где природа создала совершенно иной спектр чудес. Что бы она дала, чтобы увидеть хотя бы некоторые из них своими глазами?

Ох! Это из-за болезни ее мысли вон куда убежали. Тем временем края гранул на ее ладони становятся влажными от пота, оставляя темный отпечаток на коже, а ее лоб, когда она проводит по нему другой рукой, оказывается горячим на ощупь.

«Я подумала, а что, если воспользоваться кошенилью?»

Конечно, и она об этом подумала. «Принимают от лихорадки». Так написано в заметках ее отца. Но, хотя она помнит, как он писал об этом средстве в теории, на практике он никогда не держал его в руках и не оставил никаких замеров, вот поэтому она и не знает, сколько будет слишком много и что это будет означать при приеме внутрь.

Она прекрасно знает, что сделал бы ее отец, будь у него такая возможность. «Единственное, о чем надлежит помнить, проводя такие эксперименты, — это что лучше ошибиться из-за избытка осторожности, а также не забывать записывать каждый шаг, чтобы йотом, оглянувшись назад, с уверенностью проследить весь путь».

Ей кажется, будто голос звучит возле самого ее уха, и она поворачивает голову, чтобы посмотреть, где он, но от поспешного движения все плывет у нее перед глазами. «Я больна сильнее, чем думаю, — говорит она сама себе. — Надо быть осторожнее».

Медленно двигаясь, Зуана открывает тетрадь на новой странице, пишет новое заглавие, ставит время и число, потом откладывает несколько гранул в глиняную миску, а остальное заворачивает в пакет, который кладет в ящик стола, чтобы отдать потом сестре Федерике. Затем отмеривает некоторое количество горячей воды и заливает ею свои гранулы, попутно отмечая пропорцию в тетради. Получившаяся жидкость слишком темна, чтобы различить глубину цвета,

соответствующую этой пропорции. Она думает, что, наверное, это означает слишком большую концентрацию, но рабочий час почти на исходе, и если она хочет успеть попробовать снадобье, то лучше сделать это прямо сейчас. Однако ей и в голову не приходит, что в таком состоянии, как сейчас, она вряд ли может решить, не повредит ли это ей самой.

Она делает несколько небольших глотков. Вода такая горячая, что за ней почти не чувствуется горечь снадобья. Вдруг полки напротив кажутся ей странными — как будто на них что-то не так стоит или отсутствует, только она не может понять, что именно. Кружится голова. Допивая остатки, она думает, покрасит ли снадобье ее губы, как те марципановые ягоды, или нет, и если да, то что подумает о ее невесте откуда взявшемся тщеславии сестра Юмилиана, сидящая напротив нее во время дневной службы.

Поскольку в последние дни болезнь поразила многих сестер хора, то отсутствие Зуаны в часовне замечают не сразу. Только когда все собрались и служба началась, аббатиса, пересчитывая свою паству, отмечает возвращение сестры Избеты, которая еще бледна, но явно чувствует себя лучше, и, высматривая сестру-травницу, чтобы безмолвно поздравить ее с выздоровлением пациентки, обнаруживает, что той нигде нет.

Серафина на своем месте среди сладкоголосых и юных сестер хора замечает ее отсутствие еще позднее, так как сегодня ее мысли заняты попеременно то пением, то решением проблемы: как пробраться в келью старшей прислужницы. Но, едва увидев пустое место в конце второго ряда, она сразу понимает, что произошло. Исподтишка она начинает озираться: кто еще заметил? Но аббатиса не сводит глаз с распятия и, кажется, позабыла даже о своей пастве.

Когда служба заканчивается, Серафина вместе с остальными выходит из часовни во двор, где задерживается, дожидаясь, пока все разойдутся по кельям. Полуденная служба заканчивается часом уединенных молитв. Не годится, чтобы, учитывая ее недавно обретенную покорность, ее уличили в несоблюдении правил именно сейчас. Но, среди всего прочего, она обязана Зуане тем, что та не выдала ее в таком деле, за которое, если бы оно раскрылось, ее немедленно посадили бы под замок на хлеб и воду. В общем, если

сестра-травница заболела, то лучше, чтобы об этом стало известно как можно скорее.

В лазарете сестра Клеменция крепко спит, периодически оглашая комнату храпом. Она не просыпается, даже когда несколько мгновений спустя в лазарет входит аббатиса и, торопливо стуча туфлями по каменному полу, проходит меж кроватей.

Когда мадонна Чиара распахивает аптечную дверь, ее взору предстает картина, которая заставляет ее забыть даже о том, что она обязана наказывать любые отступления от правил, совершенные ее подопечными. Посреди комнаты послушница Серафина стоит на коленях рядом с лежащим на полу телом сестры-травницы, изо рта которой каплями стекает кровь.

## Глава двадцать третья

Ненадолго ощущение времени меняется, оно, которое раньше было плотным, теперь стало жидким и потекло для одних быстрее, чем для других. И быстрее всего оно течет для Серафины, так что в иные мгновения ей кажется, будто сам Бог принял участие в ней, так быстро и легко она одолевает все стремнины, несется вдаль, заранее предугадывая подводные камни и обходя их, и, как бы ни дрожал и ни кренился мир вокруг нее, не сводит глаз с горизонта впереди.

— Что случилось? — Голос аббатисы потерял свою обычную бархатную мягкость. — Сестра Зуана... ты меня слышишь?

— Она без сознания. У нее лихорадка.

— Но кровь... Посмотри на кровь.

— Я... я думаю, это рвота.

— Наверное, у нее рана внутри. — Рука аббатисы прикасается к лицу Зуаны, и ее пальцы покрывает что-то похожее на невозможно яркую кровь. — Надо положить ее в постель. Помогите мне.

Но Серафина разглядывает свою ладонь, также испачканную там, где она коснулась ею лужи на полу. Она торопливо встает и направляется к столу. Ничто не укрывается от ее внимания: лежащий на боку пустой флакон (значит, у нее все же есть запас!), рядом глиняная чашка с остатками какой-то темной жидкости. И тут же открытая тетрадь. Последняя запись отмечает время: полчаса до шестого часа, потом какие-то цифры, но почерк такой мелкий, что не разобрать. Она окунает в чашку чистый палец. Он становится ярко-малиновым. Она подносит его к языку, морщится от горечи, потом снова глядит на Зуану, лежащую посреди красного пятна. Если не знать, то и впрямь подумаешь, будто она умирает в луже собственной крови.

— Что ты делаешь, девочка? Или помоги мне, или позови прислужницу.

Серафина представляет себе, что будет, если она повернется сейчас к аббатисе, широко открыв рот и по-змеиному шевеля ярко-красным языком. Вместо этого она спешит к раковине, находит чистую тряпку и окунает ее в миску с уксусной водой с мятой, которую,

должно быть, смешивала Зуана, когда ей стало дурно. Вернувшись к Зуане, она кладет смоченную ткань ей на лоб.

— Ты с ума сошла? — Мадонна Чиара выхватывает у нее тряпку. — Что с этого проку. Она истекает кровью.

— Нет, мадонна аббатиса, мне кажется, нет, — произносит она, думая о том, как спокойно звучит ее голос в сравнении с голосом начальницы. — По-моему, она просто проглотила несколько гранул, и они плохо повлияли на ее расстроенный желудок.

— Что за гранулы?

— Кошениль. Это лекарство из краски епископа. Она рассказывала мне о том, что оно может помочь унять лихорадку. Смотрите — вот чем у нее вымазаны губы.

Теперь аббатиса понимает, в чем дело, и вспоминает, как она, спрятав записку епископа в кожаный грессбух, где у нее хранятся все свидетельства хорошего отношения покровителей к монастырю, отослала конверт Зуане, зная, что та его ждет.

— О! Так она попробовала на себе новое лекарство, — говорит аббатиса, ибо кому, как не ей, лучше других знать привычки сестры-травницы. — А как скоро действует это лекарство и к чему оно может привести?

— Неизвестно, хотя я думаю, она знала, иначе не стала бы... — Голос ее прерывается. — Но лихорадка у нее еще есть, так что уксус с мятой могут помочь.

Аббатиса отнимает руку от лица Зуаны. Девушка права. Сестра-травница горячая, но вид у нее абсолютно спокойный, не похоже на человека, который только что отрыгнул свои внутренности. Чиара берет себя в руки, выдержка возвращается к ней.

— Будем надеяться, что ты не ошиблась. Пойди и позови прислужницу, мы должны перенести ее в келью.

Теперь, когда она снова стала хозяйкой положения, перечить ей нельзя. Серафина покорно поднимается с пола.

— А когда вернешься, то первым делом расскажешь мне о том, что ты делала в аптеке.

Но Серафину не так легко смутить.

— Я пришла, чтобы вернуть сестре Зуане книгу с рецептами снадобий, которую она дала мне почитать и которая может понадобиться ей сейчас, — говорит она, показывая на тетрадь,

лежащую на рабочем столе так открыто, словно ее только что туда положили.

Обходя лежащую без сознания Зуану, Серафина хватает тетрадь и быстро сует ее на полку.

Во дворе второй галереи изрыгает пар прачечная, но внутри трудится лишь одна прислужница, и та старая и скрюченная, как сухое дерево, она мокрую простыню-то с трудом поднимает, где уж ей поднять увесистую монахиню. На кухне Серафина обнаруживает Летицию, проливающую слезы над горой резаного лука. Сестра Федерика едва не воеет, поняв, что у нее сейчас заберут помощницу, однако, услышав причину, соглашается.

— Господь всемогущий, ну и денек! Сначала старшая прислужница, теперь сестра Зуана. Если так и дальше пойдет, то скоро я буду готовить для общины покойниц.

— Не волнуйся. Мы их обеих скоро вылечим.

И столько уверенности — даже радости — звучит в голосе послушницы, когда она обещает ей это, что Федерика дивится преображению, произошедшему с девушкой за последние недели, и думает, что, возможно, перестаралась, добавляя золы в ее покаянную трапезу.

Пока две молодые женщины стремительно пересекают двор, направляясь в главную галерею, Летиция бросает на Серафину взгляды, полные неприкрытого любопытства.

— Что такое? Чего ты уставилась?

— Ничего.

— Ну так не пяль зенки.

Вернувшись в аптеку, они поднимают Зуану с пола и переносят в лазарет. Первое намерение было нести ее в келью, но по пути Серафина предлагает:

— Мадонна аббатиса, а может, лучше положить ее здесь на кровать? Тогда тот, кто будет заниматься делами лазарета, сможет заодно приглядывать и за ней. А она, когда очнется, будет наставлять и помогать. Вряд ли она захочет разлучаться со своими пациентками.

То ли потому, что в этой идее есть смысл, то ли потому, что монахиня уж очень тяжелая, — знание, должно быть, утяжеляет плоть,

думает Серафина, пока они с трудом отрывают Зуану от пола, — аббатиса соглашается.

Они кладут ее на ближайшую кровать, опустевшую после смерти Имберзаги.

Когда аббатиса возвращается в аптеку, Летиция пытается приглядеть за Зуаной, но Серафина отталкивает ее, набрасывает на неподвижную сестру тонкое покрывало и протирает ей влажной тряпочкой лоб.

— О Мария, Матерь Божия! Что здесь происходит? — В дверях, точно порыв злого ветра, возникает вдруг сестра-наставница. — Послушница Серафина, тебе положено быть у себя и молиться. Это... — Тут она замечает Зуану, лежащую на кровати, и аббатису, выходящую из аптеки.

— Не беспокойся, сестра Юмилиана. — Голос мадонны Чиары ясно дает понять, что ситуация находится под контролем. — Сестра Зуана заболела, а послушница помогает, так как ей известна причина ее болезни.

Однако теперь сестра-наставница сверлит взглядом обеих, своим неприкрытым неодобрением показывая, что монастырю, который осаждают такие беды, помощью одной непокорной послушницы не обойтись. «Ах, — с торжеством думает Серафина, — то ли еще будет».

Немного погодя Летиция рискует нарушить молчание вопросом о том, можно ли ей уйти.

— Сестре Федерике некому больше помочь. Она с меня шкуру спустит, если я задержусь здесь.

— Надеюсь, что она все же не станет прибегать к столь жестокому наказанию. — Теперь, когда кризис миновал, к аббатисе возвращается ее обычная любезность. — Можешь идти. Скажи, как себя чувствует главная прислужница?

— Очень плохо, — качает головой девушка. — Сестра Зуана говорила, что зайдет к ней позже.

— Ах, мы в полной осаде. — Голос сестры-наставницы исполнен муки.

Летиция шмыгает за дверь, как раз когда сестра Юмилиана падает на колени перед кроватью.

— О Господи Иисусе, в час тьмы помоги нам и облегчи страдания сестры, которая трудится во имя Твое.



Юмилиана склоняет голову и погружается в молитву, словно показывая, что в час испытаний это и есть единственная работа, которую надлежит делать. Серафина мешкает, но в следующий миг тоже опускается рядом с ней на колени и, закрыв глаза, молится молча, но так истово, что ей самой становится страшно, как бы слова не вырвались из нее против ее воли. «Пожалуйста, Господи, пожалуйста, Господи, помоги и мне тоже...»

На время все погружается в тишину. Непонятно, молится аббатиса или нет, но, когда она начинает говорить, ее голос звучит на удивление спокойно.

— По-моему, довольно. Серафина, ты можешь идти к себе.

Девушка встает и, держа глаза долу, кротко спрашивает:

— Мадонна аббатиса, можно мне сказать?

— Хорошо, говори.

— Я хочу предложить свою помощь в лазарете. Выхаживать больных.

Она скорее чувствует, чем слышит, как возмущенно цокает сестранаставница за ее спиной. Нелегко угождать двум таким разным начальницам сразу, но придется. Если события последних месяцев и научили ее чему-то, то лишь тому, что жеманство и притворство ее сестры принесли той больше радости, чем естественная независимость, выказанная ею самой.

— Я могу помочь. Сестра Зуана рассказывала мне, чем лечить лихорадку... Конечно, я знаю, что недостойна... что я вела себя глубоко себялюбиво... — Тут она переводит взгляд на сестранаставницу. — Об этом я глубоко сожалею. Я... Я даже боялась, что, может быть, Санта-Катерина поплатилась за мое дурное поведение, и я...

— Не говори глупостей, девочка, — резко перебивает ее мадонна Чиара, но Серафина успевает заметить впечатление, которое ее речь производит на Юмилиану. — Половина города больна, а у нашего Господа есть дела поважнее, чем обращать внимание на раздувающуюся от гордости послушницу. Если хочешь исправить причиненное зло, делай это в хоре.

Но мучения Серафины кажутся столь неподдельными, что даже аббатиса удивлена.

— Мадонна аббатиса. — Голос Юмилианы раздается из-за ее плеча, негромкий, но твердый. — Можно мне переговорить с вами?

Наступает короткая пауза. Серафина стоит, не поднимая глаз. Никто не должен думать, будто она как-то повлияла на решение, и потому по первому слову аббатисы она поднимается с колен и поспешно выходит из комнаты.

Она не отходит от двери, из-за которой доносятся голоса, но слов разобрать не может. Ей становится интересно, что сказала бы Зуана, будь она с ними сейчас. Поверила бы ей или нет? Она слышит шаги и пятится от двери в тот самый миг, когда ее распахивает сестра-наставница. Однако по ее лицу прочесть ничего не возможно.

Вернувшись в комнату, Серафина стоит перед аббатисой, потупившись.

— Сейчас ты пойдешь к себе и проведешь остаток часа в молитве.

— Да, матушка аббатиса, — с безупречной кротостью отвечает она.

— Если общине понадобится твоя помощь, мы позовем тебя позже.

— Благодарю.

«И тебя тоже благодарю, сестра Юмилиана», — добавляет Серафина про себя. Лучше она бы и сама не спланировала: ведь теперь, прежде чем запустить руки под чужой матрас, у нее будет возможность достать кое-что из своего собственного.

— Сестра Юмилиана, — говорит она тихо, — разрешите ли вы мне прийти к вам за наставлением сегодня? Я так в нем нуждаюсь.

## Глава двадцать четвертая

Однако случается так, что, готовясь облегчать страдания других, Серафима оказывается перед лицом страданий самого Христа.

Старая монахиня и юная послушница встречаются в полдень в часовне, где висит большое распятие. Снаружи для этого времени года почти тепло, однако внутри по-прежнему холодно и сыро, как в склепе. Юмилиана, ни на секунду не сводя глаз с лица девушки, сотрясает промозглый воздух, со страстью объясняя, почему боли всего мира ничто по сравнению с болью Иисуса Христа, как каждая пролитая им капля крови омыла землю, уничтожив всю скверну человеческую, и как Его жертва подарила нам новую жизнь, несмотря на все наши грехи.

Затем, дабы усилить впечатление, она дает послушнице прочесть отрывок из святой Екатерины Сиенской. Это умный ход, поскольку Екатерина тоже была в некотором роде бунтаркой, чья пылкая любовь к Христу пошла вразрез с планами родителей выдать ее замуж. Только ее непослушание, как показывает отрывок, было щедро вознаграждено: проведя годы в постах и молитвах, она узрела Господа, которому угодно было сойти к ней и позволить поцеловать Его раны, в том числе и рану в боку, откуда кровь текла, словно молоко, и, приложившись к ней губами, она почувствовала, как любовь переполнила ее, точно копьё вошло в ее собственную плоть.

Серафима читает хорошо, а сестра-наставница слушает внимательно, и радость, словно пот, проступает сквозь поры ее лица, как будто чудо происходит с ней самой, прямо здесь и сейчас. Слова святой сильны и столь проникновенны, что действуют даже на девушку, и та на мгновение забывает и о спрятанной под рубашкой подушечке из воска, и о белых камнях на траве, отмечающих путь к тому месту, откуда она, сделав слепок с ключей старшей прислужницы, перебросит сверток ему через стену.

Позже, когда вся община собирается на ужин, а ее призывает к себе аббатиса и вместо трапезы отправляет проверить состояние старшей прислужницы, она сама удивляется своему спокойствию. Невозмутимость не покидает ее и тогда, когда она входит в крохотную сырую келью, зажатую в углу второй галереи и пропахшую потом и

застарелой менструальной кровью, где ее глазам предстает лежащая женщина с руками толстыми, точно говяжьих окорока, и раздутым от лихорадки лицом. Очень кстати, что пациентка почти без сознания, ибо это позволяет Серафине, склонившейся над ней для того, чтобы послушать дыхание, легко просунуть руку под матрас и нащупать там толстый железный стержень, а затем и зубчатую бородку ключа. Однако нельзя забывать об осторожности, ведь рядом стоит прислужница Летиция, посланная с ней в качестве помощницы, а заодно, вне всякого сомнения, и шпионки, чтобы потом доложить обо всем.

Серафина вытаскивает из-под матраса руку и берется за запястье женщины, пытаясь среди складок жира нащупать пульс. Она не имеет понятия о том, насколько та больна, но пахнет от старшей прислужницы так, словно она уже при смерти, а в уголках ее рта засохли клочки пены.

— Надо дать ей коньяка с базиликом, — говорит Серафина, поворачиваясь к Летиции. — В аптеке на столе есть бутылка. Сестра Зуана приготовила ее прежде, чем ей самой стало плохо. Можешь принести ее сюда?

Сначала Летиция не хочет и слышать об этом. Сиделка она, может, и неплохая, но, получив каплю власти, добром с ней не расстанется.

— Я должна все время быть рядом с вами. Так аббатиса сказала. К тому же я не знаю, о какой бутылке речь.

— Ты ее по запаху узнаешь. Посмотри на нее. Видишь, как ей плохо? Если мы хотим ей помочь, то без этой бутылки не обойтись. Так что отправляйся. Сейчас же, — командует она, копируя интонацию Зуаны, с которой та говорила в келье безумной Магдалены. — Если, конечно, не хочешь, чтобы все узнали, что это по твоей вине она умерла.

Девушка еще раздумывает, но потом поворачивается и уходит.

В ее отсутствие все происходит быстро. Ключи большие и тяжелые, и в какой-то момент Серафине становится страшно, что они не поместятся на ее восковой подушечке. Ею даже овладевает внезапное желание сунуть их под одежду и бежать. Рабочий день окончен, раньше завтрашнего утра их вряд ли кто хватится. Но если она возьмет их сейчас, то ей придется воспользоваться ими ночью. А это расходится с их планом, к тому же она ничего не сможет ему

передать, а если и сможет, то он не успеет ничего устроить. Нет, если бы уходить пришлось сегодня, то пришлось бы все сделать одной, но, представив, как она отпирает и запирает за собой обе двери, а потом в полном одиночестве стоит на пристани, вглядываясь в чернильный мрак реки, она понимает, что это выше ее сил; даже ее храбрость имеет свои пределы.

Основанием ладони она равномерно вдавливая ключи в воск. Они входят довольно глубоко, а это значит, что извлечь их, не попортив отпечатка, не просто. Ей нельзя спешить, но и мешкать тоже некогда. Она едва успевает сунуть ключи обратно, завернуть в обрывок шелковой юбки восковую подушку и спрятать ее под платье, когда шаги Летиции раздаются за ее спиной.

Вместе они приподнимают голову женщины и вливают ей в рот необходимую дозу лекарства. Но и после этого та кажется скорее мертвой, чем живой. Зато, по крайней мере, Серафине не понадобился маковый сироп.

— Вот и все, что мы можем сделать для нее пока, теперь пусть спит.

Серафина встает и чувствует, как сверток соскальзывает меж ее грудей вниз, так что ей приходится приложить руку к животу, чтобы не дать ему выпасть. Она боится, как бы Летиция не заметила ее жест, но девушка все еще стоит на коленях рядом с больной и, разглаживая и подтыкая грубые простыни, так глубоко просовывает руку под матрас, что наверняка чувствует пальцами ключи; можно подумать, проверять их сохранность — тоже часть ее работы. Она поднимает глаза на Серафину, и на секунду их взгляды встречаются. О да, коварство здесь повсюду. Как она правильно поступила, что не поддавалась искушению.

И все же девчонка что-то видела, не зря же она то и дело окидывает ее быстрым цепким взглядом, пока они идут через поросший травой двор к главной галерее.

— В чем дело? Я ведь запретила тебе смотреть на меня так.

— Ни в чем, — пожимает плечами девушка, потом смущенно смотрит на нее опять. — Просто мне интересно, что она в тебе увидела.

— Кто «она»? О чем ты?

Летиция поджимает губы, как будто знает, что не должна болтать, но соблазн посплетничать, а может, и отомстить оказывается сильнее.

— Сестра Магдалена. Она все время о тебе только и спрашивает...

— Что?

— Она думает, что я — это ты... Каждый раз, когда я приношу ей поесть или прихожу, чтобы вылить ведро, начинается: «Серафина. Серафина, это ты? Ты пришла? Я знала, что еще увижу тебя». — Летиция произносит эти слова высоким дрожащим голосом.

— Она называет меня по имени? — спрашивает Серафина, чувствуя, как в ее животе внезапно открывается пустота, словно выцарапанная ножом.

— Ну да, хотя я понятия не имею, откуда она его знает, ведь я, как перед Богом, никогда ей не говорила.

— Что еще она говорит?

Девушка опять пожимает плечами, но на дальнейшие откровения у нее нет времени, так как они вернулись в главную галерею, полную молчаливых сестер, расходящихся из трапезной по своим кельям на отдых или молитву. Склонив голову, Летиция исчезает там, откуда пришла, а Серафина в одиночестве пытается осмыслить услышанное. Она снова вспоминает слезящиеся, немигающие глаза и безумную, застывшую улыбку. Неужели Христос и сестре Магдалене позволял целовать свои раны? Ощущать вкус его крови, впивать силу его исцеляющей любви? Не удивительно, что у нее такая сильная хватка. Бррр! Нет-нет, не надо думать об этом сейчас. Какое ей дело до этой старухи? Скоро она отсюда выберется и оставит все это священное безумие позади. А пока надо еще немного поиграть в покорную послушницу.

Она смешивается с толпой, обгоняя одну за другой молчаливые фигуры. В такие дни, как сегодня, когда туман смешивается с сумерками, они напоминают сборище призраков, а шелест их юбок и перестук подошв звучат, словно потусторонний разговор. Серафина поднимает голову и видит лицо сестры Аполлонии, проплывающей мимо в тумане. Их глаза встречаются, и она, как положено, опускает взгляд, но Аполлония все смотрит, как будто увидела что-то интересное. В час рекреации эта самая светская из монахинь хора держит в своей келье собственный двор, где равнодушные к моде сестры играют музыку и рассказывают истории за стаканом вина, и даже угощаются лакомствами с кухни. Послушниц туда не пускают, но

те скоро становятся полноправными членами общины, а потому Аполлония внимательно приглядывается к новому поколению бунтарок.

Серафина проходит мимо входа в лазарет. Она не видела сестру Зуану с утра, с тех пор как побывала у нее после церкви. Восковую печать надо, конечно, спрятать, но если она поторопится, то успеет навестить Зуану сейчас. А заодно, может статься, и вернуть на полку сироп. Ведь из кельи теперь нельзя будет выходить до последней молитвы.

Войдя, она с удивлением обнаруживает, что сестра-травница не только пришла в себя, но и сидит в постели, тяжело привалившись головой к стене. С улыбкой, нет, с тихим смехом девушка устремляется к ней.

— Как ты?

Зуана смотрит на нее, точно не понимает.

— Серафина? Я... Что ты тут делаешь?

— Я... Аббатиса распорядилась. Я... Мы боялись за тебя.

— Что случилось? Я что, упала в обморок?

— По-моему, да.

На почти сером лице Зуаны ярко алеют губы. «Знак не божественной любви, но собственных экспериментов», — думает Серафина, поправляя ее покрывало.

Сидение в постели, кажется, отняло у нее все силы.

— Это была кошениль, — говорит Зуана устало.

— Да. Тебя вырвало, пол был залит ею. Мы подумали, что ты истекаешь кровью. Все очень волновались. Жар у тебя был страшный.

Зуана качает головой.

— Я... помню, как выпила ее, а потом почувствовала себя очень плохо.

Серафина колеблется, потом нерешительно протягивает руку и кладет ее Зуане на лоб, сначала тыльной стороной, затем ладонью, как та делала при ней с пациентами.

— О! — восклицает Серафина, отнимая руку, потом щупает снова, точно не верит. — Да ты холодная! Лихорадка прошла.

Зуана хмурится, трогает свой лоб, затем находит на руке пульс и на несколько секунд застывает.

— Похоже, так оно и есть.

— Но почему? Вряд ли это от кошенили. Тебя же ею вырвало.

— Ты говорила, что она была на полу. А если судить по запаху, побывала она у меня в желудке?

— Я... э-э... не знаю. Запах был... — пытается вспомнить Серафина. — Вроде мускуса? В чашке немного осталось. Так я и поняла, что это такое.

— Я не все выпила. Падая, я, должно быть, выплюнула то, что не успела проглотить. Ты мне еще что-нибудь давала?

— Нет-нет... Только приложила ко лбу мяту с уксусом. Я боялась давать тебе что-нибудь, вдруг бы тебя опять стошнило.

— Который сейчас час?

— Час до последней молитвы.

— А день какой? — спрашивает Зуана нетерпеливо.

— О, пока тот же.

— Значит, шесть часов. Лекарство действует шесть часов. Надо записать, — решает Зуана, пытаюсь встать.

— Нет! Ты же еще больна.

— Не настолько, — замечает Зуана, продолжая двигаться.

— Подожди. Я принесу тебе книгу, — произносит Серафина, поднимаясь, но не уходит. — Мне можно войти без тебя в аптеку?

Зуана снова откидывается на стену и слабо улыбается.

— Кажется, ты там и так уже побывала.

— О, только с аб... — Она умолкает. Нет, это не правда. Она пришла туда раньше аббатисы. Но сейчас ей не хочется привлекать к этому внимание.

В аптеке Серафина бросает взгляд на пятно на полу и чувствует — что? — кажется, радость? Да, радость. Сестре Зуане полегчало. Она не умрет. Неужели она и впрямь так о ней беспокоилась? Похоже, в глубине души да.

Но сейчас ей не до того. Она достает из складок платья бутылку с сиропом и быстро отливает немного в приготовленный пустой пузырек, а остальное возвращает на полку. Теперь все сосуды стоят на своих местах. Маковая настойка отсутствовала двадцать четыре часа. Остается надеяться, что ее не успели хватиться. А сейчас надо возвращаться в келью, ведь колокол уже звонит на молитву, и монастырь скоро опустеет.



— Как дела в общине? — спрашивает Зуана, когда она возвращается с книгой. — Что со старшей прислужницей?

— У нее сильный жар. Я дала ей немного коньяка с базиликом недавно.

— Ты?

— Я же тебе говорила. Мне было дано распоряжение помогать. Сестра-наставница сказала, что мне это полезно.

Зуана глядит на нее во все глаза.

— Да-а... из тебя еще выйдет сестра-травница.

Но Серафина так погрязла в обмане, что комплимент уже не радует ее.

— Санта-Катерина не нуждается в другой целительнице, — спокойно отвечает она. — У нее есть ты, — произносит Серафина, чувствуя, как восковая подушка все больше нагревается у нее на груди, и от страха, что отпечаток может потерять четкость, ей становится еще хуже.

Зуана снова пытается встать с постели.

— Дай-ка мне книгу. Я сделаю запись, а ты пока приготовишь другой состав.

— Я... Мне надо идти. Колокол звонит.

— Это недолго, всего несколько минут, а я объясню аббатисе, почему ты задержалась. Ну, помоги же мне встать, пока Клеменция не сообразила, что у нее теперь новая компаньонка.

Позже, когда сестра Зуана приходит на общую молитву, слабая, но все же на своих ногах, община в изумлении, ведь все уже слышали, что ее нашли полумертвой на полу аптеки, где она лежала, истекая кровью. Не будь всякие разговоры запрещены, ее наверняка поздравляли бы с выздоровлением, а также удивлялись бы, как при таком бледном лице можно иметь такие пышущие здоровьем губы. А так лишь Федерика смотрит на нее с некоторым подозрением, но ей уже не терпится приняться за изготовление марципановых фруктов, а потому клубничный цвет мерещится ей везде.

Остальные изливают свою благодарность в словах службы, ибо последний час, который означает конец дня и начало Великого Молчания ночи, начинается с покаяния, но потом движется к радости. Даже сестра Юмилиана кажется спокойной и почти счастливой, а

прежде непокорная послушница Серафима, которая, как поговаривают, получила особое распоряжение ухаживать за своей бывшей наставницей, чистейшим голосом возносит начальные слова двадцать девятого псалма: «Ты превратил скорбь в ликование, совлек с меня власяницу и препоясал меня радостью. О, мой Господь, я буду благодарить Тебя вечно». Те сестры — а их не так уж мало, — которых ее внезапное преображение настораживает не меньше, чем раньше раздражаю ее откровенное бунтарство, неожиданно для себя возносят дополнительную благодарность за то, что община обрела свое прежнее равновесие. И что теперь ничего не помешает встретить карнавал со всеми его удовольствиями и развлечениями.

Аббатиса, как всегда, непогрешимая в своей строгости и отказе от фаворитизма, дожидается конца службы, чтобы выразить восхищение сестре-травнице, задержавшись рядом с ней и кивком головы приветствуя ее возвращение в общину. Тех, кто оказывается поблизости в момент этой встречи, поражает теплота во взгляде мадонны Чиары, не говоря уже о легчайшем кивке, адресованном ею юной Серафиме, которая от неожиданности заливается под вуалью глубочайшим румянцем.

Три часа спустя, когда община погружается в глубокий сон, та же юная послушница выскальзывает из своей кельи, пряча под платьем сверток. Вскоре изумительной красоты мужской тенор, спускающийся по улице к реке, доносится через стену. Он поет о юной любви и о женщине с волосами, словно золото, — стихи Петрарки, положенные на запоминающуюся мелодию. Когда песня заканчивается, ей отвечает другой голос, скорее женский, чем мужской, он держит одну высокую, вибрирующую ноту, пока глухой удар чего-то тяжелого о землю по ту сторону стены не прерывает ее.

Через три дня та же процедура повторяется в обратном порядке. В ту ночь Серафиме особенно везет. В канун карнавала ночная сестра поменяла время своих обходов, и послушница едва успевает закрыться в своей келье, как в коридоре раздаются ее гулкие шаги.

Полностью одетая, девушка лежит на постели, прижимая тяжелый сверток к бьющемуся сердцу, и слушает, как шаги останавливаются у ее двери, медлят, а потом двигаются дальше. В темноте, когда все снова стихает, она разворачивает пакет и ощупывает два тяжелых, недавно выкованных ключа, обернутых письмом.

Теперь они ничем не могут ей повредить. Она готова. Остается только ждать.

## Глава двадцать пятая

Встав на ноги, Зуана менее чем за неделю пресекает дальнейшее распространение болезни. У больных лихорадка постепенно угасает естественным путем (в городе вспышка заболевания уже идет на убыль), а главная прислужница, у которой жар держится дольше, три дня спустя выходит из своей кельи с порозовевшими губами и новыми силами; счастливый исход, поскольку ее визиты в складское помещение становятся еще более частыми.

Репетиции пьесы входят в заключительную стадию. Персеверанца в своей келье в совершенстве выучивает слова, соседки слышат, как она повторяет их даже в болезненном забытьи. В трапезную теперь можно попасть только во время приема пищи, в остальные часы там орудуют плотники, сооружающие сцену и декорации. На три дня звуки пилы и молотка становятся непременным аккомпанементом труда и молитвы в общине, а присутствие мужчин, хотя и незримое, добавляет пикантности ее жизни, послушниц и пансионеров теперь никуда не отпускают одних. Есть одна история, так часто повторяемая, что она наверняка должна быть апокрифом, о том, как одна особенно прекрасная будущая обительница монастыря в Прато провела внутрь своего любовника, переодетого рабочим, который чинил скамьи в церкви, а под конец своего пребывания вынес ее наружу в огромном мешке с инструментами. От одной мысли об этом монашки помоложе от возбуждения падают в обморок — но ведь сейчас карнавал, в конце концов, а когда тело находится в заключении, уму особенно хочется поиграть.

Снаружи город тоже приходит в движение. Семейные визиты в парлаторио свидетельствуют о новой волне приезжих: люди стекаются из Мантуи, Падуи, Болоньи, Венеции; некоторые прибывают даже из самого Рима. У Феррары репутация зажиточного города, где умеют петь и веселиться. Говорят, что, проходя мимо дворца, можно слышать, как трубят слоны, привезенные специально ради свадебного пира семейства д'Эсте и оставленные на карнавал. Герцогский сад преобразился в одну огромную декорацию, освещенную тысячами свечей, с гротами, храмами и даже огромной пирамидой, и все ради замысловатой игры, в которой рыцари будут завоевывать руку своих

дам, сражаясь с драконами и разгадывая загадки, но поскольку победить должен, конечно же, герцог, ходят слухи, будто загадки подбирали специально, дабы они соответствовали его не слишком широким познаниям.

Тем временем на улицах вокруг монастыря разыгрываются сцены невоздержанности и дебоширства. По всему городу молодые люди примеряют карнавальные маски, и разве можно, спрятав лицо, усидеть дома? Нарушение мира и покоя горожан в дни карнавала давно уже стало признанной частью праздника. Нарушать покой монахинь — дело куда более серьезное, преступление как против Бога, так и против самих женщин, но и тут во имя хорошего настроения допускаются кое-какие вольности. И вот уже через стену летит из пращи послание, которое ночная сестра подберет после первой молитвы: свернутые в ком бумажные листы, исписанные мадригалами и плохими стихами. Мадонна Чиара вздыхает, пробегая листки глазами, и скармливает их огню. Как они предсказуемы: сплошь неувядающая, точно вечнозеленый лавр, безответная любовь к дамам, чья добродетель столь строга, что от нее стынет солнце, да парочка непристойных стишков, предлагающих земное блаженство тем, у кого хватит ума его вообразить.

Всякая аббатиса, не зря занимающая свое место, не раз видела подобное. Большинство мужчин тянет к запретному, и, по правде говоря, не одним еретикам нравятся истории про распутных монахинь, которые, словно дурные исповедники, грешат и каются в один и тот же миг. «В этом году, — думает она, — урожай скромнее предыдущего». Да, в ее время городские поэты были и остроумнее, и плодовитее. Или она, как сестра Юмилиана, просто тоскует по былому?

Когда большая ежегодная процессия ряженных выходит на улицы города, все жители высыпают поглядеть на нее. Дорога за большими воротами монастыря превращается в людскую реку. Весь день в разное время послушницы и наиболее смелые монахини стайками бегают к редким высоким окнам, чтобы, вытянув шею, хоть одним глазком взглянуть на проплывающие мимо плоты с ряженными. Со своего наблюдательного поста они видят великанов, карликов, русалок, богинь, ангелов, пап и чертей. Когда процессия прибывает к монастырю, ряженные уже так накричатся и намашутся руками, приветствуя благородных дам на балконах, что у них едва двигаются

шеи. Тем не менее монастыри всегда представляют желанную цель для ряженных, в особенности для изготовителей ключей; в этом году у них свой плот, и они стараются изо всех сил, расхаживая по нему взад и вперед, потрясая огромными фальшивыми ключами и выкрикивая вирши о том, как полезны их изделия, тем более для женщин в заточении, и предлагают всем желающим спуститься и подобрать ключи себе по вкусу.

Кухня наконец получила свою кошениль, и первая партия марципановых фруктов уже готова. По монастырской традиции, хозяйка кухни выбирает одну монахиню и одну послушницу, чтобы те сняли пробу с ее изделий. Поэтому однажды после ужина сестру Бенедикту и Серафину зовут во двор второй галереи, где Федерика вручает хозяйке хора большую зеленую грушу: «За то, что ваша музыка делает нас ближе к Богу», а Серафина получает кривоватую, но удивительно яркую клубничину: «А твоё пение доставляет нам куда больше радости, чем твой вой. Кроме того, ты последней из послушниц вступила в монастырь, а значит, еще не забыла вкуса блюд, оставленных в миру, и можешь оценить, хорошо ли получилось».

Хотя рецепт марципана, скорее всего, везде один — и в монастыре, и за его стенами, — реакция Серафины, которая явно впечатлена интенсивностью вкуса, удовлетворяет даже Федерику.

— На-ка. Оботри себе рот, — говорит она, подавая ей полотенце. — Не надо тебе попадать в беду сейчас, когда ты так хорошо себя ведешь.

Серафина действительно ведет себя лучше некуда. Несмотря на свое смирение, с каждым новым днем послушница сияет все ярче. Даже когда она молчит, то вся будто светится, словно божественная любовь переполняет ее сердце, а ее голос в церкви, особенно в самые темные ночные часы, очаровывает всех. Когда она не поет, то молится. Она даже рассталась со своей прислужницей и взяла на себя обязанности по уборке кельи: она сама моет полы, заправляет постель, меняет белье. Некоторые шепчутся за ее спиной, что она потому так старается, что думает, будто ей позволят остаться в парлаторио после концерта, когда начнутся визиты (правила ясно гласят, что она еще не в том положении, когда ей можно будет развлекать гостей и развлекаться самой). Но если она и стремится к этому, то молча. В последние дни она вообще почти ничего не говорит.

О поведении Серафины навверняка больше судачили бы, если бы не драма, которая разыгрывается в монастыре в оставшиеся до концерта и представления дни.

После спешного обмена письмами и внеурочных визитов в парлаторио сестра Аполлонии, дама Камилла Бендидио, прибывает поздно ночью в сопровождении служанки, которая несет небольшую сумку с вещами, и тут же занимает гостевой домик сбоку от главных ворот. По монастырю немедленно распространяется слух о том, что с ее браком не все ладно и что она попросила спрятать ее от мужа, пока родственники торгуются с ним, надеясь на мирное разрешение скандала. Аполлония получает особое распоряжение присматривать за сестрой, и в ту же ночь аббатиса посылает Зуану осмотреть ее. Та обнаруживает на лбу женщины, пониже линии волос, глубокий порез, как будто в нее чем-то бросили, и, пока Зуана промывает и перебинтовывает рану, женщина сидит неподвижно и не издает ни звука. Когда она спрашивает, нет ли у нее других жалоб, та сбрасывает шаль, снимает корсаж, показывает множество огромных, набухших синяков на груди и плечах и, пока Зуана осторожно втирает в поврежденную кожу мазь, беззвучно плачет.

Зуана помнит, что она была красавицей, но теперь отошчала и выглядит старше своих лет. Юные монахини, засыпающие в слезах оттого, что им не хватает мужских ласк, могли бы тут призадуматься, ведь это не первый раз, когда она прибегает за помощью к монастырю. Ее муж, старший сын блистательного семейства Бендидио, один из любимых придворных герцога, не отличается, как говорят, кротким нравом. Однако его многострадальной жене сочувствовали бы больше, если бы за семь лет брака она сумела произвести на свет хотя бы одного отпрыска. У него же, не в пример ей, с этим проблем нет, ведь он уже нарожал с полдюжины незаконных ребятишек. Если так пойдет и дальше, то ей придется признать их брак недействительным, и тогда он возьмет себе другую, более крепкую и плодовитую жену, а она вернется в Санта-Катерину насовсем, ибо кто еще возьмет такую отверженную. Возможно, так для нее будет лучше. Глядя на здоровую молодую Аполлонию, на ее по моде — и вопреки всяким правилам — накрашенное лицо, Зуана поневоле думает, что Бендидио выбрал не ту сестру. Но теперь уже поздно. Для обеих.

На следующий день отец женщины в присутствии аббатисы встречается с представителями зятя в гостиной домика у монастырских ворот, чтобы обсудить будущее дочери, в то время как парлаторио переполнен посетителями — последними перед началом карнавального концерта.

Зуана, в отличие от прочих, сидит в своей келье одна, обложившись книгами. Работы у нее предостаточно, но она никак не может сосредоточиться. Во многом из-за времени года. Хотя для большинства обитательниц Санта-Катерины карнавал — изысканное удовольствие, для Зуаны он скорее нарушение привычного распорядка, чем праздник. Она долго и мучительно входила в монастырскую жизнь, находя величайшее утешение именно в повседневной рутине, поэтому столь грубое нарушение монастырского распорядка выводит ее из равновесия. Возможно, все было бы иначе, останься у нее хоть какие-то связи с внешним миром, будь у нее родственники, которых можно было бы приглашать и развлекать; мать и тетки, кухни или сестры со все разрастающимися выводками младенцев, которых можно было бы нянчить и ласкать. Но все, что у нее есть, — это ее снадобья и травы, которые, хотя и помогают сохранять здоровье монастырю, за его стенами не имеют особого значения.

К этому она уже привыкла и даже научилась понимать. Однако в последнее время с ней происходит еще что-то. Уже несколько недель, по правде сказать еще до болезни, она стала замечать за собой какое-то беспокойство, объяснить которое не в силах. Возможно, болезнь его обострила, хотя, не считая кроваво-красной мочи, вышедшей из нее два дня после приема лекарства, — она испугалась, прежде чем сообразить, что это просто выходят остатки лекарства, а не вытекают ее внутренности, — ее ничто не беспокоило.

Нет, похоже, что дело все-таки не в теле, а в голове.

Без всякой видимой причины ей вдруг становится грустно — да, именно грустно. Впервые в жизни она чувствует себя одинокой наедине с собой. Конечно, она молится, причем каждый день, но ее мысли разбегаются, и слова молитв не в силах подняться так высоко, чтобы Он их услышал.

Как целитель, она не однажды замечала такое в других; монастыри полны сестер, которые попеременно впадают то в апатию, то в слезливость, то в безумие. Зимой тоска. Летом сумасшествие.



Сначала они приходят и уходят согласно месячным циклам, потом, когда те прекращаются, остаются навсегда. Названий для этого выдумано столько же, сколько существует самих настроений. Монахини построже — сестра-наставница и сестра Феличита (которую защищает само имя) — видят в нем своего рода бунт против Бога и рекомендуют строгие меры работы и молитвы для его искоренения. Однако с годами Зуана нашла и испытала другие средства. Книги ее отца полны ими: настои, пилюли, курения; вино с огуречником, зверобой, окуривания из ладана и гиперикума, с мандрагорой и маковой настойкой от бессонницы, часто сопровождающей подобные расстройства. Но есть и другие средства, не требующие лекарств, ни простых ни сложных: доброта и сочувствие, небольшое послабление в правилах одиночества. В самых тяжелых случаях следует прибегать ко всем методам сразу. Молитву и работу чередовать с уходом и сном. Бог, человек и природа в своем единстве, как и предполагалось изначально.

Конечно, Зуана сама еще не в такой нужде. Ничего подобного. Скорее, просто устала. Себя она лечит чувством долга. В парлаторио потребуется больше ароматических таблеток, чтобы положить на жаровню во время концерта, и она берется за их изготовление. Когда обычные молитвы не помогают, она прибегает к выдержкам из псалмов.

Могуч глас Господа,  
Я буду молиться Тебе, Господь мой, всем моим  
сердцем.  
И впредь восхвалять все деяния Твои.

Эти самые слова она снова и снова бормочет про себя, кутаясь в них, как в одеяло, не оставляя ни одной щелочки для сквозняков посторонних мыслей.

Ибо Господь благ, милосердие Его вечно,  
Истина Его пребудет во все века.

Вскоре простота слов и их повторение приносят ей некоторое успокоение. Как прошлой ночью...

Откуда-то из-за стен доносится приглушенный рев. Наверное, на закате зажигают на городской площади перед собором праздничный костер. Однажды отец водил ее посмотреть на это, когда она была еще совсем маленькой. Людей было столько, что шагу нельзя было ступить, и отцу пришлось все время носить ее на плечах. Она помнит, как от дыма у нее щипало в горле и слезились глаза. По крайней мере, ей кажется, что так было. В последнее время она стала замечать, что все хуже помнит то, в чем раньше была уверена, как будто ее жизнь до монастыря ускользает из ее памяти. К примеру, лицо отца: его широкий лоб, тени под глазами, то, как все время оттопыривалась его нижняя губа, точно вес бороды тянул ее книзу. Все это, казалось ей раньше, запечатлелось в ее памяти навеки. Однако, вглядываясь в лицо Христа на монастырских распятиях, она иногда ловит себя на том, что замечает те же черты и в Нем; как будто все знакомое в одном лице перелилось в другое.

И все же иные воспоминания не только не стерлись, но стали еще рельефнее. словно каменные фигуры феррарского собора. Их было, наверное, всего двенадцать, по одной на каждый месяц года, но, закрыв глаза, только одну из них она видит ясно, как наяву. Маленький голый ребенок стоит на четвереньках под козой и сосет ее вымя. Она видит его губы, почти похотливо обхватившие набухший сосок, пухлость его каменных щек, округлость животика, в который стекает молоко. Сила этого воспоминания поражает ее, ведь она никогда не испытывала особой нежности к детям; она не из тех монахинь, которые вечно страдают о детях, которых не могли иметь, приносят в своих сундуках с приданным кукольных Иисусов или воображают, как берут младенца из рук Марии и прикладывают его к собственной груди. И все же именно это, совсем не святое дитя, столь очевидно жаждущее насыщения, осталось в ее памяти.

Она отодвигает книги и закрывает глаза. Такие мысли вряд ли приличествует поощрять сестре-травнице, которой необходимо записать историю последней болезни монастыря. Если она не может работать, то должна молиться. Почему же ее мысли с такой легкостью разбегаются от нее в последние дни?

*Могуч глас Господа...*

Она закрывает глаза.

*Полон величия глас Господа...*

Когда раздается стук в дверь, она уже так глубоко погрузилась в слова молитвы, что не сразу слышит.

*Я буду молиться тебе, Господь мой, всем моим сердцем...*

Стук повторяется, на этот раз громче.

Она оборачивается и тут же думает о том, что, может быть, это послушница. С тех пор как Зуана заболела и поправилась, они с девушкой не сказали друг другу и слова, а когда их пути все же пересекаются — по дороге в часовню или в галереях монастыря, — та держит глаза долу, словно боится повстречать взгляд Зуаны. За годы она не однажды наблюдала, как молодые женщины, придя в монастырь гневными, непокорными, даже истеричными, со временем смягчались, но столь мгновенную и странную перемену она видит в первый раз. Впечатление такое, будто вся ярость, которая извергалась из нее, подобно лаве из жерла вулкана, просто сменила русло и теперь направляется к Богу. Казалось бы, надо радоваться, но каждый раз, задумавшись об этом — чего она старается не делать, — Зуана испытывает неловкость, которая, в свою очередь, усиливает беспокойство, и без того с легкостью овладевающее ею в последние дни.

Дверь отворяется. Если это послушница, то придется поругать ее за нарушение молитвы, хотя Зуана все равно будет рада видеть ее. С этой мыслью она видит мадонну Чиару, стоящую на пороге.

— Добрый вечер, сестра.

— Я нужна? — Зуана уже на ногах. — Кто-нибудь заболел?

— Нет-нет... Как раз наоборот. Вся община превосходно себя чувствует. Как ты сама можешь слышать.

— Как наша гостья?

— Встреча семей окончена, есть признаки прогресса. Договорились, что до конца карнавала она пробудет у нас. Разрыв между супругами может привести к некоторому... потеплению.

Незачем добавлять, что в этот раз, когда Бендидио упьется пьяным в герцогских погребах, ему не на ком будет выместить свой гнев.

— Я могу заглянуть к ней снова, если это необходимо.

— Нет. Сейчас с ней сестра Юмилиана, а сестре Аполлонии я дала разрешение прийти к ней позже, — говорит аббатиса. — Похоже, в детстве они были не особенно близки, но несчастья одной пробудили в них родственные чувства. Настоящее чудо. Так Господь дает утешение в горести.

— Ибо милосердие Его вечно, и истина Его пребудет во все века...

— Воистину так, — произносит аббатиса слегка удивленно. Она бросает взгляд на разложенные по столу книги. — Я пришла предложить тебе немного отдохнуть от работы, сестра Зуана. Все монахини сейчас развлекаются со своими родственниками, и будет только справедливо, если той же привилегией воспользуешься и ты.

— О нет, я... Я же... — начинает Зуана.

Слова «довольна» и «счастлива» вместе вертятся у нее на языке, и в результате с уст не срывается ни одно ни другое. Аббатиса, для которой эта борьба не прошла незамеченной, улыбается.

— Как там написала сестра Сколастика в прологе к своей пьесе? «Как тело нуждается в пище для того, чтобы жить, так и дух нуждается в покое и отдохновении», — смеется она. — Ты не слыхала ее речь? О, она очаровательна и вызовет немало благочестивых рукоплесканий, я уверена. Думаю, даже сестре Юмилиане нелегко будет опровергнуть содержащийся в ней совет. — Мадонна Чиара делает паузу, а затем добавляет: — Итак, если у тебя найдется плащ, который предохранит от ветра, то, может быть, ты не откажешься взглянуть со мной на нечто такое, что наверняка тебя порадует...

— Благодарю вас, мадонна, — отвечает Зуана, ибо ей понятно, что это не только предложение, но и приказ. — С удовольствием взгляну.

Снаружи воздух свеж, а небо ясно. Последняя неделя карнавала нередко кладет конец зимним туманам, хотя пост наверняка принесет с собой еще немало холодных дней. Следом за аббатисой Зуана идет по галерее и входит в церковь. Внутри, слева от хоров, дверь на колокольню. Аббатиса вынимает ключ и вставляет его в замок.

— Сейчас как раз зажигают праздничный костер. С верхней площадки башни наш прекрасный город виден особенно хорошо. Господь даровал нам удивительно ясную ночь, подходящую для этой церемонии.

Прекрасно сознавая выпавшую на ее долю честь, Зуана склоняет голову и начинает подниматься наверх. На полпути она оказывается на деревянной платформе, где висят веревки больших церковных колоколов, за которые тянет звонарь. Дальше этого места без особого разрешения не имеет права подниматься ни одна монахиня. Если сестра, отвечающая за колокола, когда-либо ослушивается наказа, то она никому об этом не говорит. Хотя, учитывая потерю слуха и надорванную спину — непременных спутников этой работы, — какого-то вознаграждения она все же заслуживает.

Аббатиса шагает впереди. Подол ее платья сметает со ступенек пыль, которая разлетается вокруг. Лестница сужается, стены и потолок покрывает паутина. Зуана вдруг представляет себе, как погружает руку в угол и снимает весь этот урожай: мертвенная липкая паутина, смешанная с медом, считается чудодейственным снадобьем от телесных ран. «Я буду молиться Тебе, Господь, всем моим сердцем, и впредь восхвалять все деяния Твои». Однако даже лучшие аптекари находят некоторые снадобья трудными для исполнения. Может быть, как-нибудь в другой раз.

Они достигают вершины и входят в открытую колокольную камеру. Их появление испугивает целую стаю устроившихся на ночлег голубей, которые взлетают, поднимая настоящую бурю своими свистящими и хлопающими крыльями. Аббатиса размахивает руками, прогоняя их, и обе женщины визжат от смеха, пока птицы кружат и шумят вокруг них, прежде чем сняться и улететь.

— Удивительно, как они выдерживают грохот колоколов! — перекикивает аббатиса поднятый голубями шквал. — Надо расставить здесь силки. На кухне мясо лишним не будет, особенно зимой, хотя я не могу представить, чтобы сестра Федерика полезла за ними сюда.

Когда птицы улетаю, башня остается в распоряжении женщин. Два огромных колокола неподвижно висят над их головами, высунув могучие тяжелые языки. Окружающая площадку стена им по пояс: достаточно высоко, чтобы не упасть, и достаточно низко, чтобы видеть весь город.

Аббатиса права. От вида захватывает дух. У Зуаны внезапно начинает кружиться голова, не столько от высоты, сколько от восторга перед открывшейся перспективой. В сгущающихся сумерках она видит

весь старый город, лежащий к северу и западу от колокольни: мешанину черепичных крыш цвета жженой охры и мощенных булыжником улиц, протянувшихся до самого собора и его площади, две части замка с зубчатыми башнями и рвом, — а за ними новую Феррару с ее квадратами широких современных улиц и дворцами — детище второго герцога Эрколея в роли великого правителя-гуманиста и градостроителя. А вокруг всего этого массивные стены из кирпича, отмечающие границу города.

— Прекрасно, да? — улыбается аббатиса.

Зуана кивает — на миг она лишается способности говорить. Аббатиса, понимая, отводит взгляд, давая ей время успокоиться.

Кирпичи и булыжник. Так когда-то описывал их родной город отец. Есть другие города, говорил он, где много камня и мрамора, где большие купола и башни, где каждая поверхность оштукатурена и покрыта краской, и они тоже по-своему удивительны; но чтобы по достоинству оценить силу простого кирпича, столь незаметного и столь могучего, насыщенного всеми красками земли, надо приехать в Феррару летним вечером, когда закатные лучи освещают и словно пронизывают саму ткань города.

— Видишь огни?

Их пока только два: один огромный столб дыма поднимается с главной площади, другой, поменьше, встает над замковым двором. Жар не дает приблизиться к огню, люди, мелкие, точно муравьи, суетятся и бегают повсюду. Зуана прослеживает взглядом одну из крупных улиц, уводящих от соборной площади в старый город, пытаюсь определить место, где она когда-то жила. Ей удается добраться до длинного узкого пространства — недостаточно большого для площади — перед старым зданием университета, но потом она безнадежно запутывается в извилистых переулках, которые отходят от него во все стороны.

— Ищешь отцовский дом?

— Да.

— Найди какую-нибудь метку и от нее иди; или вспомни какой-нибудь маршрут.

Однако единственный путь, который она поклялась помнить всю жизнь, — дорога от дома до ворот монастыря — начисто стерся из памяти.

Она качает головой.

— Улицы вокруг такие запутанные. Все на одно лицо. А ты? Ты видишь свой дом?

Аббатиса указывает рукой на север.

— В новом городе все проще. Он в нескольких кварталах к западу от палатки Диаманте. Там еще сад в середине — видишь... Я играла там с братом, когда была маленькой. По крайней мере, так он говорит. Сама я не помню.

— Ты многое помнишь?

Зуана не глядит на Чиару, задавая этот вопрос. Просто две женщины стоят бок о бок, положив руки на перила, и глядят на город, словно монастырь больше не монастырь, а высокий богатый дом с балконом, на котором две благородные дамы решили подышать вечерней прохладой и посплетничать о том о сем.

— С годами все меньше. Но кое-что очень крепко. Помню себя в карете, которая едет по мосту, колеса стучат по дереву, а впереди горят факелы, — подъемный мост над замковым рвом, наверное. И кто-то говорит, что, если бы настил не выдержал, мы бы все утонули.

— Страшно было?

— Нет... Скорее, весело, — улыбается аббатиса. — А еще комната — помню комнату, в которую меня привели, с круглым потолком и балконом, а на потолке было нарисовано небо, с которого люди и херувимы смотрели вниз, свешиваясь с нарисованных перил так, что казалось, вот-вот упадут. Прямо как настоящие. Один человек был чернокожий, а на перилах возле него сидела обезьяна и держала ожерелье, будто сейчас уронит. Помню, я встала под ней и протянула руки, до того я была уверена, что ожерелье упадет. — Она смеется. — Едва став монахиней, я мечтала, что, когда буду аббатисой, приглашу того самого художника и закажу ему работу для нашей часовни. Только представь! Епископ и наши покровители смотрят вверх и видят Господа и всех его апостолов, которые свешиваются над ними с балкона, как будто вот-вот свалятся им на голову.

Зуана тут же думает, что немало нашлось бы в монастыре добрых сестер, желающих их поймать.

Закат быстро догорает, разбросав по небу жирные, яркие мазки пурпурного и розового. Но херувимов с обезьянами нет; лишь пронзительный хор стрижей проносится, словно туча стрел, в

вечернем небе. Время спустя Зуана поворачивается спиной к городу, и ей открывается другой вид, мира, который им не надо додумывать, поскольку он всегда у них перед глазами.

С такой высоты Санта-Катерина похожа скорее на дворец, чем на тюрьму. Взгляд Зуаны скользит вниз, вдоль головокружительного корабля церкви во внутренние дворы, оживленные золотистым светом, оттуда — к боковым постройкам, мимо клочков земли, занятых грядками с овощами и травами, к обширному саду и большому пруду в форме лука и дальше, к фруктовым садам, спускающимся к реке, похожей на широкую серебристую ленту ртути, по которой лениво ползут баржи и лодки. И все это в окружении длинной кирпичной стены, столь невысокой сверху, что кажется, будто переступить через нее и выйти в окружающий мир не составит никакого труда.

«О, но ведь здесь тоже есть красота», — думает Зуана. Богатство земли, тепло кирпича, прохлада камня. Красота, простор и для тех, кто способен перестать желать иного, покой, отдых от безумия внешнего мира. Если бы кто-нибудь отворил сейчас дверь, какой смысл был бы в том, чтобы выйти на волю? Куда бы она пошла? Кем стала? В доме, где выросла молодая женщина по имени Фаустина, живет теперь другая семья, а окружающий его город превратился в водоворот людей, которые ничего о ней не знают, да и не хотят знать. Тот бесконечно малый уголок пространства, который она когда-то могла назвать своим, давно исчез, а чтобы научиться ценить покой, надо смириться с меньшим количеством счастья.

Нет, что бы ни тревожило ее сейчас, оно пройдет, как облако, закрывающее солнце, как временная слепота, приходящая с утренним туманом. Какие сплетни ни просачивались бы в монастырь, ни в одной из них не говорилось о женщине благородного происхождения, которая держала бы собственную аптеку или имела постоянных пациентов. «Я точно олива в саду Господа. Я полагаюсь на милосердие Господа во веки веков». Облако уйдет, туман поднимется. Впервые за много дней ей становится спокойнее.

Возвращаясь через сад к зданиям монастыря, ее взгляд выхватывает нечто, похожее на прерывистую линию, нет, скорее на арку, наугад выложенную светлыми камнями на траве, среди голых деревьев, от края стены у реки к тропинке, ведущей мимо пристроек к галереям. С такой высоты она напоминает неровные белые стежки на



подоле огромной юбки или рассыпавшееся по земле длинное ожерелье из лепестков роз.

Далеко под ними, на улице, у ворот монастыря, сталкиваются, поднимаясь, молодые мужские голоса: смех, крики, что-то похожее на шуточные насмешки. Лепестки роз. Зуана снова поворачивается лицом к городу. Она представляет, как стоит здесь, вытянув вперед широко раскинутые руки со сжатыми горстями, как разжимает кулаки, и из них на толпу внизу каскадами сыплются лепестки роз.

— Можно мне спросить, мадонна аббатиса?

— Конечно, если хочешь, — отвечает та, почти удивленная возвратом бывшей подруги к официальному тону.

— Та история, которую сестра Аполлония рассказывает про башню, правда?

— Какая история?

— О том, как в каком-то году во время карнавала несколько послушниц принесли сюда лепестки роз из склада и бросали их вниз, на уличных гуляк.

— И что было потом?

— Кажется, молодые люди походили с ума. Они кричали, бросали вверх розы, даже пытались вскарабкаться на башню.

— Ха! Я всегда считала, что сестре Аполлонии надо бы пьесы писать, вместе со Сколастикой, — говорит она мягко.

Мадонна Чиара нагибается и поднимает что-то с пола. Выпрямившись, она раскрывает сжатую ладонь, и на ней оказывается горстка птичьих перьев. Она наклоняется вперед и выпускает их в воздух.

— Разумеется, нечто подобное могло бы свести молодежь с ума. — Перья кокетливо танцуют в воздухе, прежде чем начать опускаться вниз. — Но, как ты сама видишь... — Тут она наклоняется и так сильно свешивается через перила, что Зуане вспоминается история с картиной внутри купола, и она пугается. — Высота перил и угол башни по отношению к земле таковы, что улицу прямо под собой отсюда не увидишь. Также и снизу нельзя заглянуть прямо наверх. — И она выпрямляется снова. — Так что, хотя перья могли показаться кому-нибудь благословением с неба, но ангелов, пославших их, снизу было не увидеть. — Она вытирает ладони о платье. — Тем не менее, когда власти узнали о том, что произошло, был скандал, после

которого на дверь башни навесили новые замки и ввели правило, запрещавшее послушницам и монахиням хора входить в нее без особого распоряжения аббатисы. Сказать не могу, сколько лет понадобилось мне, чтобы попасть на эту башню снова, — вздыхает она.

С минуту они стоят молча, вместе наблюдая, как праздничные костры выбрасывают широкие ленты дыма в освещенное небо.

Зуана обнаруживает, что улыбается. Конечно, она была одной из них. Ей следовало догадаться. Господь наказывает, но Он же и дарует прощение. Мир полон святых, начинавших свой путь грешниками. Или если они всегда были добры, то их добро часто разбивалось о правила, навязанные им другими. И она вспоминает послушницу с ее раскаленным гневом, Бенедикту с ее музыкой, Аполлонию с набеленным лицом и неистощимым запасом историй. Даже святых: Магдалену с ее запрещенными видениями; Юмилиану, которая, если бы могла, сломала бы все правила, навывдумывав новые. Без бунтарей не было бы ни историй, ни спутников, с которыми можно было бы поделиться взглядами.

Теперь небо перед ними вспыхивает огнем. Ей вспоминается кошениль. Краска как лекарство от лихорадки тоже может считаться нарушением правил. Хотя во власти есть своя мудрость, место для вопросов все-таки должно оставаться. Но и подбирать вопросы к ответам, которые получаешь, тоже надо уметь. «Ты слушаешь, Фаустина? Тебе еще многому предстоит научиться, а я не всегда буду с тобой». В последний раз она слышала его голос до болезни. Так к каким же ответам ей надо подобрать вопросы? Краска усмирила лихорадку, так. Она же окрасила ее мочу. Но что, если при этом она слегка затронула и дух? Подобное случалось и раньше: хорошее средство приводило к неожиданным, дурным результатам. Те, кто принимает ртуть от оспы, страдают от лекарства не меньше, чем от самой болезни, — это известно всем. Надо спросить у главной прислужницы, как она чувствует себя теперь, когда ей стало легче. Если будет время, она сделает запись в книге еще до последней молитвы.

— Удивительно, как красота питает душу не меньше, чем взор, правда? — спрашивает аббатиса, словно разговор идет между ними обеими, а не она одна поддерживает его. — В тех редких случаях,

когда я, уже став аббатисой, приводила сюда кого-либо из сестер, то неизменно наблюдала, как покой возвращается даже в самые опечаленные сердца. И как ободряются те, кто просто устал и нуждается в отдыхе. Хотя, конечно, о красоте не со всяким поговоришь.

Закат догорает, пламя постепенно подергивается пеплом. Зуана бросает на аббатису взгляд. Сумерки разгладили морщинки на ее лице, кожа стала почти светящейся.

— Спасибо, мадонна аббатиса, — тихо говорит она.

— О, я лишь исполняю то, что велит мне Господь. Если он видит, что одна из его овец изнемогла или пала духом, то я, как аббатиса, должна вернуть ее в стадо. Идем, — продолжает она энергично, поворачиваясь к ней. — Темнеет, а без света на этой лестнице опасно. Ой, чуть не забыла. Мне нужно, чтобы ты сделала кое-что для блага обители. Это касается послушницы...

## Глава двадцать шестая

Серафина ворочается в темноте, ощущая твердый комок, который впивается в ее бедро. Тощий матрас набит так скудно, что ключи втыкаются в ее тело, как бы она ни легла. Это неудобство ей нравится. Сначала оно приносило ей лишь страх, ведь на ее сундуке больше не было замка, а у нее не было тайника, в котором она могла бы надежно спрятать свое сокровище. Конечно, можно было бы купить еще набивки — такое возможно, — но это навлекло бы на нее подозрения. Найти немного макового сиропа или кусок воска — это одно, ведь она заплатила Кандиде за то, чтобы сделать свою жизнь немного легче, и совсем другое дело — дубликаты ключей от входных дверей... Нет, выгоду, полученную за такую информацию, нельзя и сравнить с теми жалкими грошами, которые она в состоянии заплатить. Поэтому пришлось отделаться от прислужницы, заплатив ей хорошим куском сукна, и самой взяться за уборку кельи. Кто бы мог подумать? Юная послушница из благородной семьи сама скребет полы в своей келье. Ну и что, зато есть чем заняться, и время проходит быстрее.

Время. Его так мало осталось, а оно все кажется бесконечным. Она закрывает глаза, хотя знает, что все равно не уснет. Ее показная покорность дорого ей обходится. Пока она склоняет голову и следит за безмятежным выражением своего лица, бывают минуты, когда кишки у нее внутри, кажется, завязываются в узлы, такие тугие, что она едва может ходить. Это состояние постоянного возбуждения приносит похожую на наслаждение боль. Чувство, знакомое ей по прежней жизни дома, когда каждый промежуток между уроками пения превращался для нее в такую пытку ожидания, что иной раз она едва могла дышать. Вот и теперь сама мысль о нем — лихорадочное ожидание начала — затмевает все остальное; она не может ни есть, ни думать, ни спать.

Аппетита у нее не было с самого начала, но она лишь недавно начала ценить то ощущение, которое приходит в отсутствие еды: пустой, ноющий и бурлящий желудок забавляет ее сам по себе, точно под ее платьем прячется живой зверь. Даже ее голос звучит чище, потому что ничто не тянет его книзу, а когда ее заставляют есть — когда Федерика зовет ее на кухню и вручает ей марципановую

клубничину, — от ее сиропной сладости Серафину тошнит, и она с трудом удерживает проглоченное внутри.

Хотя это не просто — нарочно устраивать так, чтобы не есть. Можно подумать, что в любом монастыре только радовались бы, если бы сестры поменьше ели — в конце концов, разве святые не питаются одним воздухом? — однако тут умеренность требуется во всем: в молитвах, в работе, во сне (когда привыкаешь к сумасшедшим часам, по которым тут живут) и в еде. Правила гласят, что каждая монахиня должна съесть все, что положили ей на тарелку, а непослушание карается наказанием.

Но способы все же есть. Обман, притворство. Она ведь прибегает к ним во всем, так почему бы не в этом? В часы приема пищи она приходит в трапезную, быстро садится на свое место за длинным столом, низко склоняется над тарелкой, молитвенно сложив ладони под подбородком. Когда молитва заканчивается, она подносит левую руку ко рту, а правой берег ложку. Так проще отправлять пищу из ложки в руку, прежде чем она достигнет рта. Все равно никто не смотрит. Те, кто не набивает брюхо, внимательно слушают: истории про сумасшедших, которые жили в пещерах в пустыне, соперничая друг с другом в том, кто больше вытерпит страданий. Этот прием — припрятывание еды в складках платья — она освоила в совершенстве после того, как начала петь. Тогда ей нужно было хотя бы одно маленькое непослушание, чтобы убедить себя в том, что она не стала одной из них. Ей нравилось, как страх перед тем, что ее поймают, мешался в ней с чувством вины и яростью; сладкое и кислое в одно и то же время. Обьедки она приносила в свою келью и припрятывала, чтобы съесть ночью (да как она смеет — послушница ест в келье, вместо того чтобы спать!), или подкупала ими Кандиду, поскольку торговля съестным шла в обоих направлениях.

Теперь она прячет еду в складках платья до часа рекреации, когда, бродя по саду, тайком выбрасывает ее на землю. И не она одна. На днях она застала за тем же занятием Евгению. Проходя друг мимо друга, они обменялись короткими взглядами, одновременно смущенными и лукавыми. По крайней мере, ни одна из них не выдаст другую. Улики исчезают в считанные секунды, спасибо птицам; голуби прогоняют юрких зябликов и ласточек, а потом сами дерутся из-за крошек. Сегодня они слетели с колокольни даже раньше, чем она

успела что-нибудь им бросить. И все же надо соблюдать осторожность. Сестра Юмилиана, может, и одобряет пост, и только порадовалась бы тому, как убывает их плоть, однако она сущий ястреб во всем, что касается нарушения правил, даже самого малейшего.

Но ничего, еще несколько дней — и все кончится, она уйдет отсюда навсегда.

Еще несколько дней. От мысли об этом живот режет, точно ножом. Иногда волнение и голод трудно различить. Она уйдет отсюда. Но куда? Как? Ах, хоть бы уснуть. Иначе она умрет тут в ожидании. Она запускает руку внутрь матраса и извлекает из-под ткани ключ. Железо холодное на ощупь.

Пальцами она пробегает по резной бородке, чистой и гладкой. Он наверняка нашел хорошего кузнеца. Вроде тех, на карнавальной телеге. Когда она услышала истории, которые они распевали, у нее загорелись щеки. В ту ночь, когда он принес ключи, она умерла тысячью смертей. Он так опоздал, что она думала, он уже не придет. И едва успела вернуться в свою келью до обхода. Развернув ключи, она увидела записку с подтверждением условленного времени и дня. И все. Ни нежностей, ни стихов, ни слова любви. С тех пор он ни разу не пришел. Его лицо почти стерлось из ее памяти, а теперь она и голоса его не слышит и потому, думая о будущем, часто не видит в нем ничего, кроме чернил ночной реки.

Теперь она живет почти исключительно воображением (в пьесе заняты столько послушниц, что наставнические занятия до окончания праздника сократили). Даже в детстве, когда она не слушалась, ей не было так одиноко. С миром ее соединяет только хор, но, хотя пение немного успокаивает, боль возвращается, едва стихает последний аккорд. Временами она жаждет компании, верного способа ослабить владеющее ею напряжение, но страшно боится, как бы другие не заметили, что с ней происходит, хотя эти другие и сами почти спятили в предвкушении праздника. Все, кроме сестры Зуаны. Хозяйка лазарета, кажется, даже не помнит о его приближении, как будто ей все равно. И все же именно ее, Зуану, она не может видеть, так как боится ее больше остальных. Она из кожи вон лезет, чтобы не встретиться с ней, но когда их пути все же пересекаются — обычно по дороге в церковь или в галереях, — девушке кажется, что она прямо-таки чувствует ее взгляд, ощупывающий, ищущий пути внутрь.

Время, когда они вместе работали в аптеке, кажется, прошло давным-давно. Мази, кипящая патока, имбирные шарики... Обо всем этом она думает чаще, чем ей хотелось бы. И повторяет себе, что именно потому, что сестра Зуана так умна и может что-нибудь заподозрить, надо ее остерегаться. Но дело не только в этом. Чувство, начинавшееся как тревога, постепенно переросло во что-то более неприятное, в сосание под ложечкой, не имеющее ничего общего с пустым желудком, а восходящее прямо к ощущению вины. Вины за то, что женщину, которая помогла ей, была с ней добра, понимала ее (лучше, чем родная мать, видит Бог), сочтут ответственной за то, что она ошиблась в ней, навлекла немилость на монастырь, а может, в какой-то степени, и за сам ее побег.

Такие мысли бесят ее, она гонит их прочь, но ночью, когда она лежит без сна, они возвращаются. Что, если Зуану накажут? Лишат привилегий, запретят работать над снадобьями, а то и отберут книги? Как она тогда будет жить?

Серафина решает оставить письмо, в котором объяснит, что ее побег не имеет к Зуане никакого отношения, что она все сделала сама. Однако она знает, что так будет еще хуже. Она бы молилась за нее, будь это возможно. Но как она может просить Бога о чем-либо сейчас? С ней обошлись несправедливо, но все ее обиды ничто в сравнении со злом, которое она собирается причинить.

Она еще раз закрывает глаза и пытается уснуть. Откуда-то из сада доносится вой и пронзительные вопли кошачьей драки. Ей нравится этот шум, он скорее бодрит ее, чем беспокоит. Подняв правую руку, она кладет ее себе на живот и чувствует плоскую пустоту над выпирающей тазовой костью и ручеек горячих и холодных мурашек, попеременно стекающих ей в пах. Так тому и быть. Пусть хоть само небо обрушится на их головы, назад пути нет.

## Глава двадцать седьмая

О, никогда тебе не стать Его невестой, коли идешь проторенной тропой.  
И не обманывай себя, без крыл на небо не подняться.  
Но после смерти какой же прок в том, чтобы быть благой?

Голоса стихают, и арфа завершает песню. Явственный гул одобрения проходит по залу. В парлаторию яблоку негде упасть, все лучшие места заняли гости; повсюду колыхается море из украшенных драгоценными камнями сеточек для волос, крахмальных воротников, разрезных рукавов и осиных талий, окруженных таким количеством атласа и парчи, что, стоит даме шевельнуться, как они шуршат, едва не заглушая музыку.

Перед ними, на специально отведенных скамьях, сидит Зуана и еще несколько монахинь хора, не участвующих в представлении. Их посадили лицом к сцене и спиной к зрителям не просто так, а чтобы они случайно не встретились взглядом с кем-нибудь из гостей-мужчин, которые толпятся в дальнем конце комнаты, неузнаваемые в масках и плащах; все это братья, отцы, дядюшки, кузены, а также те, кто, назвавшись родственниками в ответ на расспросы привратницы, пришли только затем, чтобы послушать пение, — весь карнавал они ходят по лучшим концертам города, и Санта-Катерина в этом году занимает в их списке далеко не последнее место.

Перед сценой монастырский хор и оркестр стоят лицом друг к другу, притворяясь, будто музицируют исключительно для себя. Руки сестры Пуриты замерли над клавиатурой органа, Лючия и Перпетуа согнулись над лютней и виолой, а Урсула не отнимает сложенных горстью ладоней от струн арфы, словно баюкая звуки, которые только что извлекла. У ее ног лежит флейта, на которой она будет играть позже. Это вызвало живейшую дискуссию на собрании, поскольку есть люди — как внутри монастыря, так и за его стенами, — которые считают неприличным для женщины публично играть на чем-либо при



помощи рта. Так что присутствием этого инструмента на концерте слушатели обязаны красноречию сестры Бенедикты, а также ее едва завуалированным намекам на то, что без флейты один из ее самых популярных песенных циклов вряд ли вообще удастся сыграть.

Напротив оркестра сидит хор, все сорок сестер в свежестырированных платьях и отутюженных черных вуалей поверх покрывал, накрахмаленных оставшимся от выпечки яичным белком. А в переднем ряду, выделяясь белоснежными платьями, которые придают им что-то ангельское, расположились несколько послушниц, своим видом и голосами лаская слух и взор. Особенно одна.

Бенедикта дает ей знак. Когда она набирает полную грудь воздуха, все остальные, кажется, затаивают дыхание.

Вот я, ягненок малый,  
Новая невеста Господа,  
Живу в богатстве  
И небесной страсти.

Слова присланы из Рима, их автор — один из новых папских фаворитов, но музыку — радостную, под стать голосу Серафины, — написала Бенедикта. Даже Зуана, обычно не слишком чувствительная к столь слащавым звукам, очарована. Она бросает взгляд на резное деревянное кресло, принесенное специально для этого случая из залы собраний, в котором сидит аббатиса, прямая, точно аршин проглотила, а ее белые руки лежат на коленях, как пара отдыхающих голубей. Именно она предложила этот текст как самый подходящий для карнавала на том памятном собрании, когда столько копий было сломано из-за флейты. Не удивительно, что он завоевал всех, кроме Юмилианы и Феличиты.

Песня моя радует ангелов в небе.  
Мой взор прикован  
К солнцу рая,  
А жизнь мою питает  
Извечная краса.

Да, текст отвечает случаю как нельзя лучше: смесь невинности и страсти безотказно действует на сидящих в зале возможных послушниц и, что еще важнее, на их родителей. «Христос — единственный зять, который никогда не доставит мне хлопот». Эти слова произнесла самая знатная женщина Феррары, Изабелла д'Эсте, обвенчавшая двух из своих дочерей с Церковью. Заполучившему их монастырю несказанно повезло, ведь более щедрой патронессы не бывало во всей Италии. Но и Санта-Катерина со своей новой певчей пташкой тоже преуспеет.

А ведь это еще не все. Впереди сонеты Петрарки о Деве Марии, положенные на такую музыку, которая представляет голос девушки во всем его блеске, а после угощения в трапезной только для женщин — родственниц и покровительниц — сыграют пьесу. Если представление пройдет так же хорошо, как и концерт, — главное, чтобы сестра Лавиния нашла свой костюм придворного, который куда-то подевался, а монахиня, отвечающая за звуки за сценой, вовремя изобразила гром, и его раскат совпал с чудесным разрушением колеса, а не прозвучал непонятно зачем две или три реплики спустя, — то это будет самое лучшее карнавальное торжество, когда-либо виденное их общиной. «Да, — думает Зуана, — у аббатисы есть все основания выглядеть довольной».

К концу песни все в зале смотрят на девушку. Та бросает на зрителей быстрый взгляд, но тут же кротко опускает глаза. И хотя некоторые могут усмотреть в ее исполнении блеск, Зуане она кажется измученной и похудевшей, почти больной от возбуждения. Наверное, в этом нет ничего удивительного. Крайняя степень добродетели может оказаться столь же непосильной, как и крайнее бунтарство. Как только карнавал завершится и восстановится нормальный порядок вещей, она поймет, что монастырская жизнь вовсе не так волнительна и беспокойна. Конечно, при условии, что волнения и беспокойство — это не то, чего она ищет.

В оркестре сестра Урсула берет флейту и подносит ее к губам, и публика предвкушает новое удовольствие.

Концерт кончается, и певицы покидают свои места. Из-за ширмы показывается стол, нагруженный всякими яствами: прекрасные вина соседствуют на нем с прекрасными бокалами, на расписных

керамических тарелочках высятся груды печенья и засахаренного миндаля; а посередине красуется глубокая стеклянная чаша, полная ярких марципановых фруктов. Родные и друзья устремляются вперед, навстречу исполнительницам, чтобы поздравить их, а некоторые особо рьяные молодые люди так спешат оказаться в первых рядах, что даже отталкивают других (под прикрытием масок им, может быть, удастся даже немного полюбезничать или сказать комплимент). Однако, прибыв на место, они разочарованы. Главная певчая птичка уже упорхнула, вернее, ее через заднюю дверь умыкнула Юмилиана, которая защищает своих подопечных, как истинная львица, и даже жертвует правом развлекать своих гостей ради того, чтобы повсюду сопровождать Серафину в промежутке между концертом и представлением.

Сначала они идут в часовню, где к ним присоединяется сестра Персеверанца, освобожденная от участия в празднестве для того, чтобы духовно подготовиться к смерти от рук императора-язычника. Помолившись, они переходят в трапезную, где Серафине дают задание расставить оставшиеся стулья и зажечь к началу представления свечи. Хотя это унижительная работа для молодой женщины, чей голос только что завораживал самых взыскательных ценителей музыки в городе, она не выказывает никакой обиды или недовольства судьбой; просто делает то, что ей велят, время от времени поглядывая в окно, за которым постепенно умирает день.

Когда сестры-привратницы, пересчитав по головам всех посетителей-мужчин, выставляют их на улицу и для пущей надежности запирают за ними дверь на засов (процедура особенно тщательно соблюдается именно сегодня, так как день выдался необыкновенный), а аббатиса провожает наиболее знатных посетительниц в трапезную, куда те плывут, шелестя нарядами, как хорошо оснащенные галеоны снастями, сумерки сгущаются уже настолько, что на сцене без свечей не обойтись, и только за кулисами угасающие лучи солнца еще светят артистам.

Теперь сестра-наставница должна приглядывать за своими подопечными и на сцене, и в зале, где все хотят занять лучшие места сразу за покровительницами. Поднимаются такой шум и суета, что Серафине ничего не стоит выскользнуть из толпы и найти себе местечко в самом конце последнего ряда.

Незанятые сиденья есть еще и в других местах, когда справа от нее, едва ли не напротив, усаживается Зуана. Обернувшись, она оглядывает комнату и в этот момент встречается глазами с Серафиной.

— Твой голос изумительно звучал на концерте, — весело говорит она, прежде чем девушка успевает отвести взгляд. — Гостиная так и звенела от твоих славословий.

Похоже, что ее похвала не доставляет послушнице никакого удовольствия, напротив, вид у нее испуганный, почти встревоженный.

— Спасибо, — отвечает Серафина с полуулыбкой.

Через море расшитых покрывал и сложных причесок Зуана устремляет взгляд на сцену.

— Мне кажется, тебе отсюда будет плохо видно. Найди лучше местечко поближе.

— О нет-нет... Мне здесь хорошо, — трясет головой девушка.

Зуана замечает, как напряженно лежат на коленях ее руки, одна держит другую, точно не давая ей сбежать.

— Я... я... э-э-э... я просто очень устала.

Ее голос теряется в нарастающем шуме. В отсутствие мужчин женщины становятся более оживленными, даже буйными. Она не первая послушница, которая, настрадавшись в одиночестве, жаждала общества, а попав в него, совершенно потерялась среди гама и тесноты.

Вдруг все начинают шипеть и шикать друг на друга: из-за занавеса вышла сестра Сколастика и терпеливо ждет, сияя взволнованной улыбкой на круглом, словно луна, лице. Кто-то ударяет в ладоши, призывая к тишине. Сестра Сколастика прочищает горло.

— Возлюбленные друзья и покровители общины Санта-Катерина, добро пожаловать на наше скромное представление. — За ее спиной вздрагивает и идет волнами занавес, когда кто-то двигается за ним.

*Подобно тому, как наше тело нуждается во сне и пище, чтобы жить, так и наш дух нуждается в отдыхе и покое.*

Она делает паузу и одаряет всех широкой улыбкой, и все в зале улыбаются ей в ответ, ибо ее энтузиазм заразителен.

*По этой причине мудрецы, которые учредили монастыри, сочли возможным позволить сестрам ставить священные пьесы и комедии, чтобы с их помощью обучаться и получать удовольствие от духовных забав.*

Кто-то из зрительниц выкрикивает что-то одобрительное, и смех рябью пробегает по рядам. Многие дворянки Феррары наверняка слышали о монастырях, в которых подобные забавы запретили или сократили в числе, согласно новым правилам Трентского собора, и беспокоятся, как бы та же участь не постигла их сестер и дочерей.

— Сцена первая... — Сколастика напрягает голос, чтобы всем было слышно. Она много месяцев сидела над этими словами и теперь исполнена решимости сделать так, чтобы их слышали все. — Первая сцена нашего представления о мученичестве святой Екатерины происходит в императорском дворце в Александрии.

Занавес разъезжается в стороны и открывает деревянный щит с нарисованными воротами и двумя раскрашенными колоннами по бокам. Слева от них группа писцов и придворных, в мантиях и шляпах, напротив величаво возвышается император, в котором, однако, нельзя не узнать сестру Обедиенцу в бархатном плаще и золотой диадеме, с лохматой черной бородой, двумя тесемками ненадежно прикрепленной к подбородку. Несколько минут они оживленно обмениваются похвалами прелестям языческой жизни и могуществу богов, потом вступает музыка, и придворные пускаются в пляс, изобразив несколько фигур танца, который большинство зрительниц могли бы от начала и до конца исполнить с закрытыми глазами.

Теперь все начинают тянуть шеи, стараясь ничего не упустить. Даже Юмилиана, которая в принципе не должна ничего такого одобрять, на деле поддается любопытству. Зуана оборачивается к Серафине: та сидит абсолютно прямо и пристально смотрит на сцену. Через год она и сама может оказаться по ту сторону занавеса, ибо для хороших голосов всегда найдется работа во время музыкальных интерлюдий. Через год. Сколько заутренних, вечеров и молитвенных часов за год? Было время, когда Зуана знала точный ответ; могла подсчитать количество служб и даже спетых на них псалмов от одного праздничного дня до другого. Все становится легче, когда перестаешь считать. Поняла ли уже послушница это?

Танец прерывается грохотом барабана, и из входа в глубине сцены появляются двое солдат, чьи бронзовые шлемы поблескивают в пламени свечей. Они тянут за собой фигурку в длинной белой рубашке и с копной золотых кудрей до плеч. Эта заносчивая девчонка пошла против воли богов, предпочтя им своего Спасителя. По зрительному

залу пробегает вздох удовольствия. Она кажется такой маленькой, такой хрупкой, что невероятно, как она может быть посланцем Бога. И все же ей придется выдержать диспут с писцами императора и либо отречься от своей христианской веры, либо быть замученной до смерти.

Она — Персеверанца — открывает рот, и раздается мелодичный голосок. В монастыре найдутся актрисы и получше, но она знает, как выразить страсть, когда речь заходит о мученичестве, и не боится сцены.

Император ударяет в ладоши, объявляя диспут открытым. Писцы открывают свои книги и начинают, но святая Катерина яростно опровергает все их аргументы. За сценой раздается страшный грохот, за ним вскрик. Актёры на мгновение застывают, нервно оглядываясь. Зрители слышат сдавленный смех и шепот. Диспут начинается снова. Слова льются потоком. Катерина торжествует над оппонентами, и император снова ударяет в ладони, чтобы объявить диспут закрытым, но нечаянно дергает себя за бороду, которая тут же отделяется от лица, так что ему-ей приходится держать ее руками, пока сцену закрывает занавес. Лица всех зрителей расцветают улыбками. Все, кроме актеров, обожают подобные ошибки, ведь они приносят ощущение прекрасного, заразительного хаоса в этот безупречно упорядоченный мир.

Из-за занавеса появляются три молодые женщины в костюмах крестьянок и пускаются в разговор о чуде молодой девственницы (давая прислужницам время поменять декорации). Одна из крестьянок — ее играет Евгения — исполняет песенку о радостях природы. Зрители очарованы. Евгения прехорошенькая и без монашеского платья и покрывала изысканно движется под музыку. Хорошо еще, что в зале нет мужчин, не то они непременно стали бы восхищаться ею, хотя многим она, несомненно, показалась бы худоватой — не по моде того времени. До появления Серафины она была первым соловьем монастыря, и потеря этого положения далась ей нелегко. «Надо поговорить об этом с аббатисой», — думает Зуана. Она вертит головой в поисках Чиары — та должна быть где-то в первом ряду, с самыми влиятельными гостями, — но толпа слишком плотна.

Песенка кончается, и зрительницы благодарно вздыхают от удовольствия. Евгения на сцене так и сияет. Зуана оглядывается, чтобы

взглянуть, как отнеслась к этому музыкальному вызову Серафина.

Но Серафины нет. Ее место опустело.

Зуана поворачивается всем телом и вглядывается в последний ряд — быть может, девушка пересела, чтобы лучше видеть, — но ничего не может разобрать, так как комната в тех местах, куда не достигает свет свечей, уже погрузилась во мрак.

В памяти Зуаны вдруг оживает сцена на сумеречной вершине прекрасной колокольни, когда аббатиса, повернув к ней голову, сказала: «Формально, поскольку три месяца с момента ее вступления в монастырь еще не прошли, ей не полагается смотреть пьесу вместе с другими, но она оказала монастырю такую услугу своим голосом, что я просто не могу отказать ей в этом удовольствии...»

Может быть, она просто ушла? Так устала, что не выдержала и вернулась в келью? Вряд ли. Ни одна послушница, как бы сильно она ни была утомлена, ни за что не пропустила бы такое развлечение. А вот если бы она выскользнула из зала, никто бы не обратил на нее внимания, ведь сейчас взгляды всех, особенно сидящих в последнем ряду, прикованы к сцене и тому, что на ней происходит.

Зуана чувствует, как что-то обрывается у нее в животе.

«Конечно, обычно за ней смотрит сестра-наставница, но она будет занята исполнительницами. Поэтому я прошу приглядеть за ней тебя...»

Зуана соскальзывает со своего места и идет назад, в конец трапезной, чтобы проверить, там девушка или нет.

«Только сделать это надо так, чтобы незаметно было, что ты наблюдаешь. В последние недели она очень старалась, и я бы не хотела, чтобы она подумала, будто мы ей не доверяем».

В конце зала никого нет. Девушка исчезла.

Зуана устремляется к двери, стараясь никого не потревожить. Последнее, что она видит, — это как раздвигается занавес и две прислужницы удирают со сцены, на которой только что устанавливали колесо.

Снаружи в верхней галерее уже темнеет, и Зуана на несколько секунд задерживается, привыкая к темноте. Потом она идет уверенно: вниз по лестнице и через двор, к угловой келье девушки. Ее дверь закрыта, внутри темно.

Повернув задвижку, Зуана толкает дверь.

С той первой ночи, без малого три месяца тому назад, она не была здесь ни разу. Ей вспоминается девушка, чье лицо скрыто растрепанными волосами, девушка, которая, прижавшись спиной к стене, громко воет, оплакивая свою свободу. «Меня живьем зарыли в эту могилу». Она рычала от ярости. В ней было столько негодования. Столько жизни...

В глубоком сумраке Зуана различает очертания фигуры на кровати. Куда все делось? Ей вспоминается, как отяжелело на ее руках тело девушки, когда настой начал действовать. «Я все равно не сдамся». И что же теперь? Неужели она вправду сломалась? И теперь готова лечь и умереть здесь, как все?

— Серафина?

Зуана делает шаг к кровати. Но, еще не приблизившись, уже знает, что найдет на ней, и вдруг понимает, что здесь происходит, понимает так ясно, глубоко и отчетливо, как будто всегда это знала, но предпочитала не обращать внимания. От изумления ее бросает сначала в жар, потом в холод.

«Слова шли из моих уст, а не от сердца».

Сестра-травница отбрасывает покрывало. Ворох тряпок, очертаниями отдаленно напоминающий человеческую фигуру, никого не обманет даже в сумерках. Развернув его, она находит внутри куклу — Младенца Христа. Иные усмотрели бы ересь в таком ее применении.

Поспешно выскочив из кельи, Зуана бежит по коридору к привратницкой. В парлатории темно, и у ворот никого нет: дежурная сестра ушла, получив, как и все остальные, разрешение посмотреть спектакль. Однако ворота крепко заперты на замки и засовы, а ключи, вне всякого сомнения, лежат в карманах у аббатисы и дежурной сестры.

Но если не здесь, то где же? И как?

Когда она идет по двору, направляясь ко второй галерее, воздух над ее головой сотрясает удар грома. Настала пора Господу Богу вмешаться в происходящее в трапезной. Грохот проникает даже в лазарет, и несколько секунд спустя раздается голос Клеменции, которая, стеной, натягивает сдерживающие ее веревки. Кто на этот раз, черти или ангелы? Но тут Зуану посещает другая мысль: она вспоминает, как девушка вышла из аптеки, держа руки в карманах



платья. А за ней по пятам рвался настойчивый голос Клеменции: «Ангел из сада ждет тебя... Видишь, видишь — мой ангел вернулся».

Если отбросить бред, то что она хотела сказать? Да, однажды Серафину поймали за пределами кельи ночью. За что она понесла наказание. Но, если подумать, это случилось уже после того, как Клеменцию ограничили в движении, так ведь? В таком случае... в таком случае сколько же раз она могла видеть девушку до этого?

«Она очень старалась в последние недели, и мне бы не хотелось, чтобы она подумала, будто мы ей не доверяем».

Неужели и остальных так же провели?

Через вторую галерею Зуана попадает в огород. После наступления темноты сюда ходить нельзя, и хотя ей случалось бывать здесь однажды ночью — нет, дважды, ей разрешали сходить за лекарственной травой, которая нужна была срочно, — она шагает не так уверенно. Она вспоминает, как выглядит монастырь с верхушки колокольни: сады, пруд, фруктовые деревья и дальше, за ними, стены. А между ними неровными стежками вьется прерывистая линия светлых камней, ведущая от края второй галереи — куда? К стене вдоль берега реки. Светлые камни. На земле при дневном свете никто не обратит на них внимания, но вот ночью, если в небе есть хоть крохотный серпик луны, они сложатся в яркую дорожку, вдоль которой, стоит ее разглядеть, очень легко идти.

Теперь, когда Зуана знает, что ищет, задача становится легче, и она идет вдоль выложенной камнями тропы, подхватив юбки, чтобы не зацепиться ими за кусты или колючки, и вспоминает, как рассерженная молодая послушница подняла горсть камней, а затем швыряла их в пруд, пока она, ее официальная провожатая и наставница, показывала ей монастырские уголья и расписывала чудеса монастыря с его приречными складами, сквозь двойные двери которых товары поступали внутрь и уходили наружу, в большой мир. Господи Иисусе, неужели эта девчонка ничего не забыла и всем воспользовалась?

К дверям склада Зуана подбегает, совсем запыхавшись и едва переводя дух. Из-за стены до нее доносится уличный шум, но там, где кончается дорожка из камней, пусто, и двери закрыты. Никаких признаков жизни. Ни единого. Она прислоняется к двери и тяжело дышит. Пока она стоит, собирая мечущиеся мысли, ей вдруг кажется, как что-то шуршит или царапается внутри. Она поворачивает голову,

прикладывает к двери ухо и слушает. Внутри находится склад, дверь из него ведет во второй склад, а оттуда — на реку. Неужели внутри кто-то есть? Да? Или нет?

Зуана протягивает руку к железной ручке над замочной скважиной и как можно тише толкает ее внутрь. Дверь не поддается. Разумеется, она заперта. И наружная дверь тоже. Нет.

Конечно же, шум ей только показался. Кто может достать ключи? Кроме аббатисы, они есть только у сестры-келарии и старшей прислужницы, которые так преданы долгу, что словами не описать.

Аххх! Святая мадонна. Старшая прислужница...

«Я дала ей базилика с коньяком. Я получила распоряжение помогать... Сестра-наставница сказала, что мне это полезно».

Даже Зуане, которая ничего не знает, известно, что старшая прислужница спит чутко, а ключи под матрасом, придавленным ее тучным телом, все равно что под замком. Но пока она лежала в лихорадке, легче легкого было просунуть руку под матрас и... Но она болела больше двух недель назад. Если бы ключи пропали тогда, об этом знал бы уже весь монастырь. Так что же? Неужели она сделала копии? Но как? Кто ей помог? Чем больше Зуана думает, тем меньше понимает. Но что-то здесь происходит. Отсутствие девушки и узел тряпья у нее на постели тому доказательство. Они и еще страх, от которого сжимаются ее внутренности.

Спектакль уже окончен, когда она возвращается в трапезную. Монахини зажигают повсюду свечи, все смеются и болтают, недавние исполнительницы смешиваются с гостями. Старшей прислужницы нигде не видно, но аббатиса на виду, купается в лучах успеха в окружении двух или трех богато одетых дам. И хотя сейчас вряд ли подходящее время для того, чтобы объявлять о побеге одной из послушниц, узнать она все же должна.

У хорошей аббатисы и на затылке глаза, и Зуана еще не успевает к ней подойти, как та замечает ее присутствие в комнате, бросает в ее сторону взгляд, потом другой и хмурится. Приближаясь к ней, Зуана утирает со лба пот.

— Сестра Зуана, — весело приветствует ее аббатиса. — Госпожа Паоло, синьора Фьямметта, это наша возлюбленная сестра-травница. Именно ее должны мы благодарить за здоровье нашей общины и те чудные ароматы, которые источают наши кадилъницы и курильницы.

Женщины глядят на нее вежливо, но без всякого интереса. Лица обеих так густо набелены, что от малейшей улыбки пошли бы трещинами. «Амбра и жимолость», — думает Зуана. И немного мускуса. Их ароматы обошлись бы монастырю в целое состояние. Она склоняет голову.

— Прошу простить меня за то, что прерываю вашу беседу, мадонна Чиара. Но мне нужны ключи от речного склада.

— Ключи от речного склада? — Голос аббатисы звучит весело. — Зачем? Неужели мы уже съели все припасы?

— Да... Кое-что понадобилось одной из наших послушниц.

Она видит, как у аббатисы сужаются глаза.

— Понятно. Ну, тогда конечно. Вам нужна помощь? Я... я не знаю, кого отпустить с вами сейчас.

— Нет-нет, я сама справлюсь.

Руки аббатисы ныряют внутрь ее платья, к поясу, который она надевает всегда, при любых обстоятельствах, и снимают с него кольцо с двумя мощными железными ключами.

— Вот. В такой час вам понадобится свеча. Возьмите одну со сцены. — И весело продолжает: — И возвращайтесь к нам поскорее, ладно?

Но блеск в ее глазах противоречит уютной улыбке, с которой она поворачивается к своим гостям.

## Глава двадцать восьмая

Спустившись по лестнице и перейдя двор, Зуана, прикрывая горящую свечу ладонью, убыстряет шаги, почти пробегает вторую галерею, минует аптекарский и кухонный огороды, а затем, вместо того чтобы идти вдоль камней, обходит пруд и через небольшой фруктовый сад устремляется прямо к реке.

«Однако не надо, чтобы она видела, что ты за ней наблюдаешь. Она очень старалась в последние недели, и я не хочу, чтобы она думала, будто мы ей не доверяем...» В словах, брошенных через плечо аббатисой, пока они спускались по лестнице с колокольни, не было никакой задней мысли, как будто они только что пришли ей в голову.

Да разве это возможно — следить за человеком так, чтобы тот не знал, что за ним наблюдают? Господь всемилостивый... Она выпустила девчонку из виду минут на пять — ну, на десять, — не больше. Юбка Зуаны цепляется за колючку, и она нетерпеливо дергает, чувствуя, как натягивается и рвется ткань. Интересно, сама аббатиса знала, когда говорила ей это? Может быть, подозревала? В таком случае, кто здесь кому не доверяет?

В темноте она оступается и едва не падает. Усилием воли замедляет шаг. Бегать по монастырю строжайше запрещено, разве только при пожаре, поскольку сам вид бегущего человека порождает страх. Но, что еще важнее, она не может позволить себе погубить свечу, ведь сумерки быстро переходят в ночь...

Кирпичный фасад склада возникает перед ней, за ним поднимается монастырская стена. У двери она склоняет голову.

— Господь всемогущий, — и начинает снова: — Господь всемогущий, предаю себя в Твои...

Но ее молитву прерывает явный звук шагов по ту сторону двери.

Она вставляет в замочную скважину ключ, чувствует, как он становится на место, потом тяжело поворачивается. Засов падает с глухим лязгом, дверь приотворяется. Шум кажется оглушительным. Она толкает дверь и входит. В зияющем проеме не видно ничего, кроме темноты. Минуту Зуана стоит, вглядываясь. Ей кажется, будто тысячи иголок вонзаются в ее тело, и она понимает, что это страх. Если там и впрямь кто-то есть...

На полу рядом с ней начинается какая-то возня, что-то тяжелое шмыгает мимо, наступая ей на ногу, и она едва сдерживает крик. «Животное, это всего лишь животное, Зуана», — говорит она себе. Скорее всего, крыса. Может, ее она и слышала? Неужели она проделала такой путь лишь для того, чтобы поймать водяную крысу, набивавшую себе брюхо монастырскими припасами? Зуана подносит лучину к свече и с удовольствием обнаруживает, что ее рука несколько ре дрожит.

Пламя свечи прыгает в темноте, освещая комнату, общий план которой она и без того хорошо себе представляет: ящики и мешки громоздятся вдоль одной стены, другая заставлена бочонками с вином и емкостями с солью, а в глубине — дверь, ведущая во внешний склад и оттуда на реку. Все так, как она себе и представляла. За исключением одного. Задняя дверь не заперта. Более того, она даже не плотно закрыта.

Зуана делает к ней несколько шагов. Ее сандалии ступают по полу мягко, но шелест ткани и скрип соломы под ногами выдают ее. Стоит ей остановиться, прекращается и шум. Вокруг не слышно ни звука. Зато есть кое-что посильнее.

Ощущение. Кто-то был здесь. И еще не ушел. Она уверена в этом.

Зуана подходит к двери. Та открывается внутрь, Зуана тянет ее на себя и поднимает свечу, чтобы увидеть все сразу. Комната пуста, не считая нескольких ящиков. Но прямо перед ней двойные двери, ведущие к реке, распахнуты. Она слышит, как плещется в реке вода, как с глухим стуком ударяется о причал старая лодка. В дверях вырисовывается силуэт женщины в платье с пышными юбками, узким корсетом и с высокой прической. Пропавший костюм придворной дамы, надо полагать, давно вышедший из моды, но достаточно богатый, чтобы, в купе с прической из роскошных длинных волос, выдать девушку за даму с положением, так что никто, обогнав ее на карнавальном улице, и не заподозрит в ней беглянку из монастыря.

Женщина в дверях оборачивается, когда Зуана приближается к ней.

— Серафина!

— О-о-о-о! — Ее вопль эхом проносится над водой.

— Что ты здесь делаешь?

— Нет! Нет! Стой. Не подходи ко мне.

И такая боль звучит в ее голосе, что Зуана секунду колеблется.

— Осторожно. Отойди от края. Что ты делаешь?

— А как по-твоему? — отвечает она с вызовом, прикрывая им страх. — Ухожу. Он пришел за мной. И заберет меня.

Он? Зуана в недоумении озирается. Но комната за ее спиной пуста, и на причале тоже никого нет. Девушка очевидно одна.

— Кто? Кто за тобой пришел?

— Он сейчас будет здесь, — яростно машет руками Серафина. — Я уже слышу лодку. Она плывет сюда. Не двигайся, говорю тебе. Просто уходи, возвращайся, и ничего плохого не случится.

Но вместо того чтобы повернуться и уйти, Зуана приближается к ней. Река возле причала беспокойна, волны сердито бодают сваи. Если сюда и впрямь кто-то плывет, то ему еще придется потрудиться, чтобы войти в гавань и причалить в полутьме. А если там никого нет, то ей наверняка удастся уговорить девушку уйти.

— Не двигайся. Говорю тебе — если ты сделаешь еще шаг, я... я прыгну. — И она подается к краю причала.

Зуана замирает. Сколько же она стоит здесь одна и ждет? Полчаса? Нет, теперь уже, наверное, больше. Дует ветер, в воздухе пахнет дождем.

— Серафина, Серафина, — зовет Зуана, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно мягче. — Послушай меня. Не надо так. В конце года ты можешь...

— Я не доживу до конца года. А если и д-доживу, меня все равно никто не станет слушать. Т-ты сама так сказала. Ни аббатиса, ни епископ.

— Но то, что ты делаешь сейчас, приведет тебя к катастрофе. Ты не сможешь жить там одна. Скандал...

— Мне п-плевать на скандал. Мне плевать на с-скандал. Я не могу здесь больше. Я здесь умру. Разве ты не видишь? Я не такая, как ты. Это место меня убивает. — Ее ужас так глубок, что заставляет ее заикаться. — Он придет. Он... он... он позаботится обо мне. — Серафина оборачивается и бросает быстрый взгляд на черную воду. Но правда в том, что никакой лодки не слышно и не видно. — Он придет. Он придет. Он ждет на т-том берегу, — повторяет она и делает шаг к старой лодке.

— Нет! — Зуана машинально шагает ей наперерез. — Тебя ничего там не ждет. Кроме позора.

Но девушка уже села и возится с веревками. Их разделяют всего три или четыре локтя.

Зуана тянется к ней.

— Ну же. Возьми мою руку. Все будет хорошо. Я помогу тебе...

Девушка поднимает голову, свет свечи на мгновение отражается в ее глазах.

— Не могу. Разве ты не видишь? Не могу, — шипит она. — Пожалуйста, отпусти меня, просто отвернись и уходи. К-когда я отсюда выберусь, ни одна живая душа не узнает, что ты нашла меня здесь. Даже если меня поймут, будут пытаться и переломают один за другим все пальцы, даже тогда я тебя не выдам. Клянусь. Просто повернись и уходи.

— А если ты утонешь?

— Ну и что? — Девушка вдруг успокаивается. — Что бы ни случилось там, это лучше, чем медленная смерть здесь. Пожалуйста. Я тебя умоляю.

Зуана стоит как парализованная. Она знает, что надо броситься на нее, схватить, притащить назад, но...

Мгновение затягивается, окружая их со всех сторон.

Девушка улыбается.

— Спасибо, — просто говорит она.

Она снова сосредоточивается на веревках, и тут же за их спинами раздается какое-то шевеление.

— Держи ее. Останови ее, немедленно!

Это голос аббатисы.

Зуана невольно повинуется, бросается к девушке, хватая ее за руку и тянет обратно на причал, а та молотит руками-ногами, отбивается и вопит. Не проходит и нескольких секунд, как аббатиса подскакивает к ней, хватая девушку за другую руку, вырывает у нее веревку, и вот они уже вместе волокут ее прочь от реки, дюйм за дюймом преодолевая путь от лодки до дверей склада. И все время, пока они не переваливают через порог, она продолжает вопить. Всякий, кто слышит ее сейчас, наверняка решит, что кого-то убивают, хотя во время карнавала убийство легко спутать со слишком пылким ухаживанием.

— Ключи. Дай мне ключи, Зуана.

Аббатиса отпускает девушку и запирает за ними дверь.

— НЕ-Е-Е-ЕТ! — визжит в темноте девушка, вырывается из рук Зуаны и бросается к исчезающему лучику свободы меж закрывающихся дверей. — НЕ-Е-Е-ЕТ! Джакопо! Джакопо! Где ты? — Отчаяние мечется по комнате, рикошетом отскакивая от стен.

Дверь с грохотом закрывается, поворачивается ключ, и внешний мир внезапно исчезает; ни плеска воды, ни простора небес, ни свежего воздуха, ничего. Ничего.

— Ха-а-а-а. Не-е-ет!

Девушка обмякает и внезапно повисает на руках Зуаны таким тяжелым грузом, что та поневоле опускает ее на пол. Аббатиса достает свечу с колпачком, спрятанную рядом с дверью, и, подняв ее, движется туда, где девушка лежит на полу в объятиях Зуаны, сломленная и стенающая. Замерев над ней на мгновение, она качает головой.

— Все кончено, — говорит она спокойно, почти устало. — Все кончено.

Но девушка только стонет и, кажется, ничего не слышит.

Аббатиса говорит громче:

— Ты должна бы поблагодарить меня. Прожди ты здесь хоть всю ночь, он все равно бы не пришел.

Теперь она завладела ее вниманием.

— Что? Что вы говорите?

— Я говорю, что его здесь больше нет. Он уехал из Феррары два дня тому назад.

— Нет! Нет! Вы лжете! Вы ничего не знаете о нем.

— Напротив, я знаю очень многое. К примеру, я знаю, что он Джакопо Браччолини — так ведь, кажется, его зовут? — очень удачливый молодой человек. Его композиторские и вокальные таланты оценили и предложили ему должность помощника капельмейстера в Парме, и он принял предложение. Тебе следовало бы за него порадоваться. Это значит, что ему не грозят больше преследования и тюрьма за попытку похитить послушницу одного из крупнейших монастырей города, — говорит аббатиса, оправляя юбки с таким видом, будто принимает участие в самом повседневном монастырском деле. — Более того, я бы сказала, что ему вдвойне посчастливилось, ибо я не могу представить человека, который дал бы работу учителю,



уволенному с предыдущего места за попытку изнасиловать своих благородных учениц.

— Не-е-ет, — стонет девушка.

Аббатиса ждет. Глядя на Зуану, она едва заметно покачивает головой. Хотя им есть что сказать друг другу, сейчас, очевидно, не время.

Зуана наклоняется и предлагает девушке руку.

— Пойдем. Будет лучше, если ты придешь назад своими ногами и нам не придется тебя нести.

Но девушка в ярости отшатывается от нее.

— Ты, без сомнения, считаешь меня жестокой. — И ее голос звучит почти дружелюбно. — Но я не так жестока, как он. Тебе следует знать, что убедить его отказаться от тебя было вовсе не трудно. Он ведь не любит тебя, понимаешь? Наверное, он говорил иное, может быть, даже клялся в вечной любви — нисколько в этом не сомневаюсь, — но на самом деле ты была для него просто зрелым плодом, который ему хотелось сорвать, а если бы ему удалось убедить твоего отца отдать тебя за него, то он получил бы деньги. Но в конце концов ему показалось, что ты не стоишь таких хлопот. Хлопот, которые ты причинила бы всем. Понимаешь?

Но девушка не отвечает, только стонет едва слышно.

— Правда состоит в том, что Господь будет любить тебя куда больше, чем любой мужчина. И мы тоже — как бы ты ни ненавидела нас сейчас.

Тут девушка поднимает голову.

— Вы ошибаетесь. Вы неправильно судите о нем. Он любит меня. Он бы не бросил меня просто так.

— Что ж, можешь считать так, если хочешь, — вздыхает аббатиса. — Но поверь и моим словам. — Тут ее тон становится суровым. — Ради блага твоей семьи и монастыря мы забудем все, что произошло здесь сегодня ночью. Ясно? Но если хотя бы одно слово, сказанное здесь сейчас, станет сплетней, то Джакопо Браччолини, как бы ни был хорош его голос, сгниет за свое преступление в замковой тюрьме. — Девушка смотрит на нее во все глаза. — Думаю, ты уже поняла, что я могу это сделать.

Она встает и жестом велит Зуане сделать то же самое, а девушка остается лежать на полу, как сломанная кукла.

Монахини торопливо выходят во внешний склад.

— Я должна вернуться в трапезную. Я и так слишком долго отсутствую. Придется тебе доставить ее в галерею одной.

Зуана отвечает кивком, хотя в темноте его вряд ли видно.

— Отведи ее в келью и оставайся там до тех пор, пока я не решу, как с ней быть... Сделаешь?

Наступает короткая пауза. Несравнимая с той, когда Зуана стояла на причале, словно парализованная, а где-то за ее спиной пряталась аббатиса. Но теперь, как и тогда, слишком темно, и нельзя с уверенностью утверждать, кто и что видел. Или слышал.

— Да, — невыразительно отвечает она.

— Хорошо. — Аббатиса выходит в сад, дверь за ней захлопывается.

Тем временем девушка, лежащая на полу внутреннего склада, тоже приняла решение.

Пока две женщины разговаривали, Серафина запустила пальцы в карман юбки. Достала оттуда стеклянный пузырек и аккуратно, чтобы не расплескать ни капли, вытащила пробку. Вернувшись к ней, Зуана видит, как она, прильнув губами к пузырьку, жадно пьет.

Зуана подбегает к ней и выбивает пузырек у нее из рук, тот отлетает в сторону, грохоча по каменному полу, но не разбивается — стекло слишком толстое. Монахиня тут же становится на четвереньки и ползает по полу, ища его, а ее мозг осаждают воспоминания. Вот она стоит в аптеке, смешивая кошениль с водой, ее голова горит от лихорадки — и тут ей бросается в глаза какая-то странность в расположении бутылей на полке. Позже, поправившись и встав на ноги, она проверяет лекарства, но обнаруживает, что ничего не пропало; все ингредиенты на своих законных местах, а проверять уровень лекарств в каждой бутылке у нее никаких оснований нет.

Ее пальцы нашаривают стеклянный пузырек. Она подносит его к носу. Господи, помоги нам. Пол сухой, в бутылочке ни капли. На четвереньках Зуана подползает к девушке, хватает ее за плечи и поднимает так, чтобы их лица оказались на одном уровне и она могла ее разглядеть.

— Сколько, Серафина? Сколько ты выпила?

Но девушка вместо ответа только облизывает губы, чтобы не оставить ни капли.

— Скажи!

Она трясет головой.

— Это то, что дают осужденным на смерть перед началом пыток. Разве ты не говорила мне этого той ночью?

— Ох, Отец наш Небесный, — шепчет Зуана. — Чем мы заслужили такое?

Она протягивает руку и убирает волосы с лица девушки. Та выглядит такой усталой и изможденной. Слишком молодая. И слишком чувствительная. Ежемесячное помешательство, поражающее некоторых девушек перед началом менструаций. Вот как все начиналось несколько месяцев назад. Господи, пожалуйста, пусть это кончится как-нибудь иначе.

— Пойдем, — шепчет она нежно. — Пойдем. Надо устроить тебя поудобнее.

Она поднимает девушку с пола и ставит ее на ноги, отмечая при этом, как сильно та похудела и насколько легче кажется теперь, чем три месяца тому назад, а заодно думает о том, как потеря веса отразится на ее восприимчивости к снадобью. Однако эти размышления никак не отражаются на ее голосе, который звучит нежно, почти любовно.

— Ну же, Серафина, ты поможешь мне? Пойдешь со мной?

Девушка кивает и послушно переступает ногами. В сумерках на ее лице проступает кривое подобие улыбки.

— Думаю, я выпила достаточно, чтобы не чувствовать боли. Надеюсь.

## Глава двадцать девятая

Рвота и понос продолжаются всю ночь и большую часть дня.

Поскольку Зуана не имеет представления о том, сколько макового сиропа выпила девушка, приходится считать, что флакон был полон. Значит, надо дать ей такую дозу чемерицы, чтобы очистить желудок, но не отправить на тот свет. А такой баланс с трудом дается даже опытному аптекарю.

Хорошо, что ей хотя бы дали свободную ночь для начала.

Когда посетители расходятся, аббатиса собирает свою паству, благодарит всех за чудесную работу, покрывшую новой славой Санта-Катерину, и объявляет, что сегодня они будут спать без перерывов, даже на молитву, так как заутреня отменяется. Монастырский колокол останется нем до рассвета. Это распоряжение пользуется успехом, так как теперь, когда волнения уже позади, все ощутили, насколько они устали; а некоторые монахини помоложе даже всхлипывают, услышав новость. И сестра-наставница, которой решение аббатисы не вполне по нраву, тоже устала, а потому молчит.

Когда община погружается в глубокий, удовлетворенный сон, аббатиса и сестра-наставница встречаются в угловой келье главного здания монастыря, где одна из них раскрывает девушке рот, а другая вливает туда ядовитое снадобье из мякоти яблока, настоящего с корнем чемерицы.

Первый спазм наступает очень скоро. Хотя девушка уже давно почти без сознания, боль так остра, что пробуждает ее: она открывает одурманенные глаза, и с ее губ срывается жуткий стон. Вместе они перетаскивают ее с кровати на пол. В следующие часы, сколько бы их ни было, им придется поддерживать ее в сидячем положении со склоненной вперед головой, что не только поможет скорее очистить организм, но и не даст несчастной захлебнуться собственной рвотой. Неплохо было бы помолиться, и аббатиса скоро находит подходящий случаю псалом...

О, Господь, не вини меня во гневе Твоем  
И не казни меня в ярости Твоей,

Ибо слаб я, и душа моя страдает.

Но когда лекарство вступает в полную силу, приступы становятся столь неистовыми и частыми, что не оставляют им времени даже на разговоры, а тем более на молитвы. Присмотр за больной превращается в тяжелый труд. Горшки, которые приносит Зуана, тут же наполняются снова и снова. Когда начинается понос, тело девушки корчится от удвоенной боли. Вонь быстро становится непереносимой. Монахиням приходится закатать рукава и подоткнуть повыше юбки, чтобы совсем не испачкаться. Девушку они раздевают до сорочки, чтобы она тоже измазалась как можно меньше, а ее волосы завязывают куском ткани, чтобы они не закрывали ей лицо и не попадали в рвоту. Но с потом, который ручьями льет с нее, или со спазмами, от которых безвольно трясутся ее руки и ноги, они ничего сделать не могут.

Некоторые считают чемерицу незаменимым помощником экзорцистов, ибо демон, забившийся вглубь, дабы избежать ожогов от святой воды, скоро обнаруживает, что само тело начинает его исторгать. Хотя Зуане никогда не доводилось пользоваться чемерицей в таких целях, она достаточно видела ее действие, чтобы представить, как это выглядит: сведенный судорогой торс деревенеет, спина выгибается дугой, как будто какой-то злобный дух корежит человека изнутри. Но вот чего она никогда не наблюдала раньше, так это воздействия рвотного средства вкупе с мощным снотворным. На тело, которое вот-вот испустит дух, но продолжает сотрясаться идущими изнутри конвульсиями, поистине страшно смотреть, временами им кажется, что перед ними тряпичная кукла в зубах огромного пса, и он то трясет ее, то бросает, но лишь для того, чтобы через несколько минут подхватить вновь.

— Не бойся, Серафина, — неожиданно для себя самой шепчет она, когда они поднимают девушку в ожидании следующей волны. — Помнишь, мы с тобой говорили, что иногда один яд изгоняет другой? Это не навсегда.

Но мак и чемерица крепко держат ее в своих объятиях, и она, похоже, ничего не слышит. Зуана встречается глазами с аббатисой и видит в ее взгляде такое неприкрытое восхищение, что ей даже становится стыдно. Со стены над кроватью смотрит на них

деревянный Христос. Одно страдание взирает на другое. Кто может сказать, какая мера отпущена каждому? И какие грехи будут прощены, а какие останутся?

Падая спиной вперед на руки Зуане, девушка бормочет что-то нечленораздельное.

— Прсс мя, прсс.

Зуана склоняется над ней, надеясь разобрать больше, но шепот уже потонул в долгом болезненном стоне, когда ее внутренности сводит вновь.

Где-то в конце ночи аббатиса уходит.

Утром она должна будет появиться на службе, а до того — вернуть в гардеробную украденный костюм, умыться, почиститься и наконец немного поспать. К тому времени приступы ослабевают, и Зуана начинает надеяться, что это, возможно, все. Но едва за аббатисой закрывается дверь, накатывает новая волна рвоты, и Зуана в одиночку еле справляется с ней.

Они постелили на пол тонкий матрас, чтобы не мучить девушку соприкосновением с твердым камнем, и в перерыве между приступами она лежит на нем, часто и неглубоко дыша и покрываясь испариной, которая возвращается, сколько бы ни вытирала ее Зуана. Подействовала ли чемерица, станет ясно, лишь когда спазмы прекратятся и девушка снова придет в сознание. Но случится ли это — нет, не надо так говорить, — когда это случится, она не имеет ни малейшего понятия.

Из глубины я воззвал к Тебе, Бог мой,  
О, Господь, услышь мой глас,  
Не отврати слух свой от моей мольбы.

Снаружи начинается дождь, сначала небольшой, но постепенно он усиливается, поднимается ветер. Все, кто еще бродит по улицам, одержимый карнавальным безумием, сейчас разбегутся по домам. Господь отмывает город в преддверии Великого поста. Назавтра горожане проснутся, все как один мучимые похмельем, и вспомнят о воздержании и покаянии. И тех, кто будет каяться искренне, Он, несомненно, услышит.

Если Ты, Господи, станешь уличать виновных,  
то кто избежит обвинения?  
И все же Ты прощаешь грехи, чтобы Тебя боялись.

Дождь теперь льет как из ведра, и скоро до Зуаны доносится шум воды, хлещущей из пасти горгулий на каменные плиты двора. Ее вдруг охватывает желание выскочить наружу и встать посреди этого потопа, захлебываясь его свежестью.

Ткань ее платья задубела от рвоты и кала, а вонь стоит такая, что скрыть состояние девушки от других не удастся, они все поймут, как только проснутся. Зуана поворачивает девушку на бок на случай нового приступа рвоты и торопливо выскальзывает из кельи во двор, прихватив с собой горшки. Там она ставит их на землю, где в них тут же принимаются лупить тугие струи. Отмыв их, насколько возможно, она дает им наполниться водой, а сама подставляет лицо дождю. Ночь темна, половинку луны, висевшую в небе с вечера, проглотили тяжелые тучи. В считанные минуты Зуана промокает насквозь и начинает дрожать от холода. Зато сон как рукой сняло. Ветер на реке наверняка разобьет старую лодку о пристань, над которой возвышаются наглухо закрытые двери монастырского склада. Ну и что, там ведь ничего сегодня не случилось, правда? Или нет? Не надо об этом сейчас думать.

Вернувшись в келью со свежей водой, она, как может, приводит девушку в порядок.

Дай мне очистительного иссопа, и я буду чист,  
Омой меня, и я стану белее снега,  
Отврати лик Твой от моих грехов и сотри мои проступки,  
Сотвори во мне сердце чистое, Господи,  
И возобнови во мне дух праведный.

Она помнит дюжину подходящих псалмов: стихотворные мольбы, вопли стыда и вины, призывы к раскаянию, прощению, к безграничному милосердию Господа. Но, сидя над бесчувственным

телом послушницы, она вдруг теряет уверенность в их действенности; слова в них хороши, но они не говорят того, что надо сказать в таком случае.

Правда в том, что прощение дается лишь раскаявшемуся. А девушке, лежащей на тонком матрасе, всего шестнадцать, она влюблена и заключена в монастырь против своей воли. Что, если, придя в себя и обнаружив, что она снова в келье, где ей предстоит провести остаток дней, она раскается не в том, что совершила, а в том, что не сумела довести начатое до конца? Список ее грехов долгов: в нем обман, коварство, гневливость, ложь, сластолюбие, непослушание. И самый страшный грех — отчаяние. Принужденная молчать, куда она теперь обратится за утешением? Если Господь не вмешается и не осенит ее своей благодатью, послав предварительно кару, то у нее будут все основания впасть в отчаяние.

— Прости меня, Господи. За слепоту мою. — Не только послушница нуждается в прощении и благодати. Зуана молится и за саму себя. — Прости меня за то, что не разглядела ее отчаяние. За то, что думала лишь о своей печали, когда должна была вслушиваться в печали других. За то, что не стерегла маковый сироп в аптеке. За то, что отвлеклась во время спектакля. Прости мою гордыню, мою слепоту и мою занятость. За все эти грехи пошли мне наказание и в бесконечной милости Твоей удержи, если можно, эту девушку от дальнейших мучений.

Немного погодя она различает мутную полосу под дверью кельи; это наступает рассвет, приглушенный утренним дождем. Колокол звонит к молитве, вскоре раздаются шаги ночной сестры, а затем по мокрым камням шлепают многочисленные сандалии. Зуана прислоняется спиной к стене и закрывает глаза.

Она не имеет представления о том, сколько спала. На дворе уже день, когда ее будит стон и запах свежего кала.

Снаружи тихо снуют занятые дневными делами сестры. Новость уже распространилась. Певчая птичка Санта-Катерины заболела, у нее припадки, а горло, из которого лились прежде сладостные звуки, не исторгает теперь ничего, кроме рвоты. Состояние ее серьезно. Поговаривают о том, что ее келья проклята; ведь ее предшественница, сестра Томмаза, здоровая и тоже сладкоголосая, выблевала в один прекрасный день свои мозги на стены. Домысел подкрепляется тем



фактом, что келья, хотя и вблизи главной галереи, находится как бы на отшибе, так что там, возможно, задержалась какая-нибудь зараза.

Незадолго до полуденной трапезы возвращается аббатиса со сменной одежды, пищей и чистой водой для Зуаны. Она стоит, глядя на девушку сверху вниз. Та лежит спокойно, ее лицо расслаблено, рот приоткрыт, на губах вздулись волдыри то ли от рвоты, то ли от отравы.

— Когда был последний приступ?

— Недавно. Полчаса назад, может, больше.

— Значит, снадобье помогло?

— Не знаю.

Аббатиса бросает на нее быстрый взгляд.

— Но она не умрет?

— Не знаю.

— Она не умрет, — говорит аббатиса твердо и так буднично, словно объявляет меню на следующий день.

«Как чудесно, — думает Зуана, — всегда знать все наверняка. Как чудесно и как ужасно».

— Я посижу с ней, если тебе нужно отдохнуть.

— Нет. Я должна еще понаблюдать.

После ее ухода дыхание девушки начинает с шумом вырываться из ее спекшегося рта. Зуана добавляет несколько капель розмариновой эссенции в воду, приподнимает голову девушки и смачивает ей губы, потом вливает немного жидкости ей в горло. Это средство ее отца: как только организм перестает извергать жидкости, надо начинать понемногу возвращать утерянное, иначе органы внутри пересохнут и не смогут работать как следует. Девушка проглатывает воду и на этот раз не отрыгивает ее немедленно обратно. Но никаких признаков возвращения сознания нет.

Несколько часов спустя в келью входит сестра Юмилиана, получившая разрешение настоятельницы прочитать молитвы над самой беспокойной из своих учениц. Ей так больно от увиденного, что это ощутимо почти физически. Молитвенно сложив ладони, она опускается на пол, и ее губы начинают двигаться еще до того, как ее старые колени упрутся в твердые каменные плиты.

Зуана чувствует, как у нее что-то переворачивается внутри. Неужели Юмилиана видит то, чего не видит она? Может быть, она знает, что девушка умирает, чувствует это, как тогда с сестрой

Имберзагой? Неужели она проглядела какую-то перемену, не заметила знака, поданного ей телом? Но, пощупав пульс девушки, она обнаруживает, что он ровный, хотя и слабый.

Комната будто прислушивается к сестре-наставнице, шепотом произносящей слова посредничества... любовь Господа, Его ужас перед нашими грехами, глубина Его страдания, чудо возвращения заблудшей овцы в стадо. Радость последнего союза, пусть даже и в смерти, сила света, притяжение бесконечного, безбрежного моря любви.

Зуана слушает, замороженная потоком слов, срывающихся с губ старшей монахини. «Если бы я умела молиться так, как она, — проносится у нее мысль, — всем моим существом, всей душой отдаваясь каждому слову! Молиться так, словно слышу, как Он внимает мне».

Но вот молитвы кончаются, Юмилиана подается вперед и кладет два пальца на лоб девушки, прежде чем встать.

— Должна ли я попросить аббатису прислать отца Ромеро?

— Нет. Нет. — Голос Зуаны ясен. — Она не умрет. — Слова аббатисы вдруг становятся ее собственными. — Это ожидаемая реакция на лекарство. Она скоро проснется.

Но пока Юмилиана молилась, лицо Серафины из бледного стало серым, и, хотя ее губы по-прежнему открыты, нельзя сказать, дышит она еще или нет. «Слишком много, — думает Зуана. — Не мака, так чемерицы. Я дала ей слишком много... Господи, помоги мне».

— Мы должны беспрестанно молиться за нее. Остальное не в наших силах. — Сестра-наставница завладевает пальцами Зуаны и крепко сжимает их. — Не отчаивайся, — говорит она, будто знает, что именно этот соблазн темной пропастью зияет сейчас перед Зуаной. — Все, что можно требовать от врача, ты сделала. Он это знает.

«Нет, — думает Зуана. — Вовсе не все. И это Он тоже знает».

Время идет. Она поглаживает девушку по голове и натягивает на нее одеяло. Колокол звонит к ужину, и монастырь тут же наполняется шелестом шагов. Зуана щиплет себя, чтобы не заснуть.

«Больше ничего сделать нельзя, Фаустина».

«Не может быть. Должно быть еще средство», — трясет она головой.

«Ты всего лишь врач. Наступает миг, когда приходится положиться на Господа».

«Ха! Ты говоришь как Юмилиана».

«Оставь ее ненадолго. Выйди на свежий воздух. Прими что-нибудь для придания себе сил. Отвар из корней дягиля ты не держишь? Думаю, у тебя он должен быть».

«Да-да, конечно, есть».

«Тогда сделай себе питье из него и мятной эссенции. Да покрепче. Это поможет тебе продержаться до утра. Только дай ей сначала еще розмариновой воды».

«А что, если она отрыгнет ее до моего возвращения?»

«Ну и пусть, внутри у нее сейчас одна желчь, да и то немного. Положи ее на бок, она не захлебнется. Рвота — тоже признак жизни».

«Папа, папа, я не хочу, чтобы она умирала».

«Боюсь, ты слишком привязалась к ней, деточка. Это вредит лечению. Иди. Ты сделала все, что могла».

Кажется, будто с тех пор, как она была в лазарете в последний раз, прошли дни. Две монахини постарше спят, но Клеменция лежит в постели, мурлыча что-то себе под нос. В комнате чисто, пол помыт, подвесные корзиночки сменены, на маленьком алтаре готова ночная свеча. Летиция постаралась. Жизнь, несмотря ни на что, продолжается. От этой мысли ей хочется плакать. «Ты устала, Зуана, — строго говорит она себе. — А избыток усталости вызывает слезливость».

В аптеке она находит корень дягиля и смешивает его с мятой и вином. Это средство и раньше помогало ей не заснуть, поможет и теперь. Она выпивает снадобье, чувствуя, как оно стекает в желудок. Через некоторое время оно начнет действовать. Остатки она переливает в другой флакон. Надо приберечь немного на следующую ночь. Если она, конечно, будет.

Колокол уже звонит, отмечая конец трапезы, когда она выходит из комнаты. Надо спешить. Сестры вот-вот начнут расходиться по кельям, а ей не хочется видеть никого из них, даже самых добрых и участливых.

Но, пересекая двор, она замечает то, от чего ее сердце начинает учащенно биться. В самом конце галереи дверь в келью девушки,

которую она так старательно закрывала за собой, теперь стоит распахнутая настежь.

Сама девушка никак не могла это сделать. Кто же тогда с ней? Может быть, аббатиса вернулась с ужином? В таком случае, почему она не закрыла дверь?

Пренебрегая запретом, она бежит по двору. У самой двери она кое-что слышит, не голос, а скорее звук: гудение, будто вибрирует туго натянутая нить.

Внутри, на полу рядом с матрасом, скорчился кто-то маленький и горбатый, больше похожий на домового, чем на человека, с несоразмерно большой головой, совершенно лысой, если не считать седой щетины на пятнистом старческом черепе.

Сначала Зуана застывает на пороге. Потом, подходя ближе, начинает разбирать слова.

— Видишь? О да, ты видишь Его. Да-да, я знаю, ты можешь. Он вернулся, чтобы приветствовать тебя. О, погляди, как Он истекает кровью ради тебя, Серафина. Чувствуешь, как Его дыхание касается твоего лица? Открой глаза, и ты увидишь Его. Он так ждет, когда ты придешь к Нему. Он так давно тебя ждет.

— Сестра Магдалена... — Зуана старается придать своему голосу мягкость.

Но старуха не оборачивается, а только склоняет голову к плечу, словно быстроглазая птица, услышавшая шум.

— Рано, рано еще. Я еще с девочкой. Она... ей уже лучше, — произносит Магдалена и вдруг хихикает, совсем как девчонка. — Смотри, что Он сделал для нее.

И, подойдя совсем близко, Зуана действительно видит. Потому что девушка лежит на матрасе, но не спит, ее открытые глаза моргают.

Зуана едва не вскрикивает и тянется к ней, опускаясь рядом со старухой на колени.

— Серафина! — говорит она тревожно.

С исхудавшего лица глядят огромные глаза, до странности пустые, как будто она еще не поняла, что ее разбудило. Три месяца назад она была юной. Теперь юность прошла. Но она жива.

— Как хорошо, что ты вернулась.

Зуана не может сдержать улыбку. Девушка смотрит на нее, не понимая, потом, кажется, кивает.

— Что случилось? — Вопрос Зуаны адресован старой монахине, но та не слушает, а только раскачивается взад и вперед, напевая, — благочестивый домовый, а не человек.

Зуана слышит, как снаружи, во дворе, собираются люди. Надо встать и закрыть дверь.

Но уже поздно.

— О Господи Иисусе! Она жива! — Сестра Юмилиана стоит в дверях, из-за ее спины, рискуя быть наказанными за непослушание, выглядывают еще несколько храбрых душ. — Сестра Магдалена вернула ее нам!

Но Магдалена не слушает и ее. Она взяла мягкую руку девушки в свою клешню и нежно гладит.

— Видишь, видишь, я же говорила тебе, Он придет.

Девушка хочет приподняться на матрасе, но ей не хватает сил. Зуана поддерживает ее полусидя.

Юмилиана уже в келье, остальные толпятся за ней.

Серафина приоткрывает рот, проводит языком по волдырям на губах. Смотрит сначала на Зуану, потом на остальных.

— Я видела Его, — говорит она. И хотя ее голос непривычно тих, его прежняя шелковистая красота сгорела в огне болезни, все, кто есть в комнате, слышат его. — Да, думаю, что я Его видела.

## Глава тридцатая

Сначала не было ничего. Только тьма, благословенная тьма, глубокая, мягкая, обволакивавшая, как черный бархат в тишине вечного ночного неба. Без прошлого. Без будущего. Без настоящего. И это отсутствие всего было благом, милосердным забвением, в котором не существовало боли.

Забвение снизошло на нее, пока они шли через сад. Не надо было ничего больше делать. После всего сделанного от нее ничего не требовалось. Ей даже не было страшно. Руки Зуаны обнимали ее, в ушах звучал ее голос, и ей ничего не угрожало.

— Помоги мне, Серафина. Пройди немного, ладно? О, дитя мое, как мне жаль, что все так случилось.

Ей хочется сказать, что не надо ни о чем жалеть. Что все это не имеет больше значения. Что если кто и должен сожалеть, то только она одна. Ей хочется поблагодарить Зуану за все и попросить у нее прощения, ибо она еще не совсем пропащая и хорошо понимает, что произошедшее меж ними на причале наверняка навлечет на нее беду.

— Нет-нет, молчи. Побереги силы. Уже недолго осталось. Позже поговорим.

Только никакого позже не будет. Потому что на нее наваливается сон, противиться которому у нее нет сил. А за ним, она это чувствует, открывается тьма, глубокая, манящая бархатистой лаской.

— Мы почти пришли. Шагай, шагай, не останавливайся.

И она шагает, потому что не хочет подводить ее снова. Но скоро ей приходится остановиться, потому что пустота обволакивает ее со всех сторон и уносит прочь. А боль, как она и надеялась, не возвращается.

Только, только — разве это возможно? — вдруг все обрывается. Как долго продолжается ее парение в бархатной черноте, она не знает. Но когда ему приходит конец, она понимает это. Понимает, когда тьму разрывает ослепительно белая боль. Кто-то вколачивает длинный гвоздь в центр ее желудка. За первым следует второй, потом третий. Оказавшись внутри, гвозди превращаются в ножницы, кромсающие ее внутренности на такие мелкие кусочки, что они запросто могут выйти

через рот. Это происходит настолько быстро, что она не успевает даже ощутить тошноту, а ком уже подкатывает к горлу. Да так сильно, что она наверняка упала бы, если бы что-то — или кто-то — не держало ее. Она в ужасе смотрит на свои внутренности, которые льются у нее изо рта. Страх пересиливает даже боль. В следующий раз, когда гвоздь попадает ей в желудок, он устремляется оттуда вниз. Собственные стоны и запах испражнений окружают ее.

Она пытается дышать, пытается отыскать путь в благословенную тьму, но, когда она попадает туда, оказывается, что вся благодать исчезла. Она обнаруживает, что беспомощно болтается на шесте, который входит ей в зад и выходит через рот, пронзая ее тело, словно вертел готовую для жарки тушу. Оглядевшись, она видит, что не одна. Сотни, даже тысячи таких, как она, заполняют тьму, сколько хватает глаз, и каждого потрошат, жарят, пекут, режут и крошат на мелкие кусочки сонмы приземистых, ухмыляющихся палачей, черных, как породившая их ночь. Повсюду кровавая жижа и плоть, и ужасная тишина распяленных в безмолвном крике ртов, поскольку каждая душа заперта в собственных мучениях.

— О, но мы же не так гршили, — слышит она свой голос. — Это была любовь, а не сладострастие, клянусь. Два тела, поющие в лад, вот и все... О Джакопо... — Но слова не успевают сорваться с ее уст, как новый приступ рвоты раздирает ей рот, и новый поток желчи извергается оттуда.

Теперь, оглянувшись, она видит в темноте не чертей, а водяную крысу, чей мокрый блестящий мех покрывалом окружает ее голову, бледное лицо с подрагивающим носом, зубы оскалены, готовы впиться ей в бок. Крыса смотрит на нее и улыбается.

— Иногда один яд прогоняет другой. Не бойся, Серафина, это не навсегда, — говорит она, потом вонзает в нее зубы, и пытка начинается снова.

Вечность спустя, когда все ее внутренности уже вытекли на пол и терять больше нечего, боль отступает настолько, что она даже открывает глаза и видит себя в келье. Она узнает, что это ее келья, по распятию на стене.

Она лежит, держась за него взглядом, чтобы снова не сползти в ад. Она смотрит, как Он висит на кресте, удерживаемый лишь гвоздями, видит Его выпирающие ребра, чувствует, как стонет от боли каждый

мускул его тела. О да, Он понимает, что такое боль. Он знает, что значит страдать, знает страх и ужасное одиночество пытки. Нет, человек не должен быть так одинок. Его образ стоит перед ее взором, когда она закрывает глаза. Залитое кровью лицо, израненное тело. Если бы не страдание, как он был бы хорош собой. Ей представляется молодой мужчина, высокий, прямой, с кудрями до широких плеч, с гладкой, чистой грудью и прекрасным, о, каким прекрасным лицом: высоким лбом, полными губами и ясным, спокойным взглядом. Если его любят сломленным, то насколько сильнее любили бы целым и невредимым? О Джакопо, где ты? Добрый спаситель. Столько силы, столько доброты.

— Он тебя не любит. Ты не стоишь хлопот, которые ему причинила.

Нет. Нет. Нет. Конечно, Он любит. Стоит только посмотреть на него — конечно, Он любит. Всегда. В любой беде Он любит так сильно, что взошел на крест и висит там вечно, ожидая ее.

— Прости меня. Прости...

Она старается произнести слова так громко, чтобы Он услышал ее, но тут пытка начинается вновь, и ее голос превращается в громкий стон.

Темнота возвращается, и снова другая. Без тел на вертелах, но и без бархата. Зато с камнями, опаленными, жесткими и жестокими, которые окружают ее со всех сторон, и она должна лежать на них вечно. Хорошо хоть, что костей у нее нет. Они стерлись в порошок и вышли наружу с рвотой или расплавились в горниле ее нутра. Ее руки и ноги набиты песком, а это значит, что она не в силах пошевелить ими, пока это не сделает за нее боль. И кругом так сухо — ни капли влаги, один песок. Он внутри ее, забивает ей рот. Она не может глотать. Ей так хочется пить. Пить.

Но вот кто-то поднимает ей голову и проводит по ее губам пальцем, с которого ей в рот стекает влага. Как она жжет! После такой агонии удивительно чувствовать не сильную, вполне определенную боль. Но вот воды становится больше. Она тонкой струйкой сочится ей в рот, обжигает горло. Она закашливается. Ей больно, но не настолько, чтобы перестать пить. Она глотает еще, она пила бы с жадностью, но чья-то рука сдерживает ее. Внутри у нее все стонет и содрогается,



когда струйка воды попадает в желудок, она чувствует позыв рвоты, но наружу ничего не выходит.

Позже — через несколько дней или часов — она понимает, что боль прекратилась.

Облегчение, чистая радость оттого, что она ничего не чувствует, затопляет ее. Безмятежность похожа на гладкую поверхность воды; ни ветерка, ни ряби, ничего, только изумленная неподвижность. Как это возможно, чтобы боль ушла? Как может полностью исчезнуть то, чего было так много? Как такое происходит? Сколько же любви для этого нужно? Какое чудо надо совершить?

— Доминуссал ведеиграсиас.

Начинается высокая тонкая песнь. Подняв взгляд от неподвижной поверхности воды, она видит заросли камышей, качающихся на ветру. «А еще стало светло», — думает она. Это, наверное, солнце, потому что она чувствует, как оно пригревает. Мир вдали закрыт дрожащим маревом жары, сквозь которую видна — фигура? — приближающаяся к ней.

— Видишь? О да, ты видишь Его, Серафина? Он так любит тебя. Он послал меня, чтобы я тебя разбудила.

Голос странный, детский и в то же время старчески надтреснутый. Она узнает его, чувствует нутром, точно ставшую привычной пустоту под ложечкой. И сосредоточивается на том, кто впереди. Воздух так прогрет. Не удивительно, что все вокруг блестит. Из блеска выступает высокая длинноволосая фигура и снова растворяется, будто человек споткнулся, и блеск поглотил его.

— Видишь, как кровоточат Его бедные руки и ноги. Но Он улыбается для тебя. Он ждал тебя. Он пришел, чтобы сказать: «Добро пожаловать назад».

Назад. Внезапно в животе у нее начинается ужасная ломота, как будто вместе с внутренностями из нее вычерпали и утробу. Но она продолжает смотреть, а Он подходит все ближе. Да-да, она видит Его: прекрасный широкий лоб, порезанный полосой глубоких маленьких ранок, глаза ясные, все понимающие. Он любит. Он не бросит никогда. Он любит меня.

— Открой глаза, и ты Его увидишь.

Она слегка вскрикивает. И понимает, что должна сейчас проснуться. Что Он этого хочет.

Она открывает глаза. В келье серый сумрак. Ни блеска, ни света. Отвратительный, затхлый запах. На стене одиноко висит на кресте Христос. Рядом с ней высохшая Магдалена с лицом, как маринованный орех, качается туда и сюда в детском восторге.

— Серафина? — Рядом с ней на полу оказывается сестра Зуана, ее лицо совсем близко, она устала, но улыбается, сияя, словно солнце. — О, как хорошо, что ты очнулась.

Позади, в дверях, она видит сестру Юмилиану, из-за чьей спины на нее смотрят Евгения, Персеверанца, Аполлония, Феличита и другие.

— Господи Иисусе! Она жива. Сестра Магдалена вернула ее нам!

Радость сестры-наставницы так полна и заразительна, что многие из тех, кто стоит у нее за спиной, тоже начинают смеяться.

Комната заполняется людьми, когда она делает попытку пошевелиться, но ее кости, разумеется, еще слабы, и она не может подняться.

Старуха протягивает к ней руку.

— Видишь, — беззубо ухмыляясь, говорит старуха. — Я же говорила тебе, Он придет.

Она приоткрывает рот, проводит языком по волдырям на губах. Нет. Она все же не сбежала, не смогла вырваться на свободу. Она смотрит на Зуану, потом на остальных. Вот они здесь, ее семья, те, с кем ей предстоит жить до самой смерти, до тех пор, пока седые волосы не начнут расти у нее на подбородке, а кожа не сморщится, как старый сапог, и жизненные соки не покинут ее до последней капли.

Только она еще не умерла.

— Я видела Его, — говорит она так тихо, что стоящие в другом конце комнаты едва слышат ее. — Да, думаю, что я Его видела.

— Ах, да это чудо. — Голос сестры Юмилианы, напротив, эхом отзывается во дворе.

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



## Глава тридцать первая

Первые дни Великого поста Зуана и Серафина отсыпаются каждая в своей келье. Вокруг них продолжается большая чистка города. Дождь льет так, что сточные канавы и горгульи водопроводных труб не успевают отводить воду, и по всему монастырю текут грязные ручьи. Вода просачивается под двери келий, подолы одеяний монахинь намокают на ходу. Даже монастырские кошки перебираются под крышу и спят, свернувшись калачиком, на теплых деревянных скамьях хора, откуда их сгоняют перед каждой службой.

Стеклянные бокалы из Мурано и керамические тарелочки бережно завернуты и убраны в сундуки, платья, сапоги и парики возвращены хозяевам; грохот, который производят рабочие, разбирая сцену, уже не волнует так, как волновали звуки ее возведения. В кухнях вертела и сковородки отправлены на самые дальние полки, и сестры ожидают начала поста, вне всякого сомнения, ободренные всепроникающими запахами вареных овощей и водянистых супов.

Подошла пора глубоких размышлений и осознанного воздержания. Но никто не впадает в уныние. Напротив. Хотя обычно с Великим постом напряжение карнавальных недель спадает, в этом году его сменило всеобщее возбуждение. Что-то происходит с общиной после откровения в келье Серафины. Все, не только монахини, но и послушницы, молятся больше обычного — а что еще им делать? — и со все возрастающим нетерпением ждут следующего собрания.

За девушкой ухаживают Летиция и ее бывшая прислужница, они отмывают келью и по приказу сестры Зуаны развешивают в ней остатки ароматических смесей из трапезной для освежения воздуха. Когда Серафина наконец просыпается, то у нее нет сил встать, и кухня сама приходит к ней в лице Федерики. Послушницы не обязаны поститься — отказ от пищи не рекомендован и монахиням моложе двадцати пяти лет, — и Федерика приносит ей разную вкуснятину, оставшуюся от праздничного обеда; Серафина не прикасается к еде. Болезнь отбила у нее всякий аппетит, и, хотя для подкрепления сил ей надо поесть, Серафина наотрез отказывается от всего и просит только воды. Когда ее приходит навестить сестра Юмилиана, девушка просит у нее позволения исповедоваться и приготовиться к причастию.

Сестра-наставница передает ее просьбу аббатисе. Отказать в ней никто не вправе. И поскольку идти к отцу Ромеро она не может, исповедник сам приходит к ней. Пастырь уже много дней не ступал на территорию монастыря, и аббатиса заботливо распоряжается дать ему фляжку с вином, чтобы ему было чем подкрепиться в столь длинном путешествии. Проходит немало времени, прежде чем он покидает келью. Остается только гадать, что он там делал так долго — спал или слушал.

Когда он уходит, аббатиса стоит и смотрит, как он ковыляет по галерее в сопровождении прислужницы, старательно укрывающей его от дождя. Ничего из услышанного он не расскажет, а она ни о чем не спросит. Интересно, сколько он еще протянет? Он уже имена монахинь и те наверняка позабыл.

Мадонна Чиара складывает на груди руки и чуть слышно вздыхает. Ей предстоят напряженные недели. Сколько бы труда ни требовала подготовка к карнавалу, на потом работы всегда остается больше: надо проверить бухгалтерские книги, сравнить приход с расходом, заново заказать припасы, написать письма благодарности. Ее внимание было поглощено другими делами во время «чудесных событий» в келье Серафины, поэтому, когда она пришла, все уже кончилось, и ей пришлось довольствоваться пересказом.

Тем не менее она прекрасно понимает, к чему это может привести в будущем. Великий пост — время, когда, по традиции, каждый монастырь полагается исключительно на свои внутренние ресурсы, как духовные, так и материальные, а потому всякая аббатиса должна особенно внимательно следить за всеми подводными течениями и узловыми моментами жизни общины, которые могут проявиться в этот период. Проведя в Санта-Катерине тридцать семь лет из своих сорока трех, мадонна Чиара знает о монастыре и населяющих его сестрах практически все и без затянувшейся драмы послушницы или нового появления на людях сестры Магдалены чувствует, что вызов, который бросает ее власти сестра Юмилиана, крепнет день ото дня. Так что, пока мирские дела монастыря в порядке — отношения с епископом налажены, покровители накормлены, почести им оказаны, список будущих послушниц с богатыми придаными составлен, сумму приданого можно будет и увеличить, если желающие пристроить к

ним своих дочерей и дальше будут стоять в очередь, — самое время заглянуть в дела внутренние.

Зуана, получившая разрешение пропустить утреннюю службу, наконец просыпается в своей келье посреди рабочего часа. Сон ее был глубок и не прерывался видениями. Она умывается теплой водой из тазика, который прислужница оставила под ее дверью вместе с новой печаткой благоухающего мыла и свежим полотенцем. Поскольку ее собственное приданое не настолько велико, чтобы позволять ей такую роскошь, она понимает, что это подарок из запасов монастыря. И принимает его с благодарностью. Запах экскрементов все еще липнет к ее коже, и она моется с удвоенной энергией. Особенное удовольствие — да, именно так — доставляет ей намыливание волос. За зиму они отросли, и ей по душе их влажная тяжесть и мурашки удовольствия, которые пробегают по ее спине, пока она пальцами массирует себе голову. Оставив волосы непокрытыми, она головной повязкой трет себе сначала руки, потом тело под сорочкой.

Работая в лазарете, она чаще соприкасается с телами женщин, чем другие монахини, однако собственное тело не вызывает в ней никакого интереса. Разумеется, в ее жизни бывали моменты, когда она задавала себе вопрос о том, чего ей не суждено испытать, и даже раз-другой исследовала сладостные темные уголки своего тела, однако зов плоти оказался в ее случае, самое большее, преходящим, а напряжение умственного труда и дисциплина молитвы подавили и подчинили его окончательно.

Мыло мягко обволакивает ее кожу, взбиваясь в пышную морскую пену. Зуана чувствует ароматы миндаля и календулы — не иначе как из запасов самой аббатисы — и отмечает тихий восторг, который охватывает ее от того, как удачно дополняют друг друга запах и ощущение.

Она знает, что борьба с зовом плоти не всегда также легка для других. Серафина — далеко не единственная молодая женщина, которая отдает свою девственность Иисусу, в то время как тоска по материальному мужу продолжает снедать ее. Хотя способы ослабить напряжение есть. За многие годы ей часто случалось не спать ночь, решая какую-нибудь проблему или обдумывая способы лечения, и тогда она не раз слышала учащенное дыхание и стоны, которые

раздавались то из-за одной двери, то из-за другой. Иногда удовольствие трудно отличить от боли; но так или иначе одного звука достаточно, чтобы пробудить в тех, кто его слышит, огонь желания, и потому Зуана давно уже научилась повышать громкость собственных мыслей, заглушая наружные шумы. Не ее это дело — осуждать или спасать чужие души.

Она обливает себя водой и торопливо вытирается, потом сушит полотенцем волосы до тех пор, пока они не встают вокруг ее головы дыбом, точно игольчатый нимб, но, поскольку зеркала в ее келье нет, увидеть это она не может.

Если, точнее, когда такие проступки становятся очевидными — а это рано или поздно случается, — повинную сестру или сестер заставляют сделать признание, которое, однако, остается между ними и исповедником, а затем подвергают строгому и регулярному наказанию. После чего все либо заканчивается — избыток энергии видоизменяется в любовь к Господу, — либо сестры научаются лучше скрывать свой грех. Самая гнусная еретическая пропаганда касается монахинь и исповедников, которые будто бы перелезают через стены или протискиваются сквозь решетку в исповедальной, чтобы соприкоснуться телами. Мысль о том, что женщины могут грешить друг с другом или сами с собой, отвратительна даже тем, кто готов смыть саму церковь вместе с ее грехами.

Надев чистую сорочку и платье, Зуана опускается на колени перед кроватью. Она уже два дня не была на службе и пропустила множество молитв, но мысли так быстро заполняют ее ум, что ей не удается пресечь их поток. Тогда она, как может, проговаривает слова, не вкладывая в них особого смысла, и спешит в монастырь к своим подопечным.

Вернувшись в свою келью сестра Магдалена лежит на матрасе, точно труп, кости ее головы выпирают наружу так сильно, будто она уже наполовину превратилась в череп. Ее сон настолько глубок, что, лишь приложив к ее губам ухо, Зуана слышит дыхание. Кажется непостижимым, чтобы эта... эта развалина... могла найти в себе силы встать, перейти в другую келью да еще петь и молиться, сидя рядом с больной девушкой. Но теперь все кончилось, высосав из нее все жизненные силы. Зуана не знает, какие видения встают за закрытыми ставнями этих век, но от души надеется, что радостные и прекрасные,

ибо в этом мире ее не ждет ничего хорошего. Смочив ей губы водой, она слегка переменяет ее позу, чтобы не образовывались пролежни. Больше она ничего не может для нее сделать.

Зато в келье Серафины дела обстоят куда лучше. В воздухе пахнет травами, а у кровати лежит хлеб, овощной пирог и ярко-зеленая марципановая груша. Девушка спит на чистых простынях, ее тело помыто, расчесанные волосы струятся вдоль него. Зуана раздумывает, стоит ли ее будить, чтобы проверить самочувствие, но пульс больной бьется ровно и сильно, а после такой глубокой чистки всего организма сон — лучшее лекарство. В келье стоит тишина и даже покой, но вызван он освобождением от страдания или чем-то иным, более глубоким, она не знает. Ей вспоминается сестра Магдалена, которая сидела возле кровати, пронзенная видением Христа.

«Видение было ей, но не мне», — думает Зуана. И, как бы ей ни хотелось, чтобы было иначе, для нее келья оставалась пустой.

А как же Серафина? Что она видела, впервые открыв глаза? Зуана достаточно понимает природу своих лекарств, чтобы знать: всякий, в чьем теле мак борется с чемерицей, уже носится между адом и раем. В таком состоянии энергия сестры Магдалены вполне могла проникнуть в нее, ведь, когда тело и ум сливаются воедино, все оказывается близко к поверхности.

Кожа девушки бледна, круги темнеют под глазами. Ее надо хорошенько подкормить, иначе слабость после жестокой рвоты и поноса долго еще не пройдет. Как же она раньше не заметила такой потери веса? Монашеское платье скрывает множество грехов, но ведь когда они с послушницей в последний раз работали вместе, та не была такой тощей? Неужели и это результат любовного недуга? Ах, как это теперь очевидно. В чем же дело — то ли она, Зуана, была чрезмерно занята, то ли сама так нуждалась в молодой подруге, что не увидела того, что было у нее прямо перед глазами? А если бы и заметила, что это изменило бы? Жаль, что аббатиса раньше не поделилась с ней своими подозрениями, каковы бы они ни были, ведь она до сих пор не представляет, когда та узнала.

Нет. Она окидывает взглядом келью. Все было видно с самого начала, все, что ей требовалось знать. Ярость, роскошь ее молодого тела, когда она помогала ей улечься в постель в ту первую ночь, любовные мадригалы, спрятанные в молитвеннике, мужской голос,



поющий за стенами, одинокое «Браво!» во время вечера, то, как расширились ее глаза, когда она прочитала стихотворение, найденное в рукописи в скриптории. «Скажи мне, сестричка, у тебя лихорадка или ты влюблена?»

О да, этот пожар плоти не прекращался с самого начала и был так силен, что заставил ее рискнуть всем — своей честью, положением в обществе, даже жизнью — ради того, чтобы найти возможность вернуться к источнику пламени.

Зуана смотрит на девушку сверху вниз. Легкая морщинка дрожит на ее лбу. Что теперь она будет делать с этим костром? Со своим отчаянием и разбитыми мечтами?

Любовь. Она не похожа ни на один недуг, и ни в ее аптекарском огороде, ни в тетрадах отца не найдется средства, чтобы от нее исцелить. Нет, надо предоставить это Господу, ибо в Его руке и болезнь, и лечение. Но вместо успокоения эта мысль вызывает у нее дрожь. Она склоняет голову для молитвы, но не успевает подобрать слова, как удар колокола объявляет о начале собрания.

Пересекая двор, она встречается с Юмилианой, за которой семенил стайка послушниц. Некоторые из них открыто глазят на Зуану, и на их лицах восхищение мешается с любопытством.

## Глава тридцать вторая

— С Божьего благословения мы собрались здесь на первое собрание Великого поста, чтобы подготовиться к красоте и труду воздержания. Однако прежде чем говорить о том, от чего нам вскоре придется отказаться, давайте снова возрадуемся тому, что у нас есть.

Аббатиса легко опускает руки на резные головы львов и устремляет взгляд на море обращенных к ней напряженных лиц. Комната полна: монахини хора, послушницы, прислужницы — все на своих местах. Нет только старых и немощных, причем отсутствие самой старой и недавно заболевшей особенно бросается в глаза.

— В последние дни я получила немало писем от наших гостей и покровителей, которые благодарят нас за гостеприимство. Прочти я их сейчас, это вызвало бы настоящую эпидемию гордыни, на излечение которой не хватило бы всего Великого поста... — улыбается аббатиса, давая понять, что пошутила. — Однако несколько слов, я думаю, прочесть все же стоит. Исходят они не от кого иного, как от сестры герцога, Леоноры, которая поднялась с одра болезни, чтобы посетить родных в нашем монастыре.

Откашлявшись, мадонна Чиара еще больше выпрямляется в кресле. От маленьких послаблений в одежде, вдохновленных карнавалом, не осталось и следа: исчезли пышные нижние юбки, головной убор отличается суровой простотой, никаких кружевных оторочек, яркое нагрудное распятие с драгоценными камнями заменено простым серебряным. Всякий, кто увидел бы ее сейчас, наверняка решил бы, что эта женщина знает, как позаботиться о своей пастве.

— «Всем святым сестрам, находящимся под Вашим попечением, прошу передать, что карнавальный концерт и представление доставили мне и моим спутницам радость и глубокое духовное утешение. Мы вышли за ворота монастыря с чувством глубокой убежденности в том, что нашему городу, за который молятся исполненные такой святой любви женщины, ничто не грозит». И так далее, в том же цветистом и чувствительном стиле, до следующего конца: «Должна признаться, что душа моя поет, а губы розовеют и хранят вкус дикой земляники. Надеюсь, моя просьба не отвлечет Вас от служения Господу, и заранее

благодарю Вас за рецепт сего лакомства, производству которого я желала бы обучить своих поваров». Полагаю, сестра Федерика, что эта просьба адресована вам.

Однако хозяйка кухни отнюдь не в восторге.

— А может, не стоит ей рассказывать? У нее племянница в монастыре Тела Господня. Если она узнает рецепт, то наверняка расскажет его племяннице, а коли он попадет к ним, так на следующий год везде будут подавать то же самое.

— В таком случае вам следует слегка изменить его, чтобы сохранить превосходство за нами, — издает тихий звенящий смешок аббатиса, и вся комната отвечает ей тем же.

Зуана бросает взгляд на сестру Юмилиану, которая наблюдает за остальными, не принимая участия в их веселье. Она хорошо справляется со своим нетерпением.

— А пока, сестра Сколастика, я должна отослать две копии «Страстей святой Екатерины» в родственные обители Венеции и Сиены, где уже слышали о том, что мы представляли новую пьесу. И еще, сестра Бенедикта, я получила письмо из Рима, ни более ни менее как от кардинала Ипполито д'Эсте.

Лицо сидящей во втором ряду хозяйки хора вспыхивает, словно звезда.

— Похоже, что новость о вашем сочинении, исполненном в праздник святой Агнессы, достигла его ушей, и он в качестве подарка монастырю посылает партитуру «Плача Иеремии», сочиненную самим Джованни да Палестриной, в надежде, что мы исполним его в Пасхальную неделю.

Бенедикта качает головой, но значит ли это, что она не верит своим ушам или просто пытается удержать в памяти новые мелодии, сказать трудно.

— С учетом пожертвований, как уже полученных, так и обещанных, и при условии, что новые приданные поступят вовремя, могу сообщить, что в следующую зиму мы сможем заказать «Тайную вечерю» для стены нашей трапезной.

Кто-то хлопает в ладоши, а несколько монахинь помоложе даже издают радостные крики. Без малого сорок лет прошло с тех пор, как пожар, вызванный одинокой свечой, которую кто-то оставил гореть после ужина, уничтожил оригинальные фрески. И вот теперь Санта-

Катерине представится возможность не только заказать произведение искусства по нынешней моде, но и пережить восторг от того, что известный художник будет работать за ширмой в их трапезной, пока не завершит картину. Зуана не в восторге от сегодняшней живописи, которая, на ее взгляд, больше озабочена изображением сведенных судорогой тел, нежели следованием анатомической правде. Тем не менее новость и на нее производит большое впечатление. Заказы такого масштаба стоят кучу денег. Она невольно задается вопросом, что было бы, не переживи Серафина лечения. Смерть послушницы, не дожившей до принятия обета, обычно влечет за собой возвращение части приданого. Зато удачный побег приводит к потере целого. Об этом Зуана до сих пор не думала.

Возможно, не она одна замечает связь между состоянием девушки и фреской; одна или две монахини тоже косятся на боковые ряды, где небольшой просвет между сидящими послушницами отмечает ее отсутствие. Аббатиса, которая в умах читает лучше, чем в душах, поднимает руки, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание.

— И наконец, прежде чем перейти к следующему вопросу, нам следует отдать должное еще одной из наших сестер, которую мы обязаны поблагодарить особо. Как вам всем уже известно, сразу после успешного концерта и представления наша младшая послушница Серафина серьезно заболела, у нее внезапно началась лихорадка, сопровождаемая припадками. Без своевременного вмешательства и бдения нашей сестры-травницы мы бы наверняка ее потеряли. Искусство врачевания — один из величайших даров Господа, а опыт и самопожертвование сестры Зуаны делают лучше жизнь каждой обитательницы Санта-Катерины.

На эту исключительную похвалу комната отвечает шелестом одобрения и улыбками. Зуана застигнута врасплох, а потому тоже улыбается и опускает глаза.

Аббатиса, однако, хорошо выбрала момент. Все присутствующие — монахини, послушницы и прислуга — рады признать заслуги сестры-травницы. Вообще-то звезда Зуаны и до карнавала была на подъеме. Она сыграла роль в усмирении Серафины и водворении ее в хор, она избавила от заразы монастырь — и себя тоже, — а теперь участвовала в драме болезни послушницы, пришедшей к столь театральному финалу... Все это естественным образом привлекало к

ней внимание. Зуана, много лет стремившаяся существовать в монастыре незамеченной, вдруг оказалась вовлеченной в самую гущу жизни общины. Да еще и в качестве признанной любимицы аббатисы.

— А теперь, я полагаю, мы можем начать обсуждение порядка Великого поста. Да, сестра Юмилиана?

— Мадонна Чиара. Вы позволите?

Из середины второго ряда встает Юмилиана и, сложив ладони, оборачивается к сидящим позади нее сестрам и начинает:

— Прежде чем продолжать, нам следует поговорить о чуде, о том, что более всего иного свидетельствует о присутствии Господа среди нас... — Сделав паузу, она убеждается, что все слушают ее, и продолжает: — Я говорю о приходе сестры Магдалены в келью послушницы и о той роли, которую сыграла она в этом... чудесном, исключительном выздоровлении. Тем из нас, кто видел это своими глазами, показалось, будто сам Господь наш Иисус Христос присутствовал в той келье и помогал вернуть молодую женщину к жизни.

В комнате становится очень тихо.

— Могу ли я продолжать?.. — снова бросает взгляд на аббатису Юмилиана, и та едва заметно кивает. Теперь Юмилиана обращается к Зуане: — Сестра Зуана, вы вошли в келью раньше многих из нас. Возможно, вы расскажете нам подробно о том, что там случилось.

Зуана, снова оказавшись в центре всеобщего внимания, поднимает глаза и встречается с пронзительным взглядом сестры Юмилианы.

— Я... я не уверена, что видела больше вашего, дорогая сестра. Я была в аптеке, где готовила отвар, а когда вернулась, сестра Магдалена уже оставила свою келью и, молясь, сидела возле послушницы.

Хотя ее слова — чистая правда, ясно, что не их хотела услышать от нее Юмилиана.

— А не было ли там чего-нибудь... чудесного? Какого-нибудь видения Господа, коснувшегося как ее, так и больной девушки?

Теперь Зуана особенно тщательно выбирает слова.

— Присутствие сестры Магдалены, несомненно, очень хорошо подействовало на девушку. Она открыла глаза — впервые с тех пор, как заснула под влиянием снадобья.

Сестра-наставница меряет ее холодным взглядом. «Как, оказывается, легко наживать врагов», — думает Зуана.

— Ах, да ведь она же умирала! Это и было чудо! — выпаливает сестра Феличита, точно из страха, что слова, если она и дальше будет удерживать их в себе, разорвут ее изнутри.

Наступает недолгая, звенящая тишина, как будто весь зал затаил дыхание. Да, такого собрания действительно стоило дожидаться.

— Сестра Феличита... — Голос аббатисы тих и, в противоположность другим, сдержан. — Это сильные выражения для описания события, которого вы, насколько я понимаю, своими глазами не видели.

— Я? Ну, я... в общем, нет.

Аббатиса устремляет профессионально-холодный взгляд на Зуану.

— Сестра Зуана, вы лечили послушницу и были с ней в келье всю ночь, до прихода остальных. Нам чрезвычайно важно знать, заметили ли вы что-нибудь. Было ли у вас ощущение того... того «видения», о котором здесь говорилось.

— Я... Что я видела... — Зуана изо всех сил старается подобрать правильные слова, выражающие истину, которую признает не только ее разум, но и сердце. — Я видела, как сестра Магдалена молилась рядом с девушкой — истово молилась — и говорила о Господе и о том, что Он был с ней. — Она делает паузу и неожиданно добавляет: — Самая ничего не видела, но не могу не думать, что Он внимал ее молитвам.

— Истинно, — торжественно произносит аббатиса. — Как Он всегда внимает всем нашим мольбам и заступничеству. Благодарю вас.

Юмилиана, похоже, хочет заговорить, но аббатиса еще не кончила.

— И насколько я помню наш с вами разговор сегодня утром, сестра Юмилиана, — а ведь это важный вопрос, — вы сами не испытали никакого «видения», войдя в келью.

Юмилиана хмурится. Трудно сказать, кем она больше разочарована: аббатисой, Зуаной или сестрой Феличитой. Возможно, даже самой собой.

— Я видела, что Серафина, которой было очень худо за несколько часов до того, поправилась. И я слышала, как она сказала, что тоже видела Его.

И снова едва заметный шепоток пробегает по комнате.

— Но вы сами не видели?

Сестра-наставница колеблется. Потом качает головой.

— А из тех сестер, которые пришли в комнату позже, — кто-нибудь видел что-нибудь?

Послушницы нервно переглядываются, а монахиням хора ясно, что Персеверанца дорого дала бы, чтобы сказать, будто видела, но знает, что лгать нельзя. Зуана видит, как прямо перед ней в такт трясут головами двойняшки. Молчание нарастает.

Аббатиса кивает:

— Всем большое спасибо. И особенно вам, сестра Юмилиана. Вы оказали нам большую услугу, напомнив именно сейчас о сестре Магдалене. Я сама хотела поговорить о ней позже, но, возможно, лучше сделать это сразу. Сестра Магдалена, как мы все знаем, — чистая душа, готовая отдать последний вздох ради блага молодой сестры. Она всегда была скромна и не хотела привлекать к себе внимание. Более того, она давно изъявила пламенное желание, чтобы ее оставили в покое и дали служить Господу так, как Он ей укажет. Как могут подтвердить старейшие из сестер монастыря — в том числе и вы, сестра Юмилиана, — много лет назад ее желание было удовлетворено тогдашней аббатисой и епископом, и с тех пор община всегда считалась с этим.

Зуана торопливо подсчитывает. На сколько же лет сестра-наставница старше аббатисы? На пять, может, на десять; она так мало заботится о своей внешности, что трудно сказать точнее. Как бы то ни было, в 1540-м, когда разгорелся этот сыр-бор, она наверняка была либо послушницей, либо совсем молоденькой монахиней. Молодые всегда легче поддаются влияниям.

— Однако, как вы сами сказали, похоже, что теперь она решила этот обет нарушить. В свете чего, полагаю, нам следует позаботиться о ее благополучии. Она чрезвычайно слаба, быть может, даже не настолько здорова, чтобы передвигаться по монастырю самостоятельно, без посторонней помощи. Лучшее, что мы, как мне кажется, могли бы в данный момент предпринять, — это перевести ее в лазарет под присмотр сестры Зуаны, где та смогла бы заботиться о ней до конца ее дней.

Перемена настроения настолько совершенная и столь искренне выраженная, что Зуана на мгновение теряет дар речи.

Но не Юмилиана.

— Если ей предстоит покинуть свою келью, если община решит, что так для нее лучше, то тогда надо позволить ей приходить в часовню на мессу и принимать причастие. Я уверена, что среди нас есть сестры, которые с радостью на руках отнесут ее туда, если она того пожелает.

Все присутствующие явно затаивают дыхание. На первый взгляд может показаться, что бой идет только между аббатисой и сестрой-наставницей, но на самом деле происходит нечто большее: некоторые монахини постарше, такие как Агнезина и Конкордия, естественные союзницы Юмилианы, наверняка еще помнят службы, когда каждый приход сестры Магдалены совпадал с появлением у нее кровоточащих стигматов. И, судя по царящему в монастыре возбуждению, многие монахини помоложе уже наслышаны об этом.

— Сестра Юмилиана, вы меня опередили. Однако сестра Магдалена так слаба, что даже это, по-моему, будет невозможно, — на одном дыхании произносит аббатиса. — Вообще-то я уже обсудила этот вопрос с отцом Ромеро. И он даже побывал у нее с утра, когда приходил выслушать исповедь послушницы.

Был он у Магдалены или нет, никто не может ни подтвердить, ни опровергнуть, так как все в это время работали. Да и почему бы кому-то сомневаться в словах аббатисы? Однако Зуана немедленно ловит себя именно на этом.

— У вы, она была без сознания и потому не могла ни исповедаться, ни принять причастие. Но отец Ромеро обещал прийти снова.

— О, неужели она умирает? Неужели, не успев обрести самую святую нашу душу, мы снова потеряем ее?

В голосе сестры Феличиты слышны слезы, и монахини помоложе пугаются. Юмилиана бросает на нее острый взгляд. Одно дело — меряться силами с искушенным противником, другое — обнаружить, что тебя подводят собственные союзники.

— Все мы умрем когда-нибудь, сестра Феличита, — мягко говорит аббатиса. — И потому должны быть великодушны. Ведь для самой Магдалены воссоединение с Господом станет величайшим праздником.

Слова, столь простые, что при других обстоятельствах могли быть сказаны самой сестрой-наставницей, мгновенно успокаивают



собравшихся. Аббатиса, прямая и грациозная, сидит на возвышении в кресле.

— Сестра Зуана? Вы, как сестра-травница, видели нашу дорогую сестру совсем недавно. Может быть, вы поделитесь с нами своими мыслями о ее силе или хрупкости?

Она поворачивается к Зуане, глаза ее горят. Поглядеть на нее, так она прямо наслаждается происходящим. В часы досуга самые озорные монахини нередко поговаривают, что из нее вышла бы великолепная жена для какого-нибудь вельможи и что она заправляла бы его семьей и палаццо не хуже, чем заправляет монастырем. Зуане кажется, что они к ней несправедливы. Ей бы не палаццо править, а государством. В сущности, этим она тут и занимается. У нее все, как у настоящего правителя, есть даже свои шпионы и доносчики, чтобы сохранять власть от всяких поползновений на нее.

— Когда я видела ее сегодня утром, она была без сознания и очень слаба. Кроме того, она страдает от сильных пролежней. По моему мнению, было бы милосердно тревожить ее как можно меньше.

Похоже, что среди шпионов и доносчиков аббатисы Зуана удостоилась выдающегося места.

— А если бы мы приняли такое решение, вы взяли бы смотреть за ней в лазарете? В прошлом вы выражали серьезную озабоченность ее состоянием, как я помню.

Но так ли уж нужна самой Зуане эта роль? Сейчас она не в состоянии ответить. Она склоняет голову.

— Если такова будет воля общины, я сочту за честь исполнять ее.

Аббатиса расправляет юбки и обращается ко всем:

— Итак, приступим к голосованию. Вопрос заключается в том, должны ли мы перенести нашу возлюбленную престарелую сестру Магдалену в лазарет, где ей облегчат переход в руки Господа.

Послушницы следят за тем, как монахини хора одна за другой выходят вперед и спиной к комнате, для пущей анонимности, берут из деревянного ведра шар — черный означает «нет», белый — «да» — и опускают его в дырку на крышке коробки для голосования.

Когда все выразили свое мнение, коробку опустошают, сестра-ризничая в присутствии привратницы подсчитывает шары, и голосование считается состоявшимся. Следует заметить, что, хотя в

этот раз белые шары преобладают, черных оказывается больше, чем всегда.

## Глава тридцать третья

Внутри ее пусто. Спокойно. Тихо. Быть может, спокойнее, чем когда-либо в жизни. Наверное, последствия отравления. Работая в аптеке, она не раз задумывалась о драматических свойствах чемерицы: каково это, когда твои внутренности разрываются от боли и исторгают из себя все вместе с жизнью? Каково это — пройти такую чистку? Испытать такое опустошение. Как будто новое начало. Новая Серафина. Новая, светлая, чистая, без тоски в сердце и боли в желудке. Без мужчины, которого можно любить и желать. Потому что он, как в конце концов оказалось, никогда ее не любил.

«Он тебя не любит, ты же видишь».

Он не любит. Но как это возможно? К чему тогда все эти стихи? Музыка? Гармония голосов, искрящаяся сладость губ, прижатых к губам, прикосновение к коже, слияние душ, дарившее им чистоту и бесстрашие? Ах, теперь, теперь уже слишком поздно, она знает, что на самом деле любила его; ее мятежность и горячая кровь, радость жизни, неважно, вдвоем или в одиночку, не затмила от нее того, что Джакопо стоил любви, стоил сам по себе, ибо был щедр, полон музыки и абсолютно лишен злобы.

Хотя, с другой стороны, похоже, и не стоил. Просто он, как и она, был мастером обмана и притворства. Но разве это возможно?

В другое время эти мысли рвали бы ей плоть, точно крючки, однако теперь ее осталось так мало, что ранить нечего. Она устала. Слишком устала, чтобы думать. И вообще эта новая очищенная Серафина ни на чем не может сосредоточиться надолго. Голова кажется ей такой же легкой и пустой, как тело. Ничего ужасного в этом нет; похоже на головокружение или вибрирующий звон в ушах, какой бывает, когда держишь высокую ноту дольше, чем позволяет дыхание.

Может быть, она так чувствует себя из-за исповеди? Ее душа выскоблена не хуже, чем желудок. Она все рассказала старому священнику. Да и могла ли она поступить иначе, когда вопли насаженных на вертела и искромсанных на куски грешников еще звенели у нее внутри? Все ему выложила: про блаженство, про ярость, ужас, непослушание, даже про то, как пыталась убить себя; грехи текли с ее уст потоком. Сколько он слышал, она не знает, у обоих во

время исповеди глаза были закрыты. Однако в конце он помолился за нее, назначил ей наказание — две недели взаперти на хлебе и воде — и отпустил грехи.

Две недели заточения и поста. Не такая уж и пытка. Она даже рада. За время, прошедшее с тех пор, как она открыла глаза и увидела целую келью монахинь, она научилась ценить одиночество. Разве сможет она когда-нибудь снова смотреть в глаза людям? Что касается поста, то она уже так свыклась с голодом, что, даже когда у нее возникает желание поесть, она испытывает удовольствие, преодолевая его. Ее нутро так долго было переполнено болью, яростью и страхом, что ощущать в нем пустоту — само по себе чудо.

То ли от тишины внутри, то ли от слабости, но она начинает чаще молиться: ее молитвы просты и облечены в простые фразы. Я виновата. Помоги мне. Прости меня. Почти как в детстве. Каждый раз, открывая со сна глаза, она видит висящее на стене распятие, но, когда она смотрит на него, ей все чаще представляется фигура того мужчины на озере, который шел к ней, и солнце горело у него за спиной, словно нимб.

В тот миг, когда он только появился, она приняла его за Джакопо, ведь и у того кудри так же падали на плечи, и он так же широко расставлял при ходьбе ноги. Теперь она знает, что то был Христос, пришедший к ней благодаря сестре Магдалене. Как и почему это произошло, ей не ведомо. Уж она этого точно не заслужила. И все же Он утешил ее тогда. И продолжает утешать теперь. Ибо Он тоже щедр, полон музыки и лишен злобы.

Что до будущего, всех этих завтра, завтра и завтра... Ну, о них она не думает. Да и как бы она могла?

— Серафина.

Серафина знает, кто в комнате. Слышала, как она входила, обратила внимание на звук, когда она что-то поставила на стол. Но если открыть глаза, то придется заговорить с ней, а из-за нее — именно из-за нее — все наверняка начнется снова. И все же...

— Серафина.

Она поворачивает голову и моргает.

Зуана сидит в маленьком кресле недалеко от кровати. Рядом с ней стоит деревянная тарелка с хлебом и сыром, миска горячего супа. Серафина уже забыла это знакомое лицо: широкий, открытый лоб,

прорезанный морщинкой раздумий, и чистые, ясные глаза, улыбающиеся теперь вместе с губами. В них тоже нет ни капли злобы. Несмотря ни на что, она все же рада ее видеть.

— Слава Господу за то, что ты очнулась. Как живот, не болит?

— Нет.

— Тошнит? — спрашивает Зуана, наклоняясь вперед и щупая пульс девушки, ее испачканные чем-то красным пальцы сжимают худое, бледное запястье.

От запахов горячей пищи рот Серафины наполняется слюной, и она сглатывает. «Только когда думаю о еде», — мелькает у нее мысль.

— Нет.

— А какие у тебя сны? Кошмары снятся?

— Нет. — И она вспоминает мужчину, широкими шагами идущего к ней сквозь туман. — Нет, кошмаров больше нет.

— Вот и хорошо. Я принесла тебе немного сыра, свежего супа и хлеба.

— Я не голодна.

— Но поесть все же нужно.

— Не могу, — качает головой Серафина. — Я наказана.

— Наказана?

— Отец Ромеро. Он выслушал мою исповедь. Я наказана двухнедельным заточением в келье на хлебе и воде.

Тень пробегает по лицу Зуаны.

— Разве никто не сказал ему, что ты болела?

— Не знаю.

— Ты сесть можешь?

Она пытается подняться, но для этого требуется немало усилий.

Зуана приходит к ней на помощь, и, едва ощутив ее прикосновение, Серафина тут же снова попадает в водоворот той ночи: снова висит, беспомощная, в чьих-то сильных руках, ее кишки выворачиваются наружу, и желудок вопит от боли. Теперь такая интимность ее смущает, ей становится стыдно. Она отодвигается и заворачивается в одеяло.

— Прости меня... — произносит Серафина, не поднимая глаз. — Прости, если из-за того, что я сделала, у тебя были неприятности.

— Ты ни в чем не виновата, — качает головой Зуана. — Ты исповедалась. И получила прощение.

— Я все ему рассказала, — говорит девушка, глядя теперь прямо на нее и бросая слова, как вызов. — Все.

— Я рада, — мягко отвечает Зуана.

— Думаешь, это справедливое наказание?

— Не знаю. Хотя, по-моему, морить тебя голодом после такой яростной чистки нездорово.

— Не важно, я не голодна, — шепчет она и добавляет: — Сестра Магдалена ведь годами ничего не ест.

— Это не так. Она ест, но очень мало, так что с годами ее тело привыкло. Не думаю, что в этом отношении она хороший пример для подражания. Пока, по крайней мере.

— А сестра Юмилиана говорит иначе.

«Интересно, что еще говорит сестра Юмилиана?» — думает Зуана, хотя в глубине души, конечно, догадывается.

— Кто еще к тебе заходил?

— Сестра Федерика была. Принесла мне грушу — вот, гляди. — Серафина вытаскивает из-под подушки зеленый марципан весь в мелких частичках пыли. — Я не хочу ее. Возьми.

— Сохрани ее до конца наказания. Так тебе будет к чему стремиться.

Стремиться к чему-то. Какая простая мысль, как будто речь идет об ожидании солнца, которое непременно взойдет утром. Попытка убежать из монастыря — тяжкий грех для послушницы. И не менее тяжкий — помогать или подстрекать ее к этому. Девушка созналась в своей вине и получила прощение. Теперь Зуане пора подумать о своей душе. Больше она ничего не может для нее сделать. Разве...

— Серафина, слушай меня. Чемерица в сочетании с маком — ядовитое зелье, а доза, которую я тебе дала, была не маленькой. Некоторое время ты будешь чувствовать себя странно. Тобой будут владеть апатия и печаль; может быть, даже мысли будут путаться.

— Я ничего не чувствую, — вяло говорит та.

— В том числе и это. Но все пройдет, — замечает Зуана и умолкает, не зная, что еще сказать.

Девушка опирается головой о стену.

— Я видела кое-что, — говорит она тихо. — Кое-что страшное.

— Это все снадобье. Запомни: снадобье, и больше ничего.

— А ты такое когда-нибудь видела?

И она смотрит на Зуану глазами, кажущимися огромными на ее лице. И черными, точно куски угля.

— Да, видела.

— И чудесные видения тоже?

— Я... Да, в некотором роде.

— Но Его ты никогда не видела?

— Нет, — не задумываясь, отвечает Зуана.

— Почему? Ты ведь хорошая монахиня.

— Нет. Я... я...

— Да, ты хорошая, я знаю.

— Ну... Я... я думаю, что можно быть хорошей по-разному. И лишь немногим из немногих выпадает такая честь.

— Но ей она дана. Она видит Его.

Им нет нужды называть ее по имени. «Нам не позволяют говорить о ней», — думает Зуана. Это запретная территория. С другой стороны, столь многое изменилось за последние недели. Список тайн общины становится длиннее с каждым днем, и нет смысла отрицать существование одной из них, особенно потому, что она наблюдала ее куда ближе многих.

— Да. Видит.

— Она всегда Его видела, да?

— Похоже, что так.

— Почему она? Одна послушница рассказала мне, что она была простой крестьянкой из деревни, которую нашел где-то старый герцог. У нее нет ни семьи, ни образования. Ничего. Может, она родилась святой? Или так молилась, что стала ею? Или постилась? Как она это сделала?

— Не знаю.

— Мне кажется, я тоже Его видела, — качает головой Серафина. — Всего один миг.

Мак: от него еще не то увидишь.

— Возможно, что это тоже было действие наркотика, Серафина, — тихо говорит Зуана.

— Откуда ты знаешь? — спрашивает девушка, и ее голос дрожит. — Если бы мы все Его видели, то, может, стоило бы жить и умереть здесь.

«Да, что-то ее изменило», — думает Зуана. Да и как иначе? Если бы Господу было угодно послать ей смирение!

— Я думаю, что наш Господь всегда с нами, даже если мы не видим Его своими глазами.

Серафина молчит, как будто обдумывая эту мысль.

— Она была не права насчет него, — произносит она наконец, все так же тихо и вяло, совсем не как в былые времена. — Аббатиса сказала, что ему все равно. Но это неправда. Он любил меня.

Ей надо поесть, хотя бы немного хлеба. Это ведь разрешается. Зуана отламывает небольшой кусочек, обмакивает его в воду и протягивает ей.

— На, ешь.

Девушка смотрит на нее и качает головой:

— Я не голодна.



## Глава тридцать четвертая

Колокол, отмечающий начало рабочего часа, начинает звонить, когда Зуана покидает келью послушницы и выходит в коридор. Впереди она видит сестру Юмилиану, которая движется прямо к ней, и опускает голову с намерением пройти мимо, не обменявшись с ней ни словом — сестра-наставница придерживается правила молчания даже в те часы, когда оно не в силе, — но пожилая женщина сама встречает ее взгляд. Вид у нее доброжелательный, почти радостный.

— Ты идешь от послушницы? Как ты ее нашла? Какая мощная перемена, правда?

— Я... Да-да, она совсем другая.

— Слава Господу, которому было угодно очистить ее от гнева и притворства и посеять в ее душе зерно смирения. Ему мы должны быть благодарны. А также и тебе, за заботу и твое средство.

Зуана смотрит на нее во все глаза. С тех пор как они столкнулись на собрании, Зуана ждала и даже готовилась к враждебности с ее стороны, но ничего подобного не заметила. Интересно, что сказала бы сестра-наставница, если бы узнала, по какой причине ей пришлось давать девушке это «средство»? Конечно, Зуана ей не скажет. Как не скажет и того, что случилось в келье сестры Магдалены много недель тому назад. Тайна на тайне — они множатся, словно плесень у плохой хозяйки в кладовой. Неужели и в их монастыре плохая хозяйка? Сколько можно лгать, стремясь сохранить покой в доме? Зуана вдруг понимает, что не знает больше ответа на этот вопрос.

— Она успокоилась, это верно. Но меня тревожит ее здоровье. После снадобья она очень ослабела. Ей надо есть, а не поститься.

— Тем, чья душа не знает покоя, приходится иногда жертвовать телесным благополучием ради духовного. Ничего плохого с ней не случится, сестра Зуана, я за ней присмотрю. Удивительные времена настали у нас в Санта-Катерине, как по-твоему? Господь ответил на наши молитвы и явился среди нас. Явился нам через молодую и старую. Боюсь, что ты этого еще не заметила, хотя это так же ясно, как солнечный свет на воде. Ты должна позаботиться о своей душе, сестра Зуана. Он хочет, чтобы и ты Его услышала. И ты услышишь. Я знаю. Все, что тебе нужно...

— Благодарю тебя за добрые пожелания, сестра Юмилиана, — с улыбкой прерывает ее Зуана. — Я тоже стремлюсь к Нему. Но я все же считаю, что девушка должна есть.

Сестра-наставница всплескивает руками и снова прячет их под платье.

— Ни у тебя, ни у меня нет права сомневаться в мудрости нашего отца-исповедника, — говорит она уверенно, как прежняя Юмилиана. — Она вверена моему попечению, и я буду заботиться о ней, как о своем ребенке. Да пребудет с тобой Господь, сестра Зуана.

— И с тобой, — отвечает Зуана, когда они расходятся в разные стороны. «Ах, почему любовь Господа не летает по воздуху, как дурные семена болезни? — думает она. — Может, тогда нам не пришлось бы постоянно спасать друг друга». И сама удивляется своей непочтительной смелости. «Я устала, — решает она, — и нуждаюсь в свежем воздухе если не душой, то телом».

Колокол еще звонит, когда Зуана, облачившись в плащ и прихватив холщовый мешок с инструментами, отправляется в аптекарский огород. Ливень наконец закончился, промыв небо так же, как землю, и наступивший день безоблачен и почти тепел. Летом после таких бурь над монастырем всегда поднимается пар: это солнце выжигает влагу. Сегодня ничего такого нет, но земля в садах наверняка смягчилась после сильного дождя, и всякой травке, уже пошедшей в рост под землей, теперь легче будет пробиться наружу.

Зуана не покидала галерей монастыря с той ночи на складе и теперь изумлена, обнаружив, насколько лучше чувствует себя на свежем воздухе. Ей пойдет на пользу работа в саду, где ее будут окружать одни растения. Она энергично шагает, чувствуя, как ветер обвевает ей щеки и как покидает ее тревога: за девушку, за Юмилиану, за аббатису, за весь спутанный клубок монастырских интриг и политики, и вспоминает, зачем она здесь: работа сестры-травницы предполагает заботу не только о людях, но и о растениях.

Ее огород по площади не больше покоев аббатисы — а ведь она увеличила его почти вдвое, после того как ее выбрали травницей, — однако в нем растет около сотни лекарственных трав и кустарников. От весны и до осени случаются дни, когда работы так много, что она едва успевает помолиться в уме — плодородие природы переполняет ее

изумлением и благодарностью, но слова не идут на ум, так как все ее внимание поглощено циклом благочестивых мероприятий, которых требуют растения: прополкой, подвязкой, подрезкой, подкормкой, уборкой урожая, сушкой; иногда ей даже приходится воевать из-за них со слизняками и улитками, собирая их вручную, чтобы они, эти порождения сырости и гнили, не повредили ее самых нежных и драгоценных питомцев.

Прошлая зима выдалась суровой как для ее рук, так и для растений, но худшее уже позади. Она чувствует это, едва оказавшись на воздухе. В ее маленьком огорожке, укрытом с одной стороны галереей поменьше, а с другой — выступом огородной стены, весна вполне может наступить раньше. Когда март стоит мягкий, почти все самые храбрые или живучие растения поднимают над землей свои головки. Их массовое возникновение до сих пор остается одним из самых ярких впечатлений ее детства, ведь до того, как университет организовал свой аптекарский огород — из чувства соперничества с Падуей и Пизой, которые уже тогда славились своими, — задний двор отцовского дома вечно загромождали старые ведра, горшки и деревянные лотки, в которых прорастали семена и принимались черенки. Иногда, в первые теплые дни, отец брал ее с собой туда слушать тишину.

«Некоторые ученые, великие мужи минувшего и настоящего, верят, что Бог создал человека для того, чтобы через него ощутить торжество своего творения. А потому наш долг и наша радость — постоянно свидетельствовать об этом чуде. Ты ведь ничего не слышишь, правда? Но вот теперь, пока мы стоим здесь, под землей тысячи луковиц, семян и корешков набухают, трескаются, идут в рост, армия крохотных усиков и ростков поднимается, двигаясь сквозь землю к свету, и каждый из них так мал, что, увидев его, поневоле удивишься, как он смог пробить такую глыбу земли. Представь себе, Фаустина. Каждый год повторяется это чудо...»

Нарисованная им картина оказалась такой яркой, а в его голосе звучало столько благоговения, что каждый раз, читая или слушая о Втором пришествии, она представляет себе кладбища как огромные аптекарские огороды, где тела, столь же нежные и юные, как молодые ростки, пробивают прогнившее дерево гробов и устремляются к Господнему свету, на зов трубы. Плоть неразложимая. Однажды она

рассказала об этом отцу, и тот улыбнулся, как улыбаются родители, когда их дети оказываются мудры или очаровательны не по годам.

Но она видела, что на него гораздо более сильное впечатление производило любое, самое скромное доказательство славы Божией, представленное природой.

Учитывая все сложности окружающего ее мира, сегодня такие простые чудеса нужны ей, как никогда.

В саду тихо, лишь с веток вечнозеленых кустарников и деревьев срываются иногда капли непросохшего дождя. Помятые ливнем лаванда и розмарин наполняют воздух вокруг едким ароматом, стоит ей провести пальцами по их стеблям и листьям. На грядках оживают календула, гиперикум и фенхель. Она расчищает место вокруг каждого кустика и рыхлит землю, чтобы скорее показались ростки. Следующими покажутся белладонна, бетоника и кардиака, сердечная трава, которая, стоит ей приняться, разрастается мощно и быстро, как крапива. В детстве Зуане часто казалось, что в самом начале времен кто-то смешал времена года и алфавит, и оттого первыми появляются растения на «б» и на «г», а уж потом на все остальные буквы. Когда покажутся последние, сад уже совсем зарастет, так что и клочка свободной земли не останется.

Она просовывает пальцы под пушистые, кружевные побеги молодого фенхеля. Отец был прав. В самом деле, чудо, как росток, которому едва хватает сил стоять прямо, пробивает себе путь вверх через тяжелую, отсыревшую толщу земли. Но дайте ему еще пару недель хорошей погоды, и его стебелек горделиво выпрямится, упругий от собственных соков. Почва, свет, вода и солнце. Рост, смерть, разложение, новое рождение. И никакой надобности в покаянии, прощении или искуплении вины. Жизнь без души. Такая ясная, такая простая. Ах, Зуана, твое место среди растений, а не в гуще монастырских интриг.

— Я так и думала, что найду тебя здесь.

Зуана быстро оборачивается. К ней между кустов осторожно пробирается аббатиса.

— Ну, как дела у твоих новых ребяташек? — интересуется она, обводя маленький огородик рукой.

— Судить пока рано. Но, думаю, хороший урожай календулы у нас будет.

— Да, и прямо на твоих щечках.

Зуана поднимает руку и стирает со щеки полоску грязи. В отличие от нее аббатиса вся чистая, свежеевыглаженная, но выдает ее не это, а цвет лица. Редко покидающие свои кельи монахини хора сохраняют светлую и гладкую кожу без помощи пудры, которой пользуется Аполлония, а у тех, кто работает снаружи, щеки и носы быстро покрываются прожилками сосудов от солнца и зимних ветров. Защищает их это от греха тщеславия или нет, сказать трудно, однако верно, что в их кельях инспекция не нашла бы столько серебряных подносов, служащих зеркалами.

— Я пришла поговорить с тобой о послушнице. Объяснить, что произошло той ночью на пристани.

— Вы не должны ничего объяснять, мадонна аббатиса.

— Не должна, верно. Но мне хочется, — улыбается она, оглядываясь. — Скажи, а где здесь чемерица?

Зуана показывает на вечнозеленый куст на дальнем краю одной из грядок. Подобрал юбки, аббатиса направляется к нему.

— А с виду такая... невинная.

— Яд у нее в корнях, не в листьях.

Аббатиса кивает и, не сводя глаз с растения, начинает рассказывать:

— После того как я написала ее отцу письмо, он долго медлил с ответом. Когда ответ наконец пришел, она уже как будто успокоилась, и я решила не разглашать то, что он мне сообщил. К его чести, он со всей искренностью ответил на мои прямые вопросы. Он рассказал мне, что его дочь с детства отличалась сильным характером, умом и страстностью, увлекалась то одним, то другим, и это... непостоянство ее нрава заставило его изменить решение и отдать ее в монастырь, а не замуж, как он намеревался сделать сначала, так как, по его мнению, Господь будет для его дочери лучшим наставником, чем любой муж. К несчастью, он сообщил ей — и нам — о своем решении, когда дело зашло уже довольно далеко.

Зуана обводит взглядом грядки. Сильный характер. Среди растений тоже встречаются такие. Дождь, солнце, мороз, насекомые — им все нипочем, они растут и плодоносят, в то время как другие рядом с ними, выросшие из той же горсти семян, вянут и умирают. Их-то и

следует беречь, с них брать побег, а не замуровывать в четырех стенах, не давая размножаться.

— А юноша?

— Учитель музыки? К сожалению, о нем он не был столь откровенен. Но к тому времени у меня, хвала Господу, уже был другой источник информации. Похоже, любовь у них была нешуточная. Когда все открылось, разразился скандал, едва ли не драка, и молодого человека уволили. Отсюда и решение послать ее к нам, в Феррару, а не оставлять в Милане, чтобы, разлучив их, предотвратить возможные последствия. Лишь много позже я выяснила, что молодой человек самостоятельно приехал в наш город, чтобы поддерживать с ней связь тем способом, о котором они договорились заранее.

— Вы много выяснили, — говорит Зуана, впечатленная помимо своей воли.

— В хорошей семье всегда найдется человек, который может разузнать все, что угодно, — пожимает плечами аббатиса. — Обнищавший приезжий в чужом городе поневоле тянется к друзьям, которые не жалеют денег, а юноша, покоровший сердце девушки из благородного дома, любит похвастать своей победой.

«Как хорошо она знает мужчин», — думает Зуана с восхищением. Но откуда? Она ведь никогда не была в таверне, не пила с мужчинами вина и, уж кончено, не заигрывала с ними, как и они с ней. А вот, поди ж ты, говорит о них так, словно впитала знание жизни с молоком матери. А может, в ее семье есть какой-нибудь особый наследственный учебник, в котором все это написано, и она принесла его в монастырь в своем сундуке с приданым? Такую книжку надо хранить от пронырливых церковных проверяющих как зеницу ока.

— А что это за «друзья»? Те самые, что нашли ему место в Парме?

— Те самые, — немного рассеянно кивает аббатиса, так как ее внимание привлек какой-то жучок или кусочек грязи, который она осторожно счищает со своей юбки. — Я бы раньше тебе обо всем рассказала, но мне не хотелось ставить под удар твои отношения с девушкой. К тому времени вы с ней так... сблизились, что я вопреки всему надеялась, что она передумает. В ту ночь я впутала тебя в это дело лишь потому, что не знала наверняка, как они между собой условились, и не могла следить за ней все время.

— Я сама должна была догадаться. Ведь это было так очевидно.

— Нет. Это был искусный обман. Я бы и сама ничего не заподозрила, если бы не знала.

— Меня больше заботило, как бы не пропал маковый сироп из бутылки в аптеке, — качает головой Зуана.

— Ты, как всегда, слишком строга к себе, Зуана. Ты заболела, а остальной общине вскружил голову карнавал. У тебя нет причин винить себя.

— Единственное, чего я не понимаю, — это почему он, потратив столько сил на то, чтобы найти ее и установить с ней связь, вдруг без малейших колебаний взял и все бросил.

Аббатиса срывает лист с куста чемерицы и мнет его в руке.

— Я же говорила: молодые люди вроде него озабочены лишь одним — собственными удовольствиями. Если бы все вышло, как он хотел, то он взял бы ее, попользовался и бросил. Мы должны благодарить Господа за то, что Ему было угодно позволить тебе спасти ее от нее самой.

Зуана вспоминает ту ночь на причале, черную воду вокруг, Серафину, которая, сидя в лодке, возилась с веревками, и себя, неподвижно стоявшую рядом и не пытавшуюся ее удержать. Аббатиса-то знала, что на том берегу ее никто не встретит. Значит, именно Зуана должна была не дать ей убежать, удержать ее на краю, когда та поняла, что ее предали. «Спасибо». Голос девушки снова раздается у нее в ушах. Наверняка аббатиса тоже что-то слышала.

— Мадонна Чиара, я должна вам кое-что сказать.

— Нет, Зуана, я так не думаю, — говорит аббатиса и, бросив на землю лист, стирает его сок с ладони. — На мой взгляд, какой бы грех ты ни совершила, в ту ночь в ее келье ты расплатилась за него сполна. А если у тебя на душе есть еще какая-нибудь тяжесть, иди с ней к отцу Ромеро.

По ее тону понятно, что тема закрыта. И все же так много концов не сходятся.

— А что будет теперь? С девушкой?

— Она принесет обеты и со временем станет уважаемой и достойной монахиней.

— А если она по-прежнему не хочет?

— Не думаю, что она отважится на бунт. Не теперь.

И снова разговор подошел к концу, но Зуана опять мешкает.

— Меня беспокоит то, что она начала поститься сразу после болезни. Я...

— А меня беспокоит то, что она по-прежнему отнимает столько времени у тебя и у всей общины, — резким голосом замечает аббатиса. — Чтобы успокоиться, ей необходимо смириться с тем, что она обычная послушница, и вкусить немного горечи наряду с остальными. Учитывая то, как она согрешила, это не слишком тяжелое наказание, и большого вреда оно ей не принесет. А о «нуждах» ее пусть заботится пока сестра Юмилиана.

Очевидный гнев аббатисы, а также то, что Зуане отказано в доступе к девушке, подтверждают: аббатиса видела или, по крайней мере, заподозрила что-то в ту ночь, на пристани. В знак повинования Зуана склоняет голову. Ей хочется намекнуть, как Юмилиана рада обращению послушницы, но она понимает, что сейчас не время. Любая монахиня должна уметь принимать критику с тем же смирением, что и похвалу. «Тебе следовало бы позаботиться о своей душе, сестра Зуана». Слова Юмилианы снова всплывают в памяти. Быть может, они обе правы: слишком большую часть своего пути она прошла бок о бок с этой ветреной молодой особой. А ведь есть другие, которые больше нуждаются в ней.

— К тому же ты все равно будешь занята в лазарете с сестрой Магдаленой, — говорит аббатиса спокойнее. — Я даже выразить не могу, как ей повезло оказаться на твоём попечении, как нам всем повезло. — Она умолкает, крепко потирая руки. — Ох, как здесь холодно. У тебя, должно быть, вторая кожа выросла с такой работой. Думаю, я еще успею повидать сестру Федерику, до того как колокол прозвонит шестой час. Может, мы дойдем до второй галереи вместе?

Зуана складывает грабли и лопатку в мешок, и они вместе идут вдоль стены огорода.

— Вчера на собрании я говорила серьезно, Зуана, — на ходу продолжает аббатиса. — Ты любимая сестра нашей общины. Твой труд делает жизнь каждой из нас богаче. Так же как твое послушание и верность. — Она умолкает, словно обдумывая, что сказать, и продолжает: — Вот почему мне захотелось поделиться с тобой новостью, которую я получила, — тревожной новостью. Похоже, что епископ Палеотти из Болоньи разослал всем монастырям города



приказ о запрете театральных представлений, дабы духовная жизнь монахинь не осквернялась соприкосновением со светской. А в Милане кардинал Борромео запретил монахиням перенимать у светских музыкантов их искусство и грозитя изгнать из церкви все музыкальные инструменты, кроме органа.

Новость и впрямь пугающая, и, хотя Зуане не очень понятно, зачем аббатиса сообщает ее именно сейчас, в том, что это правда, она не сомневается. Ей вспоминаются лица Бенедикты и Сколастики, сияющие от гордости за плоды своего труда. Не будет больше ни пьес, ни концертов... Нет, это невозможно... Разве только монастырем будет управлять Юмилиана.

— Вы думаете, что такое может случиться и у нас?

— Это уже происходит, исподволь. Начав работу над «подарком» — «Плачем Иеремии», — Бенедикта может обнаружить, что музыка, которой восхищаются сегодня в Риме, куда строже, чем те мелодии, которые льются из ее души. Однако в остальном для нас еще не все потеряно. Наш епископ хотя и склонен к реформам, но происходит из прекрасной семьи и не станет отказывать другим в их просьбах. И тем более важно, чтобы мы не давали ему никаких поводов для тревоги.

Некоторое время они продолжают идти молча. У входа в галерею аббатиса с улыбкой поворачивается к Зуане.

— При сложившихся обстоятельствах, уверена, ты поймешь, как важно для нас, чтобы сестра Магдалена оставалась в стенах лазарета до самой своей смерти...

...а не слонялась по коридорам, получая откровения на каждом шагу.

Это не говорится вслух, но подразумевается. Зуана представляет себе полубезумную Клеменцию, тянущую к ней руки с кровати, где ее удерживают ремни. Немощная старуха, в бреду, вся в пролежнях, привязанная к кровати, словно пленница. Этого, что ли, от нее хотят? Ради блага общины...

Зуана склоняет голову, но не может выдать из себя ни слова. С Божьей помощью, до этого не дойдет.

## Глава тридцать пятая

Сестру Магдалену переносят в тот же вечер, перед последней службой. Зуана сооружает из садовых шестов и привязанного к ним матраса носилки, на которые она и три самые дюжие прислужницы монастыря аккуратно перекладывают старую женщину с тюфяка. Когда они поднимают носилки и идут, ее веки чуть трепещут от боли, причиняемой ей пролежнями, но она не протестует.

В лазарете бормочущая, как обычно, Клеменция странно затихает при их появлении. Магдалену опускают на заранее приготовленную кровать, и Зуана кладет на самые нехорошие пролежни припарки из календулы. В знак уважения приходит аббатиса, почти сразу за ней появляется сестра Юмилиана, которая опускается рядом с кроватью на колени и начинает молиться. С другого конца комнаты ее молитву подхватывает монотонный голос Клеменции.

Позже, когда вся община погружается в сон, Зуана бодрствует у постели Магдалены. По своему опыту она знает, что души людей чаще возвращаются к Господу ночью, чем при свете дня, и это делает лазарет потенциально страшным местом. Временами конец настает в таких мучениях, которые не в силах победить даже ее снадобья, и свеча, горящая на алтаре, едва разгоняет ночную тьму. Но сегодня все по-другому. Сегодня в комнате спокойно и пахнет так сладко, как будто фумиганты зарядили более сильной смесью, чем обычно. Глубокий сон Магдалены словно заражает ее соседок. Зуане, напротив, спать совершенно не хочется, ей кажется, что она могла бы просидеть так вечность. Ее бдение продолжается до заутрени, после, когда божественная служба заканчивается, она еще раз заходит проверить своих пациенток и только потом позволяет себе немного поспать. Утро уже разгоняет ночные тени, а ее пациентки продолжают мирно дремать. С тех пор, уходя в церковь, Зуана всегда оставляет в лазарете Летицию, чтобы старая женщина никогда не была совсем без присмотра. Никаких ремней и веревок больше не будет. Такое решение она приняла и выполнит его любой ценой.

Жизнь общины, по крайней мере внешне, возвращается к обыденности. Дневные службы Великого поста с их молитвами

воздержания и покаяния продолжают при мягкой погоде. После длительных волнений восстановление привычного ритма жизни всем кажется благом.

Согласно предписанию аббатисы, Зуана не видится с Серафиной. И хотя это внушает ей тревогу, она смиряется с ней. В словах аббатисы есть мудрость. Если девушке суждено вести жизнь в этих стенах, то она, как все послушницы, должна найти свой путь к Богу. А для этого ей нужно примириться с самой собой. И хотя сестра Юмилиана — не самый нежный провожатый, да и не союзница аббатисе, все же именно она, и никто другой, заподозрила фальшь в недавнем поведении девушки, а поскольку смирение и строгость — ее девиз, то воспитание всякой молодой души ей можно поручить с уверенностью, как честному и надежному пастырю.

Что до поста, то этой дорогой к Господу шли в свое время многие из них, и если девушка не переусердствует с наказанием, то оно ей особенно не повредит.

«Насколько истощается тело, настолько же поправляется дух».

Кусок хлеба приносят в келью каждое утро, а вместе с ним — кувшин воды, смешанной с несколькими ложками вина. Как и все в Санта-Катерине, пост отличается умеренностью, и дневной рацион составлен так, чтобы заставить поголодать, но не уморить голодом.

Серафину, однако, умеренность не интересуется. Голод, свернувшийся в ее кишках, как огромный ленточный червь, ждет освобождения. Медленными глотками она отпивает немного воды, чувствуя, как та течет по ее горлу, затем ломает хлеб на дюжину маленьких кусочков, которые аккуратно раскладывает на деревянной тарелке. Съев один кусочек, она запивает его водой, потом ставит тарелку в центр комнаты, чтобы та всегда была перед ее глазами как напоминание о соблазне. В течение дня Серафина, может быть, возьмет один из этих кусочков, разломит его на крошки и часть из них положит в рот, где они пропитаются слюной и станут мягкими, а тогда проглотит их. Все, что останется к концу дня, она припрятает где-нибудь в келье, чтобы сестра, которая рано утром принесет новую порцию, ничего не заметила и чтобы съесть потом, когда захочется, только ей не хочется никогда. По крайней мере, в этом она сама себе хозяйка: сама делает свой выбор.

Ее немного удивляет быстрота, с которой произошла эта перемена: то, как скоро пост, его теория и практика, стал всей ее жизнью. Каждую минуту дня она носит в себе свой голод. Когда она молится, то просит сил, чтобы не поддаться ему, а когда голод становится нестерпимым, то начинает молиться. Она не чувствует его лишь во сне. И все же — и это самое странное — голод не причиняет ей мучений. Напротив, сам акт воздержания от еды требует от нее такого сосредоточения и погруженности, становится таким могущественным, что постепенно стирает все прочие мысли и чувства, которые могли бы ее отвлечь. Нет больше времени тосковать по голосам, читающим стихи, или жаждать прикосновения чужой руки. Нет времени беситься от ярости в своем заточении или предаваться отчаянию. Даже музыка, которая прежде всегда звучала в ее мозгу и скрашивала тишину, умолкла. Серафина слишком занята делом, принятием решений, соблазнами, которые необходимо победить: сколько глотков воды выпить, когда и сколько кусочков черствого хлеба съесть, сколько жевательных движений сделать, чтобы растянуть порцию подольше, и наконец, выплюнуть пищу или проглотить. И хотя у нее бывают поражения, но есть и свои победы. Простой факт, что она сама решает, как и сколько ест, наполняет ее странным ощущением власти. И заставляет забыть об одиночестве. Потому что в этой борьбе громче начинает звучать чужой голос.

*«Насколько истощается тело, настолько же поправляется дух»*

Слова сестры-наставницы стали теперь ее поэзией. Это сестра Зуана пытается заткнуть ей рот куском хлеба, а сестра Юмилиана понимает, какое удовлетворение получаешь, побеждая собственное сопротивление. Сестра Юмилиана, никогда ее особенно не жаловавшая, теперь сама доброта. Каждый день она жертвует своим часом отдыха, чтобы посидеть и помолиться с ней. А ее наставления, некогда столь безрадостные, оказываются исполненными сути и смысла.

— Предоставь все Ему. Борьбу, соблазны. Свою слабость и недостойность. Ибо никто не может справиться с ними в одиночку.

Сестра-наставница будто только и дожидалась, когда она потерпит поражение и ей будет так плохо, что придется собирать ее заново по кусочкам. Ее голос, прежде столь суровый и язвительный, становится нежным в часы, которые они проводят вместе.

— Копи свой голод, вкушай боль, ощущай пустоту. Предоставь все Ему, Серафина. Он все испытал, не только это. Будь истинно смиренной, и Он не отвергнет тебя. Проси Его о помощи. «Я недостойна, Господи, но будь со мной в этой борьбе. Опустоши меня. Ибо Ты есть моя единая пища, мое пропитание. Очисти меня, чтобы я была готова принять Тебя».

«Моя единая пища». «Мое пропитание». Когда мысли о черством хлебе отступают, она все больше начинает задумываться о гостии, воображает момент, когда примет ее, пытается представить, какова она на чистую совесть. Даже в детстве, когда она старалась быть хорошей, мелкие греховные мыслишки то и дело смущали своими блошиными укусами ее душу. Но теперь все по-другому. Теперь, когда в ее жизни ничего больше не осталось, она начинает желать одного: причастия, которое ее воображение превращает в пир, и она чувствует терпкий вкус вина и бесподобную сладость тающей на языке облатки. Но так будет, только если она сохранит себя в чистоте.

Дни постепенно сливаются в один, и под опекой сестры Юмилианы она поправляется, истощаясь.

Тем временем сквозь парлаторию просачиваются слухи об инспектированиях других монастырей в других городах и о переменах и бедах, к которым они приводят, так что многие монахини склоняют головы в молитве и благодарят Господа, что их в Санта-Катерине так не угнетают.

Многие... Но не все.

## Глава тридцать шестая

В третью субботу поста, после двух недель покаяния и заточения, послушница Серафима получает разрешение посетить мессу и причаститься и таким образом снова вступить в жизнь монастыря.

Зуана пораньше занимает место в часовне. Она не видела свою бывшую помощницу с того самого утра, как та открыла глаза. Девушка приходит, опираясь на руку сестры Евгении. Даже издали Зуана встревожена тем, что она видит. Послушница сгорбилась, отошла, глаз не поднимает, идет трудно, обдумывая каждый шаг. Евгения рядом с ней кажется стройной и гордой. Как и многих монахинь помоложе, ее очень впечатлила история болезни и почти чудесного выздоровления послушницы, и теперь она, похоже, видит в ней объект для служения, а не соперницу. Поразительная пара: две лучшие певуньи общины, обе на пределе нервного возбуждения, каждая по-своему, обе почти прозрачные от напряженности бытия. «До чего же уязвимы молодые перед бурями эмоций и драм, — думает Зуана. — Как будто сердца у них бьются чаще, чем у других». Она продолжает наблюдать за девушками, пока те усаживаются на свои места. Их появления ждали, и не одна она следит за ними из-под полуопущенных век. «Бунтовать она больше не будет». Слова аббатисы звучат в ушах Зуаны. Поскольку мадонна Чиара последней занимает свое место, то сейчас ее здесь нет, и она ничего не видит, а жаль, на это ей, вероятно, стоило бы обратить внимание.

Хотя... хотя, думает Зуана, я, конечно, знаю, что эта девушка — чрезвычайно способная притворщица, но ведь в том, что мы видим сейчас своими глазами, обмана нет? Или есть? Вот ее посадили на место в хоре, и она сидит, вся согнутая, глаза погасшие, выражение лица почти сонное. Если после насильственной чистки всего организма она еще и морила себя голодом больше, чем положено, то у нее сейчас просто не должно быть сил для обмана. Хороший исповедник никогда бы не назначил столь жестокого наказания, ибо известно, что молодые девушки более чувствительны к драме поста, чем женщины постарше.

И все же не исключено, что от этого будет прок. Зуана думает о сестре Магдалене, высушенной, словно кусок солонины. Разумеется,

та представляет собой крайний случай, однако голод в монастырской жизни вещь нужная и даже полезная. Готовясь к причастию, Зуана и сама с прошлого вечера ничего не ела и теперь ощущает знакомую, почти приятную пустоту в желудке. Для тех, в ком тяга к мирскому слишком сильна, пост — прекрасное средство. Да и время сейчас самое подходящее: пост после карнавала. Карне вале: прощай, мясо. В ближайшие шесть недель у многих монахинь будет то и дело урчать в желудке. Дисциплина тела ради освобождения духа — в монастыре, где до сих пор еще ощущается возбуждение, которое принес карнавал, многие только приветствуют этот способ возвращения к состоянию покоя.

Когда все усаживаются, входит отец Ромеро в сопровождении сестер-ризничих и избранных монахинь хора, которые будут помогать ему служить мессу. В отличие от церемоний богослужения в открытых церквях в монастырской часовне все по-домашнему: простой алтарь стоит у подножия большого распятия, поодаль сидят на хорах монахини; присутствовать на такой службе не только большая честь, но и величайшее удовольствие.

Честно сказать, служба не всегда бывает исключительным событием. Стихарь отца Ромеро, вышитый самими сестрами, так тяжел от обилия золотой нити, что священник едва несет его на себе. Зуана наблюдает, как он возится с предметами на алтаре. За шестнадцать лет жизни в монастыре она видела лишь одного священника, чей внутренний свет отвечал сиянию его облачения. Он прослужил у них семь месяцев, а потом был унесен чумой, внезапно нагрянувшей на город, и всем, приходившим после него, недоставало либо силы, либо мягкости. Какую монастырскую святую ни возьми, жизнь каждой из этих чистых женщин отмечена мудростью и милосердием наставника. Разве Катерина Сиенская научилась бы так просто говорить с миром, если бы первым ее слушателем не был Раймонд Капуанский? Но здесь им приходится самим удовлетворять свои духовные нужды, они, по выражению сестры Юмилианы, «словно ягнята, блеющие от голода в поисках пастбища, на котором могли бы прокормиться». И хотя Зуана не хотела бы жить в монастыре, управляемом с суровостью и нетерпением сестры-наставницы, все же бывают моменты, когда красноречие последней находит путь и к ее

сердцу. «Сколько же еще монахинь хора, — думает она, — чувствуют то же самое?»

Служба начинается. Отец Ромеро говорит надтреснуто и с одышкой, монахини отвечают ему полными радостными голосами, и часовня звенит эхом.

— Да пребудет с вами Господь.

— И с тобой тоже.

И Господь, несмотря на отца Ромеро, конечно, с ними.

Зуана склоняет голову. Почти семнадцать лет провела она с этими женщинами. Даже голос ее отца стал тише в сравнении с их голосами. И эта мысль уже не пугает ее, как прежде. Аббатиса права: молитва задает жизни ритм и дисциплинирует, а через дисциплину приходит приятие. О ком из них можно так сказать? Окидывая взглядом ряды, она чувствует, что на нее смотрит Юмилиана. О, у нее всегда было чутье на отвлекающихся.

Зуана сосредоточивается на алтаре. Наступает момент освящения евхаристии.

— Это тело мое.

— Это моя кровь.

Она поднимает взгляд к большому распятию, где из Его пронзенного бока алой лентой струится кровь. И пока она смотрит, ей кажется, будто тело подается вперед, вытягивая из дерева гвозди. Зуана щурится и приглядывается. «Я устала, — думает она. — Вот и в глазах мутится». Она оглядывается, но, кроме Агнезины, у которой зрение такое плохое, что она и вблизи ничего толком не видит и теперь сидит, уставившись вперед и вверх, никто ничего не заметил. Колокол звонит, и все монахини склоняют головы, готовясь принять причастие.

Отец Ромеро поворачивается к ним лицом. Момент настал. Женщины покидают свои места и выходят к алтарю следом за аббатисой. Она в такие минуты — воплощенная грация: руки молитвенно сложены, спина прямая, словно плывет по воздуху, а не идет. Те, кто идет за ней, пытаются подражать ей в этом, но монахини постарше скоро возвращаются к привычному шарканью. Одна за другой они опускаются на колени перед согбенной старческой фигурой и, запрокинув головы и раскрыв рты, ждут, точно голодные птенцы пищи из материнского клюва. Хорошо, что отец Ромеро не выпускает потира из рук, ведь иные из них просто жаждут вина. Его кровь. Его



тело. Разве можно не хотеть еще? Когда наступает очередь Зуаны, она складывает руки и гонит прочь все мысли.

— Прими тело и кровь Христову.

— Аминь.

Облатка соскальзывает ей на язык. Она чувствует ее прохладную, знакомую тяжесть, ощущает, как та размякает, коснувшись слюны. Принять Господа Бога своего внутрь себя. Наполниться Его благодатью. Его жертвой. Его любовью. Ощущением добра. Нет чуда величественнее и проще.

Склонив голову, стараясь не нарушить ощущение потери себя, она возвращается на свое место на хорах. У алтаря преклоняет колена сестра Юмилиана, ее подопечные за ней.

Непонятно, когда именно все произошло: получала ли в тот момент облатку Серафина или священник уже перешел к следующей девушке. Все сходится в одном: сначала раздался звук. Резкий, отрывистый треск, словно вдруг разошлись каменные плиты церковного пола; те, кому доводилось переживать сотрясения земли, клянутся, что они даже задрожали сначала. Но земля не движется. Меняется мир над ней.

— А-а-а-ах...

— Господи... Иисусе!

— Крест! Крест!

Над их головами левая рука Христа отделилась от горизонтальной балки распятия и потянула за собой торс. В первую секунду кажется, что все тело сейчас оторвется от креста, но правая рука и ноги удерживаются на месте, и Он повисает неподвижно, Его левая рука с торчащим из нее гвоздем замирает в воздухе, Его искаженное агонией лицо смотрит на алтарь. В то же время из образовавшейся в распятии дыры сыплется мелкая древесная пыль, покрывая голову и стихарь отца Ромеро. Священник придушенно вскрикивает и выпускает потир и псалтырь. Чаша отскакивает от пола, разливая остатки вина, облатки разлетаются вокруг. И тут все начинают выть и визжать так, будто в часовне обители Санта-Катерины начался конец света.

Пустоту, оставленную умолкнувшим дребезжанием отца Ромеро, немедленно заполняет голос аббатисы. Подняв потир, она возвращает чашу на алтарь, но облатки оставляет лежать, ибо даже она не столь благословенна, чтобы прикоснуться к ним.

— Сестры, сестры, успокойтесь... — Ее голос чист и звонок. — Опасности нет. Гвоздь в распятии расшатался, вот и все. Просто надо поостеречься, чтобы драгоценное тело Христово не упало на нас. Расходитесь по кельям, все. Сестра Юмилиана, вы выведете послушниц из часовни?

Но Юмилиана стоит на коленях и не двигается.

— Сестра Юмилиана, приглядите за послушницами.

Тут бы все и кончилось, ибо мадонна Чиара, когда захочет, умеет не только утешать, но и командовать. Но едва она успевает сказать эти слова, как дверь часовни отворяется и в проеме, освещенная ярким утренним светом, показывается Летиция, прислужница.

Возможно, Зуана видит ее раньше других. Во всяком случае, узнает она ее раньше. И, еще не разглядев выражения ее лица, она понимает, что это еще не все... «О Господи Иисусе! — думает она. — Что здесь у нас происходит?»

— Кто-нибудь, пожалуйста! Сестра Зуана, старая сестра умерла.

Аббатиса на секунду закрывает глаза. Может быть, она и в своей стихии, но испытания иногда оказываются больше, чем она может вынести. Однако долго отдыхать ей не приходится, ибо прямо у нее за спиной, без суеты и шума, соскальзывает на пол послушница Серафина.

## Глава тридцать седьмая

Четырнадцать дней и четырнадцать ночей.

Однажды ей снится Джакопо, его тело омывает черная речная вода, маленькие рыбки стремительно, точно разноцветные ноты, всплывают в его рот и выплывают из него. Сон так ее пугает — не тем, что в нем она видит его мертвым, а тем, что она вообще его видит. Весь день она ничего не ест, обходясь лишь несколькими глотками воды, а мысли о еде — вернее, о ее отсутствии — стирают из ее сознания все остальное.

Теперь она часто устает и спала бы весь день, если бы можно было. Временами, бодрствуя, она чувствует себя такой легкой и у нее так кружится голова, что ей кажется, будто она вот-вот взлетит. Чем ближе день мессы, тем сильнее ее страх перед едой, словно всякий проглоченный кусок осквернит причастие. Она внимательно слушает наставления Юмилианы о том, как вести себя в этот момент, о том, как она недостойна и как милосерден Господь, о том, что к Нему надо идти в полном смирении, но все чаще обнаруживает, что ей трудно сосредоточиться, и иногда даже плачет от натуги. Когда это случается, добрая сестра не бранит и не ругает ее, а берет ее руки в свои, заставляет смотреть ей в глаза и так возвращает ей внимание.

Душа моя жаждет двора Господня, изнемогает от тоски по Нему,  
Сердце мое и плоть моя взывают к живому Богу,  
Ибо Господь Бог есть солнце и щит,  
Господь дает благодать и победу,  
И не утаит Он своего добра от тех, кто ходит с Господом.

Временами в ее словах столько доброты, что Серафина испытывает соблазн во всем ей признаться, но боится, что глубина ее греховности оттолкнет Юмилиану.

Сама сестра-наставница Санта-Катерины, если и интересуется тем, за какие грехи на ее молодую подопечную было наложено столь

суровое наказание, ни о чем не спрашивает. Самые святые пути к Господу нередко начинаются с прегрешений, и наказание для нее — лишь благословенный шанс. Она говорит Серафине, что та получила драгоценный дар и должна дорожить им.

Однако некоторые вопросы она себе все же позволяет. Ей очень хочется узнать, что же случилось, когда старая монахиня вошла в келью, где девушка лежала при смерти. Что сказала ей благая Магдалена? Что она сама видела? И что произошло тогда, перед обедней, — случай, о котором никто не говорит, но все знают, — когда у Магдалены был транс?

Серафина отвечает так честно, как только может. Когда она рассказывает о том, что произошло с ней тогда в келье, о том, как старая женщина схватила ее за руку и заговорила, и у нее тут же стало как-то пусто в животе, словно кто-то взял скальпель и выпотрошил ее всю, сморщенное лицо Юмилианы вспыхивает, словно лампада, и она говорит ей, что это был знак, что хотя она и недостойна, но старая женщина разглядела в ней возможность благодати. А потому тем более важно, чтобы она продолжала свой пост ради духовного совершенства. И хотя Серафина понятия не имеет ни о какой благодати, она понимает, что движется к чему-то, ибо еще ни разу в жизни она не чувствовала себя столь... столь поглощенной, столь плотной и в то же время столь легкой.

В ночь перед мессой она молится и молится, пока не засыпает, стоя на коленях. Вместо грызущего голода осталась лишь тупая боль и какое-то онемение и покалывание в пальцах и ступнях. Хотя погода стоит теплая, ей часто бывает холодно, и она надевает лишнюю сорочку и шаль под платье. Переодеваясь, она изумляется, каким огромным и чужим кажется ее тело, как будто оно увеличивается от голода, а не наоборот. Так Господь говорит ей, что ее стараний недостаточно. Она думает о сестре Магдалене, которая жила на одних облатках. Теперь она знает о ней больше, ведь в ответ на ее откровенность Юмилиана поделилась с ней кое-какими монастырскими историями. Она поведала ей о том, что некогда Санта-Катерина была местом, где совершались чудеса, где жила святая, освещавшая своим присутствием и благодатью каждую службу и даже имевшая стигматы на ладонях и ступнях, с которых капала кровь. И о том, что в монастыре не было ни одной послушницы или молодой

монахини, не испытавшей трепета и восторга рядом с ней. Когда Юмилиана говорит об этом, ее глаза увлажняются и блестят.

Свет в галереях в утро мессы кажется Серафине ослепительным после сумрака кельи. Когда она идет к часовне, опираясь на руку сестры Евгении, то вдруг чувствует спазм в желудке. Вид галерей вызывает у нее шквал воспоминаний, и на мгновение она не в силах справиться с ужасом, который охватывает ее при мысли о том, что произошло в ее жизни. Она сжимает пальцы, лежащие на руке молодой монахини, и сестра Евгения останавливается. Серафина смотрит на нее. Раньше она видела в ее глазах лишь зависть, иногда даже гнев, а теперь читает тревогу и даже трепет. «Что со мной происходит?» — думает она. Паника, словно струя воды, взлетает вверх и снова ослабевает. Они продолжают путь.

Внутри часовни Серафина избегает смотреть на сестру Зуану, хотя с первой минуты чувствует ее взгляд. Заняв свое место на хорах, она кладет руки на подлокотники, чтобы не потерять равновесие. С той стороны прохода Феличита и Персеверанца бросают на нее короткие любопытные взгляды, а старая Агнезина глазеет открыто, даже не делая вид, будто не смотрит. Что же они все видят? Может, они тоже постятся и так же исхудали, готовясь причаститься благодати Господней? Сколько же можно так жить? Недели, месяцы? Больше? Сестра Магдалена жила на облатках годами. Так, кажется, говорила Юмилиана?

Начинается месса. Когда наступает время петь, воздух, который наполняет ее грудь, вызывает у нее головокружение, и голос вибрирует так глубоко внутри ее, что она не знает, слышит его кто-нибудь или нет. Когда дело доходит до благословения евхаристии, ей кажется, будто у нее вибрирует все тело. Ей с трудом удается встать, чтобы пройти несколько коротких шагов от хоров до алтаря. Чтобы не шататься, она сосредоточивает взгляд на склоненной спине Юмилианы. Преклонив колени, она запрокидывает голову, открывает рот и замуривает глаза, но от внезапно наступившей темноты у нее так кружится голова, что ей приходится открыть их снова. В голове точно стучат молоты. Она ведет себя тихо, предвкушая наступление момента, готовясь услышать слова, которые не звучат, как ей кажется, целую вечность.

— Прими тело и кровь Христову.

— Аминь.

И вот наконец гостия у нее на языке. Она ждет взрыва сладости. Раздается треск, такой громкий и резкий, что ее голова невольно запрокидывается еще дальше назад и начинает кружиться еще сильнее. Она видит, как фигура Христа отделяется от распятия и начинает падать вперед, прямо на нее. «О! Он разгадал мою ложь, — думает она. — Он знает, что я недостаточно раскаялась и очистилась». Она пытается подняться, ей даже удается встать на ноги, но все вокруг нее кружится. Она слышит голоса, чувствует, как мечутся люди, и падает, падает...

Когда она приходит в себя на полу часовни, над ней склоняется лицо сестры Юмилианы, седые волоски на подбородке дрожат, словно ожившие усы.

— Что ты видела? — шепчет она настойчиво. — Сестра Магдалена была с тобой в церкви? Ты видела Его, когда Он упал?

## Глава тридцать восьмая

— Термиты.

Два дня спустя аббатиса назначает собрание общины. Сестра Магдалена похоронена, часовня закрыта, плотник и местный скульптор приглашены, чтобы оценить ущерб. Однако в конце недели открывается парлаторио, и нужно сделать так, чтобы история, которую услышат посетители, была у всех одинаковая.

— Похоже, что термиты проели большую дыру вокруг железных креплений под левой рукой и вдоль спины, где статуя крепилась к кресту. Распятию ведь больше ста лет. Плотник говорит, что термиты жили в нем около десяти лет, может быть больше. В сыром и жарком климате, как у нас, в Ферраре, подобные вещи не редкость.

Аббатиса оглядывает собравшихся сестер. Правда, что почти все они сталкивались с ущербом, причиненным термитами, видели комнаты, в которых дорогая мебель стоит ножками в емкостях с водой, чтобы по ним не взбирались ненасытные твари. Но чтобы изображение Господа упало с креста?

— Но ведь они ползают. Как же они забрались туда?

Наступает небольшая пауза.

— В определенный момент жизни они летают, — тихо говорит Зуана, которая точно знает, что это правда.

Но еще она знает, что никто не хочет слушать об этом сейчас. И не только потому, что она любимица аббатисы и, следовательно, говорит, что угодно той.

— У них было сто лет, чтобы уронить распятие, — прямо говорит сестра Юмилиана. — И все же это должно было произойти в тот самый миг, когда умерла наша самая святая сестра.

Возразить на это нечего. Некоторые смотрят на Серафину, которая сидит среди послушниц, бледная и сгорбленная. По-видимому, не стоит утверждать, что после четырнадцати дней поста именно голод заставил ее лишиться чувств как раз тогда, когда объявили о кончине сестры Магдалены. Однако, думая об этом, Зуана вдруг понимает, что она и сама уже не столь уверена в своей правоте.

Дни от мессы до собрания выдались суматошными, пересуды и шепоты, как ветер, носились по галереям и мастерским. Поскольку в

часовне полно рабочих, тело сестры Магдалены не удается поставить у алтаря, как это принято, и скромный гроб переносят в маленькую комнатку по соседству с аптекой, превращенную в морг. Зуана с Летицией и сестрой Феличитой одевают ее в чистую сорочку и новый белый чепец, выпрямляют ее узловатые ноги, руки складывают на груди крестом, накрывают иссохшее тело золотым покровом, который специально для этого хранят в монастыре и сразу после погребения убирают.

Оставшись перед ночным бдением ненадолго одна, Зуана только диву дается, глядя на мертвое тело. Сестра Магдалена выглядит так, словно она давно уже умерла и наполовину превратилась в мумию. То, что она так долго жила в таком виде, если не настоящее чудо, то... по крайней мере, чудо природы.

Зуана не просит об этом, так как знает, что ей все равно откажут, но она многое бы дала, чтобы вскрыть грудную клетку и живот трупа в поисках внутренних знаков святости. В других местах такое случалось; сестер, казавшихся святыми при жизни, вскрывали после смерти, чтобы посмотреть, не найдется ли в их телах каких-нибудь тому свидетельств. Она нередко задумывалась о том, как монахини, закатав рукава и вооружившись кухонными ножами, резали источающее аромат тело великой Клары Монтефалькской. Представляла, как они удивились, обнаружив у нее в груди сердце в три раза больше обычного, с видимым знаком креста из наростов плоти внутри. Одна из тех сестер была дочерью врача. Так рассказывал ей отец. Ах, будь она на месте той монахини, какую монографию написала бы она по следам вскрытия — такую детальную и прекрасную, что та заняла бы достойное место на полке любой библиотеки.

Но нет смысла даже думать об этом. Секреты сестры Магдалены, каковы бы они ни были, будут похоронены вместе с ней, на благо общины. «На благо общины» — эта фраза становится у них чем-то вроде литургии.

В отсутствие дальнейших чудес говорили о самой смерти. Конец, когда он настал, был вполне ясен. Магдалена широко открыла глаза, что-то пробормотала, а потом с долгим неглубоким вздохом испустила дух. Вопрос о том, что она сказала на самом деле, остается открытым, хотя Летиция после беседы с сестрой Юмилианой свято уверовала в



то, что ее последние слова были: «Иду к Тебе, сладчайший Иисус. Спаси нас всех, Господи».

Хотя визиты в парлаторио разрешат не раньше конца недели, новость быстро распространяется за пределы монастыря: то ли плотники выносят ее в своих карманах, то ли она сама выскользывает в замазанные известью щели между кирпичами. Иные феррарцы постарше еще помнят чудеса, которыми славилась сестра Магдалена, и к концу первого дня у ворот монастыря собирается небольшая толпа. Аббатиса принимает нацарапанные на бумаге соболезнования, но, невзирая на длительный разговор с сестрой Юмилианой, твердо стоит на своем: никакой публичной демонстрации тела не будет. Вместо этого община сама устраивает бдения возле тела, однако допущены к ним лишь монахини хора с аббатисой во главе, поэтому атмосфера остается благородной и сдержанной. Погребение происходит наутро, ровно через двадцать четыре часа после омовения тела; простая, трогательная церемония, со слезами, молитвами и словами радости и утешения, сказанными аббатисой и отцом Ромеро.

Однако это еще не конец.

— Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, сестра Юмилиана, — холодно говорит аббатиса.

В зале собраний Зуана, как и все остальные, старается держать в поле зрения обеих женщин сразу.

— Я имею в виду, мадонна аббатиса, что смерть сестры Магдалены не случайно совпала с падением тела нашего Господа, это наверняка знак, — заявляет Юмилиана и ненадолго умолкает. Она уже все для себя решила. А потом продолжает: — Я верю, что таким образом нам сказали, что в Санта-Катерине не хватает благочестия. Что за всеми праздниками, публичными представлениями и славой мы совсем забыли об истинном своем предназначении, которое заключено в молитве и смирении, дисциплине и послушании.

Она хорошо говорит; в последнее время оказалось, что она не только благочестива, но и красноречива. Собравшиеся затаивают дыхание. За все годы подспудной борьбы вызов впервые брошен столь явно.

Аббатиса, наоборот, широко улыбается.

— И тем не менее я вижу здесь целую комнату монахинь, славящих Господа всем сердцем и душой. И я уверена, что второго

столь же радостного и трудолюбивого монастыря не сыскать во всей Ферраре.

— Не все с этим согласны.

— Вот как? — удивляется аббатиса, обводя комнату взглядом, словно ждет, что несогласные — кто бы они ни были — вот-вот заговорят.

И сестра Феличита уже открывает рот, но сестра Юмилиана тут же запечатывает его взглядом.

— Есть силы более могущественные, чем наш монастырь или город Феррара, мадонна аббатиса. Я говорю о нашей святой матери Церкви, о добрых отцах из Трента, которые могли бы отыскать сколько угодно грехов в монастыре Санта-Катерина, — говорит сестра-наставница.

Аббатиса, оставив попытки очаровывать, холодно смотрит на нее. Обводит взглядом монахинь, многие из которых, особенно в задних рядах, прячут глаза. По-видимому, в монастыре ходят разговоры, о которых аббатиса, несмотря на свою проницательность, не знает ничего.

— А! Так, значит, вы предпочли бы жить в Болонье. Или в Милане, где больше не играют на музыкальных инструментах и во время открытых служб поют лишь самые простые мелодии. Полагаю, вы уже слышали об этих новшествах?

У Бенедикты вырывается неразборчивый вскрик. Трудясь над «Плачем Иеремии», она не спала всю ночь и теперь выглядит менее жизнерадостной, чем всегда.

— В тех городах есть сестры, могущие подтвердить, что в простых псалмах, которые они поют ныне, благочестия больше, чем в новомодных сочинениях, которыми они развлекали гостей прежде, — едва заметно пожимает плечами сестра-наставница.

И хотя многие из сестер хора заметно встревожены, по задним рядам комнаты проносится одобрительный шепот.

Зуана ловит себя на том, что представляет себе зрелый нарыв: как он растет под кожей, надувается, твердеет, набирается гноя и, сколько припарок на него ни клади, сам собой не размягчится и не пройдет. Так и болезнь, назревшая в теле их общины.

— Для сестры-наставницы, мечтающей отрезать все связи монастыря с окружающим миром, вы удивительно много знаете о том,

что там происходит.

Аббатиса бросает беглый взгляд на сестру-привратницу и цензора в одном лице, через чьи руки проходит вся корреспонденция монастыря, и той не хватает нахальства ответить на ее взгляд.

— Санта-Катерина ничем не уступит тем монастырям. Господь уже снабдил нас чистейшими голосами, чтобы воздавать Ему хвалы, — не сдастся Юмилиана.

И она поворачивается к Серафине, а за ней все сестры. Кроме аббатисы.

— Значит, если я правильно вас поняла, сестра Юмилиана, вы считаете работу термитов в часовне знаком Господа о том, что мы плохо исполняем свои обязанности? — спрашивает мадонна Чиара.

Зуана снова думает о нарыве и о том, что иногда лучше вооружиться ланцетом и вскрыть его, как бы больно и неприятно это ни было.

— Да, я рассматриваю это как знак, поданный нам, с тем чтобы мы исправились, — отвечает Юмилиана.

— Знак. О да, язык знаков чрезвычайно богат.

Аббатиса обводит взглядом собравшихся. Ее глаза ясны, в них нет и тени страха.

— Я с шести лет живу и служу Богу в этом монастыре и за это время усвоила, что Его деяния и впрямь удивительны. И хотя Ему не было угодно умерить аппетиты термитов, ибо в природе все должно идти своим путем, однако способ дать почувствовать свою волю у Него есть.

«Что сейчас будет? — думает Зуана. — Неужели она справится?»

— Гвоздь, который удерживал левую руку нашего Господа на кресте, и крепления Его торса ослабели в один миг. Случись то же самое с гвоздем в правой руке, огромная скульптура наверняка рухнула бы. В таком случае мы бы оплакивали сейчас не только сестру Магдалену, но и двух-трех милейших послушниц вместе с ней; а может, и саму сестру Юмилиану, ибо все они стояли тогда у алтаря, принимая причастие, — говорит аббатиса и делает паузу.

«Главное, правильно рассчитать время, — думает Зуана. — Такие тонкости делают богаче жизнь».

— Именно в этом я усматриваю истинный знак. Ибо я должна вам сказать, что, по словам плотника, дерево под правой рукой статуи

термиты попортили еще сильнее. Так что и он, и скульптор изумляются, как оно выдержало. — Еще одна пауза. — Вот почему мне кажется, что мы не только не прокляты, но наоборот, отмечены как избранные. — И она снова умолкает, давая собравшимся прочувствовать всю серьезность ее слов. — Я взяла с рабочих клятвенное обещание не распространяться об этом за пределами монастыря, чтобы не пошли слухи о чуде и нас не обвинили в нескромном желании привлечь к себе всеобщее внимание. Но я, конечно, поставила в известность епископа и испросила у него благословения на маленькую благодарственную мессу в стенах монастыря, — продолжает аббатиса, расправляя ладонями юбку, на которой нет — и никогда не будет — ни одной лишней складки. Она снова замолкает, а потом добавляет: — Однако если вы, сестра Юмилиана, все еще настаиваете на противоположной точке зрения, то Его Святейшеству, быть может, интересно будет выслушать вас. Напишите ему письмо, и я сама прослежу за тем, чтобы его переслали.

Сестра-наставница сверлит ее взглядом. Зуана видит, что ее подбородок слегка дрожит.

— Я напишу сегодня и принесу письмо вам в час посещений... — говорит Юмилиана, принимая поражение так, как будто оно сделает ее сильнее. — И с вашего позволения, заговорю об этом опять.

В комнате наступает глубокая тишина. Монахиня хора отказалась принять конечное решение аббатисы — неслыханное дело. Всем ясно, что их корабль вошел в неизведанные воды, а это вызывает возбуждение и страх.

Среди сладкоголосых спасенных послушниц многие высматривают Серафину. Она недвижно сидит, глядя прямо перед собой и ничего, кажется, не видя запавшими глазами. Девушка всего три дня как вернулась к нормальной жизни монастыря, однако на нее и без замечаний сестры Юмилианы обращают внимание. Не в пример ее прежнему показному благочестию, предписанные ей пост и покаяние возымели такое действие, что многие из сестер начинают задаваться вопросом, кто же такая на самом деле эта девушка. Послушница с характером горгоны и с голосом ангела — явление редкое, а тем более такая, которую отметила как достойную спасения монастырская святая. А если мадонна Чиара права, и падение креста было на самом деле благословением, а не наказанием, то как следует понимать тот

факт, что причастие в тот момент принимала именно она? Разве не означает это, что из всех благословенных спасенных она самая благословенная?

Зуану, напротив, тело девушки заботит больше, чем ее душа. Она думает о том, что полный отказ от пищи, да еще и на протяжении столь длительного срока, может привести к странному напряжению духа, которое без должного руководства может стать угрожающим; ибо пустота есть место, в котором легко не только обрести себя, но и потерять. А еще она вспоминает, что, хотя наказание закончилось три дня назад, она ни разу не видела, чтобы девушка ела. И она решает, что будет теперь садиться в трапезной прямо напротив Серафины.

## Глава тридцать девятая

Именно в этот день посещений аббатиса совершенно не расположена рисковать. Она отдает распоряжение двум монахиням-наблюдательницам безотлучно присутствовать в парлаторио. Это необычно — вообще-то в их монастыре на свиданиях всегда присутствует одна, да и то как дань традиции следить за всеми контактами с внешним миром, — но это правило, как и многие в Санта-Катерине, легко нарушается, так что монахини свободно смеются, сплетничают и болтают со своими родными. Однако сегодня присутствие сразу двух надзирательниц — обе из семейной фракции аббатисы — определяет темы разговоров: в монастыре скончалась святой жизни сестра, которую все горячо оплакивают, и, хотя термиты погрызли древесину большого распятия в церкви, оказалось, что община вовсе не проклята Богом, а как раз наоборот, благословлена Им. К тому же есть новость, пришедшая только сегодня утром: распятие, временно убранный из церкви, починят и повесят вновь как раз к Вербному воскресенью.

В то же утро в аптеку к Зуане приходит расстроенная сестра Избета с шелковым свертком в руках, из которого выглядывает вздернутый нос и тусклые, полузакрытые глазки собачонки.

— Он болен, сестра Зуана. Очень болен. Вы не откажетесь на него взглянуть?

Не объяснять же ей, что аптека — место для монахинь, а не для псов. Избета — чистая душа, жалостливая и набожная. В другом мире она бы стала последовательницей более строгого режима, только ее любовь к животным почти не уступает ее любви к людям, так что в монастыре, где ей запретили бы держать собаку, она зачахла бы и умерла. Что и собирается сделать ее пес.

Зуана кладет сверток на рабочий стол и аккуратно разворачивает шелк. Запах сообщает ей многое из того, что ей нужно узнать. От зверька несет болезнью, его тельце дрожит, шубка, обычно такая гладкая и блестящая, свалылась и потускнела. Зуана осторожно ведет по его животу ладонью и скоро нащупывает возле паха твердую опухоль. Пес скулит и делает слабую попытку укусить, но у него нет больше сил.

— Он уже давно сам не свой. Со дня святой Агнесы. Но в последнее время... Ему можно помочь?

— Боюсь, что это уже не в моих силах. У него здесь нарост, опухоль. Может, и не одна. Она-то и высасывает из него силы, причиняя боль.

— Ну вот, так я и знала. Здесь даже звери и те болеют.

Зуана молчит. И нежно гладит пса. Тот сначала скалится, потом сдается и тяжело опускает голову на ее руки.

— Неужели Господь так нас накажет?

— О чем вы, сестра?

— Феличита говорит, что возле Сиены есть монастырь, где проверяющие от Церкви забрали у сестер всех кошек и собак, сложили их в мешок и утопили в реке.

Последнее собрание словно открыло шлюзы, и истории вроде этой хлынули рекой.

— Не думаю, что они на такое способны.

— А я думаю. Я думаю, что сестра Феличита и сама с радостью сделала бы то же самое, если б могла. На прошлой неделе в кухне она его пнула.

— Уверена, что это вышло случайно.

Но Избета и с этим не согласна.

— Вовсе нет, — энергично трясет она головой. — Такие самодовольные, она и сестра Юмилиана. Думают, что если они могут жить без всякого утешения, то и остальные должны быть такими же, как они.

Зуана еще никогда не видела Избету в таком гневе.

— Ну, опухоль возникла не от ее пинка. И не как наказание за грех. Дело в том, что она растет в его теле уже давно, — говорит Зуана, не отрывая глаз от зверька.

— Так, значит, вы ничем не можете ему помочь?

— Я могу дать ему что-нибудь, чтобы он спал, тогда боль не будет его так сильно беспокоить.

— А девушка? Может, она его спасет?

— Какая девушка?

— Послушница, Серафина... — Избета колеблется. — Я... Говорят, что сестра Магдалена передала свою силу ей, когда умирала. Потому и крест на нее не упал, а сама она потеряла потом сознание.

«Вот как? Вот, значит, что говорят? — думает Зуана. — Что же я за шпионка такая, если даже самого громкого шороха в траве не замечаю?»

— Кто так говорит?

— Ну, некоторые сестры... — пожимает плечами Избета. — Так вы ее попросите? Она ведь... Вы ведь так близки с ней.

Зуана мягко улыбается.

— Сестра Избета, мне очень жаль, но ни она, никто другой тут помочь не в силах. Ваш песик умирает. Таков путь всякой плоти.

Старая монахиня склоняет голову и молча кивает. Потом подходит к рабочему столу и нежно, словно мать заболевшего ребенка, укутывает пса, стараясь не задевать его живот. Зуана наблюдает за ней. Куклы, изображающие Младенца Христа, кошки, собаки, дети в парлатории... Как тяжело дается иным женщинам бесплодие в браке с Господом.

Она протягивает руку за маковым сиропом.

В полдень, продолжая думать о собаке и о том, сколько беспокойства породили носящиеся по монастырю слухи, Зуана сидит за своим столом в аптеке и составляет список лекарств и эссенций, подлежащих замене, когда раздается стук в дверь.

— Сестра Зуана, меня послала сестра-наблюдательница. — Летиция, сообразительная и исполнительная, как всегда. — Там в парлатории вас кто-то спрашивает.

— Меня?

— Да. Сестра-наблюдательница сказала, что это жена одного из бывших учеников вашего отца, вы ее знаете. Ее муж очень болен, и она пришла просить вас помолиться за него.

Зуана хмурит лоб. Поначалу ее изредка навещали люди, знавшие ее отца, придворные дамы, чьих детей или мужей он исцелил, но с тех пор, как к ней приходил последний посетитель, минуло много лет, и она не помнит такой женщины. Сначала упавшее распятие, потом больная собака и две святые, живая и мертвая. А теперь еще и посетительница к монахине, у которой никого нет. Воистину странные настали времена.

В парлатории стоит гул. Комната, хотя и не так затейливо украшенная, как в карнавал, по-прежнему радуется глаз. Кто-то срезал несколько больших зеленых веток и поставил их в вазу посреди стола,



возле сидящих кучками посетителей и монахинь стоят глиняные тарелочки с печеньем и кувшины с водой и вином. Монахинь в комнате около двадцати, не считая надзирательниц; к одним пришли по двое-трое гостей, вокруг других собрались, кажется, целые семьи. В комнате очень шумно, отчасти из-за детей, которых сегодня с полдюжины: два младенца сидят на коленях у матерей, остальные, едва начавшие ходить, ковыляют, зажав в руках липкие печенюшки, или лезут к монахиням на колени пощупать кресты.

Посетительница Зуаны сидит в стороне, у стены. Это женщина средних лет, скромно одетая и слегка смущенная таким соседством. Она явно не благородного происхождения, но платье на ней аккуратное, туфли начищены, волосы убраны наверх, как подобает замужней даме, и прикрыты простой, но изящной вуалью, которая падает ей сзади на плечи. Зуана никогда раньше ее не видела.

— Здравствуйте, я сестра Зуана.

— О, мне так приятно... — произносит она, начиная вставать, и тут же протягивает руку, словно не зная, как подобает приветствовать монахиню благородного происхождения.

— Пожалуйста, не вставайте. Простите, но мы с вами знакомы?

— Я... Нет.

— Но вы жена одного из учеников моего отца?

— Да, в некотором роде.

— Вы уверены, что именно меня ищете?

— О да. Если вы сестра Зуана... Мой муж действительно знал вашего отца. Мы держим аптеку у западных ворот города. На виа Аполлониа. В детстве мой муж часто видел вашего отца, когда тот приходил туда. Он говорит, ваш отец был прекрасным человеком.

Женщина нервничает. Она улыбается. У нее хорошая улыбка: она собирает морщинки вокруг глаз и, не притушенная покрывалом, освещает все лицо.

— Так чем я могу вам помочь? Мне сказали, он болен?

Женщина затаивает дыхание.

— Да, болезнь есть. Но я пришла из-за одного синьора.

— Не вашего мужа?

— Нет, не мужа... О, это не то, что вы подумали. Мой муж знает, где я. Этот синьор — он пациент. Мой муж нашел его. Он был ранен. Тяжело ранен. Мы помогли ему. Без нашей помощи он умер бы.

Несмотря на нервозность, женщина полна решимости. Вообще-то Зуана не должна ее больше слушать, ведь она до сих пор не сказала ничего, что как-то объясняло бы ее визит, но Зуане она нравится. А может, ей нравится новизна этой комнаты, где царит суэта и оживление, словно тут не монастырь, а приемная большого дома, где люди собрались и радуются повседневной жизни. Монахини-надзирательницы движутся меж группами. Одна из них глядит на Зуану. Непривычно видеть здесь сестру-травницу. Зуана улыбается и кивает. Та отвечает улыбкой и проходит мимо.

— Может быть, вы расскажете мне, что случилось, — говорит Зуана женщине.

— Да-да, спасибо. Несколько недель назад мой муж возвращался в город из деревни, где собирал лекарственные травы. Его лошадь охромела, и последние мили ему пришлось идти пешком, так что время было позднее. С берега реки донеслись крики, и, подойдя туда, он спугнул каких-то людей. Они кинулись наутек, но один остался лежать на земле. Сбежавшие ударили его ножом и пытались перерезать ему горло. Мужу удалось остановить кровь — артерии были не задеты — и привезти раненого в дом. Много дней он был при смерти, так как кровотечение все возобновлялось, но муж прикладывал к ранам лютик и тысячелистник, и юноша стал поправляться.

— Вы помогаете мужу в работе?

Женщина краснеет.

— Да. Немного. Детей у нас нет; я не могла... И вот... И потом, это дешевле, чем нанимать помощника.

— Вам нравится?

У женщины вырывается смешок.

— Да. Да, нравится.

Зуана кивает. Отец, муж, даже сестра. Было бы с кем поговорить. Поговорить с человеком, которому так же интересно, как и ей. Больше ей ничего не было нужно.

— И что же в этой истории привело вас сюда, ко мне? — спрашивает она мягко.

— Юноша рассказал нам, что люди, которые пытались его убить, были его друзьями, он познакомился с ними, когда приехал в наш город, ибо он здесь чужой.

— Тогда зачем они пытались его убить?

— Он не знает. Мой муж сказал, что ему надо пойти к городской страже, ведь он может опознать нападавших. Но юноша сказал, что это не поможет, поскольку они из хороших семей, и правосудия он не дождется.

Зуана чувствует, как внутри ее словно закрадывается холодок.

— А этот молодой человек назвал вам свое имя?

— Да. Джакопо Браччолини. Он певец. Не знаю, будет ли он петь и дальше, ведь ему так исполосовали горло и лицо. Но он был учителем пения в Милане.

Зуана трясет головой. Надо встать и уйти.

— Это он послал вас сюда? — спрашивает она, уже резче.

— Нет. Я сама предложила, что схожу, когда услышала его историю. Он хороший человек и едва не умер, — говорит женщина. — Он написал письмо и попросил, чтобы я передала его вам. Оно адресовано молодой монахине, послушнице по имени...

— Я не хочу знать, для кого оно. Я не знаю этого человека и ничего не могу от него принять, — заявляет Зуана, уже стоя. — Послушница принесла обеты и скоро подтвердит их, ей нельзя получать письма.

Она замечает, что с другого конца комнаты за ней следит монахиня-надзирательница. Напряженность их разговора привлекла ее внимание. Зуана снова садится и опускает глаза.

— Однако не беспокойся, за его полное выздоровление я помолюсь, — уже спокойнее говорит она. — И спасибо за визит.

— Пожалуйста. Пожалуйста... — Голос женщины тих, но отчетлив. — Это трудно, я знаю. Но он хороший человек. Я ходила за ним несколько недель. Он ничего не просит, только хочет сказать «прощай». Он уезжает и хочет пожелать ей счастья. Он никогда больше ее не потревожит.

Зуана трясет головой, но больше для того, чтобы не слышать голоса этой женщины. В том, как она говорит, есть что-то убедительное. Всякий больной, кого она возьмется выхаживать, поневоле найдет утешение как в ее силе, так и в ее нежности. А может, это любовная история тронула ее сердце. Кому, как не ей, знать ценность любви, ведь только ради истинного чувства муж станет

терпеть бесплодную жену и не отвергнет ее, чтобы жениться на другой.

— А вы его читали?

— Нет. Но он хороший человек, клянусь.

Надзирательница уже подходит к ним.

— Все ли у вас в порядке, дорогая сестра?

— О, все очень хорошо, спасибо, сестра Елена, — улыбается Зуана. — Новости, правда, неважные. Это... Изабелла... Везалио. Ее муж был одним из самых одаренных студентов моего отца. Он очень болен, и она пришла ко мне за советом. Но, по-моему, наши молитвы ему нужнее любого лекарства.

Монахиня внимательно смотрит на женщину, чье платье и лицо говорят о смирении.

— Будь спокойна, добрая женщина, мы не забудем помянуть его в наших молитвах, — с улыбкой говорит она и отходит.

Зуана опускает голову, точно и в самом деле молится. Напротив нее, сложив на коленях руки, сидит женщина. Из-под ее ладони высовывается краешек сложенной бумаги.

— Но почему я? Почему вы пришли ко мне?

— Потому что он сказал, что вы хорошая и добрая монахиня.

— Он меня не знает.

— Похоже, что знает. И не ошибается. Вы действительно... хорошая и добрая. Жаль, что я не знала вашего отца... — шепчет женщина.

Мгновение Зуана не сводит с нее глаз. Позднее она так и не может вспомнить тот миг, когда приняла решение. А может, она его и не принимала. Может, это тело решило все за нее.

Преодолев разделяющее ее и женщину расстояние, ее руки ложатся поверх ладоней последней. Зуана с удовольствием отмечает, что пальцы у них испачканы одинаково.

— Господь всемогущий, позаботься о Твоих слугах здесь и помоги этому юноше поправиться, чтобы его голос вновь воздавал Тебе хвалу. — Пока она говорит, женщина выпускает из рук письмо, а Зуана прижимает его своими пальцами и держит.

— Аминь.

— Аминь.

Руки Зуаны возвращаются к ней на колени и зарываются в складки ее юбки.

— А теперь идите, — тихо говорит она посетительнице.

— Спасибо.

Женщина встает и поспешно уходит.

— О... Синьора Везалио...

Женщина оборачивается.

— Передайте мужу, пусть прикладывает мед и паутину с яичным белком к ранам на шее и лице. Так шрамы рассосутся быстрее.

Зуана не сразу уходит, но некоторое время сидит, ощупывая сквозь складки платья письмо и оглядывая комнату. Она замечает сестру Персеверанцу, которая, как всегда прямая из-за ремня, перетягивающего ее в талии, оживленно болтает с нарядной замужней дамой одних с ней лет и сходной наружности. У ее ног девочка, светлокудрый ангелок с липким от печенья ротиком, прижимаясь к коленям тетки, трогает пальчиками бусины четок, висящих у той на поясе. Сколько же ей лет? Три? Четыре? Уже видно, что хорошенькая, такую в монахини не отдадут. Но кто знает, что еще будет. Может, оспа, а может, несчастный случай или даже постепенно открывшаяся слабость ума...

Засунув письмо в рукав, Зуана выходит из комнаты, оставляя позади звуки веселья.

## Глава сороковая

В часовне она занимает свое обычное место на пустых хорах и сидит, слушая, как колотится ее сердце. Закрыв глаза, она прижимается спиной к панели и ощущает стык между ореховым зданием склада и клинышком реки из красного дерева. Сколько труда, сколько веры вложил в мозаику мастер. Немного погодя она открывает глаза и видит фрески на стенах вокруг. Поскольку жечь свечи в дневное время — безрассудство, то церковь освещается лишь солнечными лучами, которые, меняя в течение дня угол наклона, выхватывают из тени то одно, то другое изображение. Вот почему пики времен года всегда имели такое значение для Зуаны: в этот период солнечные лучи всегда выделяют две сцены, особенно хорошо видимые с ее места. С годами она хорошо их изучила. И теперь рассматривает их, чтобы успокоиться.

Первая сцена представляет Иосифа и Марию на пути в Иерусалим после рождения Младенца Христа. Мария едет на ослике, а Иосиф шагает рядом. Младенец Иисус, уже крепкий малыш, сидит, раздвинув ноги, на плечах отца и жестом узнавания протягивает ручонки к матери, Его лицо выражает детскую радость, в которой нет еще и следа грядущих тягот божественности. На другой фреске, напротив, изображен крест, на котором Ему предстоит умереть, к кресту прислонена лесенка, а по ней едва ли не упругим шагом поднимается к поперечной балке взрослый Иисус.

Когда Зуана только поступила в монастырь, тогдашняя сестра-наставница обратила ее внимание на эти две сцены и сказала, что они отображают дух, царящий в обители Санта-Катерины: наш Господь радостно приветствует сначала жизнь, а затем и смерть. Фрески уже тогда были старыми — им более двухсот лет — и считались особенными, ибо, по словам сестры-наставницы, не было другого монастыря, где Иисус был бы изображен приносящим себя в жертву в такой манере. Год спустя наставница умерла от лихорадки — это было до того, как лечить больных поручили Зуане, — но ее доброта слилась в памяти Зуаны с мощью этих образов, и с тех пор в трудные минуты она всегда приходит сюда. Вот и теперь она сидит и смотрит на

фрески, а письмо лежит у нее в руках, и скромная точка алого воска молчит, словно закрытый рот.

Значит, семья мадонны Чиары взяла на себя заботу о молодом человеке, сделала все возможное, чтобы он и впрямь исчез из жизни послушницы. Господь всемогущий! Но неужели они рассказали ей о том, что сделали? Неужели аббатиса знала, что вместо поста в Парме юношу ждала лишь черная река, где его труп истечет кровью из десятка ран? Нет. Конечно же нет. Откуда ей было знать? Разве стала бы она попустительствовать подобному? Хотя... хотя во всей рассказанной ею истории была лишь одна маленькая неувязка. Почему, рискнув столь многим ради того, чтобы быть рядом с ней, он вдруг взял и все бросил...

«Потому что таких, как он, не волнует ничего, кроме собственного удовольствия. Случись все, как он задумал, он взял бы ее, а потом бросил».

В самом ли деле аббатиса верит этому? Она, которая, прожив в обители всю жизнь, о мужчинах знает, кажется, больше, чем о Боге? Зуана видит, как аббатиса, стоя в саду, расправляет несуществующие складочки на юбке. Этот жест ей хорошо известен. Но известна ли ей сама аббатиса, женщина, для которой в жизни есть лишь три важные вещи: слава Господа, процветание обители и честь семьи? По крайней мере, до тех пор, пока одна из них не войдет в противоречие с другими...

В часовне Зуана склоняет голову и начинает молиться.

Полуденный свет движется вокруг нее. Наконец она поднимает голову, берет в руки письмо и взламывает печать.

Час посещений уже подходит к концу, когда Зуана идет через двор к келье послушницы. По правилам, девушка должна в это время молиться или заниматься. Однако она лежит на кровати и спит так крепко, что даже не просыпается от звука шагов. Полностью одетая, она лежит, свернувшись калачиком, точно младенец, одеяло покрывает ее целиком. Ее лицо бледно, не считая фиолетовых кругов под глазами. Подбородок заострился, весь юношеский жирок сошел. Она наверняка мерзнет, потому и сжалась: прежде чем воспламенить дух, недостаток пищи вытянет из тела все тепло.

Под кроватью Зуана замечает небольшой узелок. Она берет и разворачивает его. Внутри оказывается ломоть хлеба. Он свежий, наверняка это ее порция с обеда, которую она как-то припрятала внутри платья. За ее возвращение от поста к пище отвечает сестра Юмилиана, ее признанная духовная наставница. Обычно она зорко следит за малейшими нарушениями правил в обители, а тут вдруг кусок хлеба под кроватью. Значит, она знает, что послушница продолжает пост, и поощряет ее в этом. Как удобно будет для нее, если эта нежнейшая из всех спасенных нежных душ окажется проводником слова Господня. Тогда у нее будет собственная юная духовидица.

Но сколько времени нужно, чтобы полностью подчинить себе тело? И в какой момент пост обернулся радостью для Магдалены? И что происходит с теми, кому так и не удастся разжечь в своей душе огонь, с молодыми женщинами без будущего, которым в конечном итоге все равно, жить или умереть? Письмо лежит в кармане платья Зуаны. Она повыше натягивает покрывало и выходит, оставляя девушку спать.

Вернувшись в галерею, Зуана обнаруживает, что дверь аббатисы заперта. Значит, она либо молится, либо совещается с кем-то. Зуана уже заносит руку, чтобы постучать, как вдруг слышит приглушенные голоса, доносящиеся из-за двери. Медоточивые ноты голоса аббатисы она узнает сразу, да и к более низким, чуть шепелявым звукам сестры Юмилианы за последние месяцы она тоже привыкла. Зуана уже хочет повернуться и уйти, как вдруг чьи-то шаги поспешно направляются к двери. Попятившись, она оказывается нос к носу с сестрой-наставницей. Встреча столь внезапна для обеих, что проходит несколько секунд, прежде чем им удастся вернуть обычное выражение лица. Зуана прячет неловкость оттого, что ее поймали едва ли не за подслушиванием, Юмилиана гасит победный огонек в глазах.

— Чего она от нас хочет? Чтобы мы себе гвозди вгоняли в ладони?

Войдя к аббатисе, она застает ее разгневанной, как никогда.

— Если уж она так влюблена в смирение и бедность, шла бы тогда к бедным Клара́м. Правда, и они могут показаться ей недостаточно строгими! — горько усмехается она, вышагивая туда и обратно по



персидскому ковру. — Ах! Кто бы мог подумать! Младшая дочка семейства Кардолини, и такие благочестивые амбиции!

Зуана предпочла бы уйти и вернуться, когда аббатиса успокоится, но та уже втянула ее в орбиту своего гнева. По-видимому, настоятельница считает ее не только своей шпионкой, но и доверенным лицом.

— А что она сказала?

— Сказала, что Господь послал ей смелость говорить и она не хочет — и не может — больше молчать. — Мадонна Чиара встряхивает головой и продолжает: — Хотя я не припомню ни одного раза, когда бы она смолчала, с Его соизволения или без такового.

— Возможно, она чувствует, что теперь у нее больше сторонниц.

— И кто же они? Агнезина да Конкордия, ну, Обедиенца, Персеверанца, Стефана, может, еще Тереза, пара послушниц и молоденьких монахинь. Я, кстати, не замечала, чтобы Карита так радовалась лишениям прежде. Все равно, ее поддержат человек пятнадцать, самое большое двадцать. Двадцать из шестидесяти пяти монахинь хора; это не вся община. Санта-Катерина — приют многих благороднейших женщин города. Их семьи не для того давали за ними роскошное приданое, чтобы они жили как нищенки и молились сутки напролет.

Аббатиса подходит к столу, вынимает пробку из стеклянного графина и наливает два стакана вина. Зуана послушно берет свой. Она не знает, когда ей представится возможность говорить и что она скажет. Странно, но это ее нисколько не беспокоит.

— Ха! Она играет с огнем. Она понятия не имеет о том, что там происходит. Стоит епископу или кардиналу надумать, и проверки начнут являться одна за другой, без всякого предупреждения. Апостольские гости, как они себя именуют, во главе армии каменщиков и кузнецов, которые кладут стены и ставят решетки и ворота всюду, откуда еще видно небо. Я слышала, что в одном монастыре парлаторио превратили в настоящую тюрьму, так что монахини разговаривают там со своими родными через решетку, занавешенную тканью. Этого она, что ли, хочет? Да половина отцов города будут тогда ломиться к герцогу с жалобами на то, что с их дочерьми плохо обращаются.

— Значит, лучшие семьи города готовы встать на нашу защиту?

— Они попытаются, но, похоже, Рим решительно настроен возобладать даже над авторитетом семьи: финальные статуты собора в Тренте призывают выбирать аббатис каждые четыре года.

До сих пор такое практиковалось только в виде исключения, давая аббатисам, а через них семьям возможность править пожизненно. Если новое правило введут сейчас, Санта-Катерина проголосует за новую духовную наставницу.

— Ну и что же? Вас ведь все равно изберут снова.

— Что? Даже несмотря на то, что я недооцениваю число ее сторонниц?

— Я так не сказала...

— А тебе и не надо. У тебя все на лице написано.

— Я... Просто я подумала, что их может быть и не двадцать.

— Кто они?

— Имен я не знаю, — спокойно говорит Зуана, так как не ощущает себя больше ничьей шпионкой. — Это скорее предположение.

— Хмм. И насколько оно связано с девушкой?

— Что вы имеете в виду?

— Полно, Зуана, наивность тебе не к лицу. С того самого дня, когда она появилась здесь, она только и делала, что сотрясала стены. Сначала своей яростью, потом смирением, потом побегом, потом этой историей с Магдаленой и наконец показным постом и обмороком в церкви в самый неподходящий момент. Как по-твоему, она все же ест потихоньку?

— Нет, не ест. Более того, мне кажется, она доведет себя этим постом до болезни.

Аббатиса умолкает на миг, потом вздыхает.

— Ах! Сестра Юмилиана. Боюсь, я допустила серьезную ошибку, позволив им проводить столько времени вместе. Хотя тогда... — пристально смотрит она на Зуану. — Нет, мы слишком далеко зашли, чтобы позволить ей умереть у нас на руках сейчас. Пойди к ней и заставь ее снова есть.

Зуана мешкает. Момент настал. Другого такого не будет.

— По-моему, новости о возлюбленном пошли бы ей сейчас на пользу.

— Каким это образом? Они только все испортят.

— Ей сейчас кажется, что ее все покинули. А весточка от любимого могла бы уменьшить ее отчаяние.

— Судя по тому, что я слышала, говорить не о чем. У него все хорошо; распевает за милую душу в окружении целого выводка хорошеньких девиц, — пожимает плечами аббатиса.

— Мадонна Чиара, вы самая восхитительная аббатиса во всем христианском мире, — тихо говорит Зуана. — Чего вы только не знаете.

Та снова пожимает плечами, однако видно, что она польщена.

— Я знаю лишь то, что мне полагается знать ради блага общины.

— Значит, вы не боитесь, что он придет и заявит свои права на нее, когда она будет давать последние обеты?

— Нисколечко.

— И напрасно. Потому что он не умер.

Ее слова производят немедленный и изумительный эффект: аббатиса смотрит на нее во все глаза, не изменившись в лице ни на йоту.

— Умер? — Ее голос лучится светом. — Нет, конечно, с чего бы ему умереть?

— Однако несколько ножевых ранений в шею и лицо, скорее всего, воспрепятствовали бы занятию им поста в Парме. Даже если он и был ему предложен.

Зуана чувствует, что у нее пересохло горло. Она берет стакан и подносит его к губам. Ее рука тверда. Аббатиса все с тем же бесстрастным лицом смотрит на нее с другого конца комнаты. Внезапно у нее вырывается вздох, легкий, почти игривый.

— Ты, как всегда, несправедлива к себе, Зуана. Это не я, а ты достойна восхищения. Уверена, родись ты в более благородной семье, общиной правила бы сейчас ты, а не я, — замечает аббатиса.

— Я так не думаю.

— О, в этом нет ничего невозможного. — Наступает пауза. — В самом деле, если бы за тобой стояли нужные люди, это вполне могло бы случиться. Вообрази, какую грандиозную аптеку открыла бы ты тогда.

— Мне довольно и той, которая у меня есть, — отвечает Зуана спокойно.

— Полагаю, что это так.

Странно, но в комнате царит покой. «Удивительно, — думает Зуана. — Ей грозит такая опасность, а она по-прежнему уверена и спокойна. Неужели она всегда такая? И когда молится? И в исповедальне тоже? В котором же часу надо изловить отца Ромеро, чтобы он точно пропустил такое признание мимо ушей?»

— Мне кажется, пора мне спросить тебя, Зуана, откуда тебе это известно?

— У меня была посетительница.

— Я слышала. Кто она?

— Неважно.

— Нет, важно. Мои монахини не разговаривают с кем попало.

— Что это? Ваши правила стали теперь строже, чем у Юмилианы?

Аббатиса выпучивает на нее глаза, потом природная грация изменяет ей, и она тяжело оседает в кресле. Несуществующие складочки и пушинки на юбке забыты.

— Я не имела к этому никакого отношения, — наконец говорит она. — Я никогда... — Она осекается. — Это было не мое... Ну, не всегда удается удержать под контролем то, что выпускаешь на волю. Но я никогда-никогда не хотела этого.

Зуана ставит свой стакан на стол. Она не знает, верить этой женщине или нет.

— Вы позволите мне лечить послушницу?

— Если да, то что ты ей скажешь?

— Скажу, что он ее не предавал, — отвечает Зуана. — Уверена, что это поможет ей преодолеть отчаяние.

— Нет. Нет. Этого я не могу разрешить.

Не считая девушки, о которой идет сейчас речь, сидящая перед Зуаной женщина была, вероятно, ее самой близкой подругой в жизни. Ею она восхищалась, ее уважала, от ее общества получала удовольствие, ее иногда пыталась даже копировать. Но чаще всего просто ей подчинялась. Ибо таково первейшее и важнейшее правило бенедиктинской общины: подчиняться воле аббатисы во всем.

— А если она будет продолжать голодать? Что, если она уморит себя голодом?

— Тогда, чтобы не потерять половину ее приданого, нам придется устроить церемонию принесения обетов до того, как она умрет. — К

изумлению Зуаны, аббатиса смеется: — У тебя такой потрясенный вид! А ведь это те самые слова, которые ты хотела от меня услышать, разве нет? В доказательство того, что я, твоя аббатиса, пекусь лишь о деньгах, а не о душах. Ах, Зуана, неужели ты так плохо меня знаешь? И значит, так они говорят обо мне, эта маленькая армия, что стоит за спиной Юмилианы? Что о репутации я думаю больше, чем о спасении души? Так?

Зуана не отвечает. Что толку в пустых утешениях?

— Что ж, в какой-то мере они правы. Временами мои методы могут показаться жестокими. Но поверь мне в одном, если ты мне вообще еще веришь. Битва, которую мы ведем сейчас, касается не только чести общины или влияния той или иной семьи. Если Юмилиана победит, если она поднимет шум и гам, который привлечет инспекторов, хуже будет всем. После того как они лишат нас доходов, предварительно замуравав нас в четырех стенах, в том числе в нашем собственном парлаторио, запретят пьесы Сколастики и отберут инструменты у оркестра, они придут к тебе. К тебе, нашедшей в этих стенах нечаянное убежище. Им будет наплевать на твои снадобья и травы. Они разобьют все пузырьки в твоей аптеке и снимут все книги с твоих полок, а разделавшись с ними, доберутся и до других, тех, которые ты прячешь в сундуке. Именно этого я со своей «жестокостью» и пытаюсь избежать. Именно это поставлено сейчас на карту.

Зуана чувствует, как ее сердце начинает сильнее биться о ребра. Так далеко вперед она не заглядывает. Но нет, она не хочет жить без своих снадобий и книг в монастыре, которым правит Юмилиана. И все же, до каких пор можно грешить против Господа, чтобы продолжать служить Ему? Она, которой под силу разрешать самые трудные задачи тела, теряется перед лицом такой сложной проблемы.

— Я все еще настоятельница этого монастыря, Зуана. И пока на мое место не пришла другая, ты обязана повиноваться мне, иначе я тебя накажу. Как я только что поступила с Юмилианой. Чего она, собственно, от меня и добивалась, — вздыхает аббатиса. — Только представь: соперница аббатисы и ее любимица вместе лежат на пороге трапезной, а другие переступают через них. Вот это будет для нее подарок.

Но и этот последний призыв к бывшей наперснице немного запоздал.

— Если вы позволите, мадонна аббатиса, мне нужно вернуться в аптеку.

Зуана встает и идет к выходу. Аббатиса наблюдает за ней.

— Зуана, — говорит она, когда та достигает двери, — она всего лишь молодая женщина, которая не собиралась становиться монахиней. На свете таких полно.

## Глава сорок первая

На ужин сестра Юмилиана получает одни объедки, щедро присыпанные полынью. Монахини и послушницы нервно наблюдают за тем, как она несет полную тарелку к столу. Усевшись, она съедает все до крошки, жуя с таким аппетитом, словно это не полынь, а мед, и едва заметно улыбаясь. Хотя правила запрещают во время еды смотреть куда-либо, кроме своей тарелки, присутствующие не могут оторвать от нее глаз. Серафине даже не приходится особенно изворачиваться, припрятывая еду незаметно для других, все равно на нее никто не смотрит. Кроме Зуаны.

Еда и чтение, на которое никто не обращает сегодня внимания, хотя чтицей специально назначили Сколастику за ее сильный голос, подходят к концу, и сестра-наставница встает и преклоняет колени перед аббатисой, а потом идет и занимает свое место на пороге. У нее не сразу получается лечь. Хотя на колени становиться она мастерица, растянуться на полу во весь рост оказывается сложнее. Но ведь она уже не молоденькая, а в таком возрасте, когда кости ломаются легко, а срастаются трудно.

Первой выходит из комнаты аббатиса, грациозная, как всегда, она ставит одну ногу на платье Юмилианы, старательно избегая тела. За ней идут остальные монахини и послушницы, и все как одна перешагивают через лежащую на пороге старую монахиню, а не наступают на нее, хотя из уважения или из страха, трудно сказать. Как бы там ни было, но в анналы монастырского мученичества это наказание не попадет, слишком безболезненно все проходит. Теперь, когда размежевание совершилось, все, кажется, с волнением ждут, что будет дальше.

Когда наступает ночь, монастырь еще долго не может успокоиться. В своей келье Зуана переворачивает песочные часы и наблюдает за падающими песчинками. Сколько раз сидела она так, пытаясь очиститься от дневных забот и подготовиться к молитве перед сном? Она всегда завидовала тем сестрам, которые живут легко, без остатка отдавая себя тишине и покою божественной любви. Сегодня такое спокойствие нужно ей как никогда, ибо разве может она решиться на следующий шаг в своей жизни без Его руководства?

Ее первая духовная наставница, та, что показала ей фрески в часовне, с самого начала предупреждала ее об опасностях опьянения собственным трудом. «Знания приносят тебе большое утешение, Зуана. Но знание само по себе несущественно. Наш основатель, великий святой Бенедикт, хорошо это понимал: „Не позволяй сердцу своему раздуваться от гордости. Всякий, кто возносится, будет унижен, а всякий униженный будет вознесен“».

И она пыталась: честно и старательно пыталась, но иногда это стоило ей таких усилий, что, несмотря на монашескую доброту и терпение, ей казалось, будто она вот-вот сойдет с ума. Со временем она смирилась со своей частичной неудачей. Зачем прикидываться? Он и так все знает. «Господь видит человека с небес всегда, и ангелы докладывают Ему ежечасно».

Насколько же легче ей стало, когда старая сестра-наставница умерла и она оказалась в компании ее помощницы, сестры Чиары. Той самой Чиары, с гладкой кожей и танцующими глазами и светлым и уверенным отношением к Богу и к миру вокруг. Той самой Чиары, которая умела сочетать жизнь разума с жизнью духа, не боясь вызвать Его недовольство, и чье влияние в монастыре уже тогда было значительно не по годам; тем из ее ровесниц, кому не повезло иметь столько тетушек, кузин и племянниц, покровительствующих подъему по монастырской лестнице, было до нее далеко.

Зато она щедро делилась своей властью. Если бы сестра Чиара не вступилась за нее тогда, Зуана так и сидела бы в скрипториуме, украшая слово Господне листочками календулы и метелочками фенхеля. Именно она помогла Зуане попасть на работу в аптеку, она же организовала и провела ее выборы на должность сестры-травницы и наконец, став аббатисой, позволила ей взять на себя и ответственность за лазарет, «ибо в правилах святого Бенедикта сказано, что аббатиса должна прежде всего заботиться о том, чтобы больные не терпели небрежения». Без мадонны Чиары она не лечила бы болячки епископа, и монастырь не получал бы от него особых подарков. Без мадонны Чиары не было бы ее лаборатории, не вырос бы ее аптекарский огород, незачем было бы разбивать пузырьки со снадобьями и сжигать тетради с рецептами, ибо их тоже не было бы. Без мадонны Чиары...

Зуана поднимает голову и видит на столе две книги. В сундуке лежат другие, о которых она так трогательно заботилась все годы.



Неужели она и впрямь хочет стать орудием их уничтожения? Ради чего? Чтобы уменьшить страдания и голод одной непокорной послушницы? «Она всего лишь молодая женщина, которая не собиралась становиться монахиней. На свете таких полно».

По правде говоря, Зуана и сама не понимает, почему эта девушка стала так важна для нее. Временами она даже спрашивает себя: уж не разновидность ли это маточной болезни? У других она нередко такое видела; бывает, что монахини постарше выделяют среди послушниц, или готовящихся к вступлению в монастырь, или пансионеров тех, кто по возрасту годились бы им в дочери. И заботятся, и трясутся над ними, ибо, хотя все знают, что любимчиков заводить нельзя, пресечь это невозможно.

Однако с ней все было иначе. С детства, проведенного без братьев и сестер, она привыкла к одиночеству и самодостаточности. И все же, все же... Эта молодая женщина со своей яростью и чувством совершенной по отношению к ней несправедливости как-то просочилась в ее жизнь. То, что она ей нравится, отрицать нельзя. Даже несмотря на ее характер и язвительность. А может, именно благодаря им. Вне всякого сомнения, она в какой-то степени видит в ней себя; узнает в ней свою любознательность и решимость. Верно также и то, что, доведись ей выйти замуж и родить дочь, эта дочь была бы сейчас как раз одного возраста с Серафиной. Что бы она тогда к ней чувствовала? Это болезненный вопрос. Хотя для нее Санта-Катерина стала хорошим домом, пожелала бы она такой жизни своему ребенку? А если нет, значит ли это, что она хочет рискнуть благополучием всей общины ради того, чтобы помочь Серафине?

Аббатиса права. Их полно на свете: слишком молодых, слишком старых, слишком больных, слишком страшных, слишком вредных, слишком глупых, слишком умных дочерей. Ненужных. Изгнанных. Погребенных заживо. Такова традиция. Такова жизнь. Разве может она что-нибудь изменить? Да и что там, снаружи, хорошего? Свобода? В чем она состоит? В том, чтобы выйти замуж за того, кого тебе укажут, и ни за кого другого? Ну, осталась бы Серафина за стенами монастыря, все равно ее поющего композитора нашли бы на берегу реки полумертвым, только убийц наняла бы семья ее отца, а не аббатисы. Любовь — неходовой товар; берешь, что дают, даже если муж будет разукрашивать тебя синяками и плодить бастардов с обладательницей

более привлекательного лона. Уж так заведено. И какой смысл бунтовать против этого? И для чего, во имя Господа, выделять одну испорченную девчонку из сонма других?

Кучка песка лежит на дне стеклянных часов. Она смотрит на них, потом переворачивает их снова.

*Могуч глас Господа. Буду хвалить Господа всем сердцем.*

Она закрывает глаза и пытается не думать.

*Полон величия глас Господа.*

Эти слова она знает наизусть, не хуже какого-нибудь рецепта.

*Ибо милосердие Его вечно, и правда Его пребудет во все века...*

Она молится до тех пор, пока слова молитвы не теряют смысл, а когда песок останавливается во второй — или уже в третий? — раз, она встает и идет в аптеку. Там она берет бутылочку коньяка, выходит на галерею, откуда колодец в центре двора выглядит серым барельефом при свете половинки луны, как тогда, месяцы назад, когда она шла к вопившей от ярости новопривывшей в первый раз.

Спроси она себя сейчас, зачем она это делает, то вряд ли, даже после стольких размышлений и молитв, она смогла бы дать ответ на этот вопрос. Правда в том, что никакого божественного откровения ей не было. Никакого снисхождения благодати, ничего такого, чем она могла бы прикрыть свой акт непослушания на исповеди. Есть слова, к которым она могла бы обратиться. Слова, в которые она верит. Сострадание. Забота. Потребность облегчать страдания, приносить утешение. Но это лексикон врача, а не монахини.

Она это знает, но это ее не останавливает. Скорее, напротив, гонит вперед.

Снаружи, у двери, принесенной с собой тростниковой свечой Зуана зажигает другую, спрятанную у нее в платье. Внутри комнаты ее света хватает, чтобы показать ей пустую кровать. Сначала она пугается, вспоминая случай, когда Серафина потерялась в последний раз, но тут же замечает ее. Девушка сидит на полу, спиной к стене, на том же самом месте, где Зуана нашла ее впервые. Только теперь бунт, ярость и крики в прошлом, осталась лишь худенькая фигурка в широченном платье, которая сидит, обхватив руками колени, и, склонив на них голову, тихонько покачивается.

Зуана садится на корточки рядом с ней. Если девушка знает о ее присутствии, то никак этого не показывает. Самим приходом в эту

комнату Зуана уже подтвердила свой грех неповиновения. Теперь она должна усугубить его нарушением Великого Молчания.

— Бенедиктус, — произносит она шепотом, хотя знает, что никакого отпущения в виде ответа не последует. Слова «Део грациас» останутся несказанными. Что ж, так тому и быть.

Она ближе придвигает свечу.

— Ты спишь, когда надо бодрствовать, и бодрствуешь, когда надо спать.

Съезжившаяся фигурка молчит, по-прежнему не показывая, заметила она ее или нет.

— Давай-ка положим тебя в постель.

— Я молюсь, — наконец отвечает Серафина тусклым безжизненным голосом.

— Ты же не на коленях.

— При должном смирении Он услышит тебя в любом положении.

— Что ты сегодня ела? — Узелок с хлебом под кроватью нетронут. — Серафина, погляди на меня. Что ты ела?

Девушка ненадолго поднимает голову: вблизи видно, что все округлости ее лица сменились острыми углами, глаза на дне глубоких глазниц стали совсем черными, лежащие на коленях запястья сделались хрупкими, точно лучина для растопки. Сколько плоти осталось внутри этого мешка одежды? Когда кожа начнет покрываться лиловыми синяками от нехватки мяса под ней? Зуана чувствует, как страх холодной рукой стискивает ей горло. Неужели Юмилиана и впрямь не видит, какой вред несут ее поиски Бога?

— Оставь меня одну, — тускло произносит Серафина.

— Нет, не оставлю. Твоя епитимья окончена. Ты больна. Тебе надо есть.

— Я еще пошусь.

— Нет. Ты моришь себя голодом.

— Ха! Что ты об этом знаешь?

— Я знаю, что без еды человек умирает.

— Ты не знаешь, на что это похоже. Откуда тебе знать? Ты ведь никогда Его не видела, — трясет головой девушка.

— Да, ты права. Я Его не видела.

— Ну вот, а я видела! Я видела Его. — Тут впервые с начала их разговора в ней вспыхивает какая-то искра. Она вскидывает голову. —

И опять увижу. — И тут же, как будто последнее движение истощило ее силы, снова опирается на стену. — Сестра Юмилиана говорит, что Он придет, если я очищу себя.

— А как же мы, все? Для нас в твоём стремлении к чистоте нет места? И как же твой голос, созданный для того, чтобы восхвалять Господа? Сестра Бенедикта ждет тебя каждый день. И твоя работа в госпитале. Мне... Нам, больным, нужна твоя помощь.

— Чистым голосам не нужны слушатели, — яростно трясет головой Серафина. — А ты печешься только о телах, не о душах.

— С кем я говорю сейчас? С Серафиной или с Юмилианой? — Зуана сама удивляется тому, как гневно звучит ее голос.

— В хорошем монастыре не будет нужды в снадобьях. Ибо сам Бог позаботится о нас там, — пожимает плечами девушка.

— А! Вот, значит, как ты хочешь жить. Или, точнее, умереть.

— А-а-ах! Оставь меня. — Она поднимает руки к голове, чтобы отгородиться от словесных атак Зуаны.

— Нет, не оставлю. Где ты, Серафина? Куда делась вся твоя ярость и неповиновение?

— Я говорила тебе, — отвечает она тем же глухим и безжизненным голосом. — Я ничего не чувствую.

— А я не верю, что это правда. Думаю, ты нарочно стараешься ничего не чувствовать, потому что чувства ранят слишком больно. Думаю, поэтому ты и есть перестала. Но это не поможет.

Но девушка уже не слушает. Она сидит, тихо покачиваясь, положив голову на руки, и тупо смотрит в темноту. Немного погодя она медленно поднимается, едва ли не пошатываясь, точно новорожденный жеребенок, впервые встающий на ноги. Она проходит мимо Зуаны так, словно той здесь нет, подходит к кровати, ложится лицом к стене, сворачивается и натягивает на себя одеяло.

В комнате тишина. Снаружи спит монастырь. И город за его стенами тоже.

— Никто не может жить без пропитания, Серафина.

Она не отвечает, ни один мускул в ней не шевелится. И все же она не спит. Зуана в этом уверена.

— Вот я и принесла его тебе.

Из складок платья она достает и разворачивает письмо.

## Глава сорок вторая

Дражайшая моя Изабетта!

Если это письмо попадет в твои руки и ты не захочешь его читать, я пойму. И все же, пожалуйста, во имя того, что между нами было, продолжай.

Его почерк плотен и извилист, он точно изливает сердце в каждом движении пера, так что в неверном свете свечи слова пляшут и прыгают по странице. Зуана читает тихо, чтобы слова не проникли сквозь стены в соседнюю келью. Иногда она спотыкается на той или иной фразе и начинает снова. Но это не имеет значения. Ничего уже не имеет значения после того, как прозвучали первые слова...

Если ты выходила из запертых дверей на пристань в ту ночь, то знаешь, что меня там не было. Я, тот, кто под страхом смерти устроил твой побег, бросил тебя в последнюю минуту. Однако ты не знаешь того, что только смерть — или чрезвычайная близость к ней — удержала меня вдали от тебя в ту минуту. Несколькими ночами ранее нашего предполагаемого побега бывшие друзья напали на меня с кинжалами и, сочтя мертвым, бросили на берегу. С тех пор я не один раз жалел, что и впрямь не умер тогда. Но Господь со мной, и Он хранит меня.

Я пишу тебе из дома добрых людей, которые нашли меня, приютили и заботились обо мне. Однажды ты говорила, что боишься, как бы твое заточение не было наказанием Господним за нашу любовь. В худшие минуты я задумывался над тем, не было ли оно наказанием и для меня тоже. Я знал, что если выживу, то никогда не увижу тебя снова. Но вот, когда миг настал и я должен ехать, я не могу покинуть тебя, не поговорив с тобой в последний

раз. Не сказав тебе, что я не предал тебя и никогда этого не сделаю...

Зуана останавливается. Чтение любовных писем — новое для нее искусство. В том возрасте, когда другие девушки вздыхают над сонетами и придворными мадригалами, она выращивала рассаду и учила наизусть названия органов тела. И не жалеет об этом, ибо разве можно оплакивать то, чего никогда не имела? И все же, все же... как убедительно и честно пишет этот молодой мужчина. Аббатиса наверняка сказала бы, что это все ложь, родившаяся из похоти, как мухи рождаются из навозной кучи. Но откуда ей знать? Зуана возвращается к письму.

Я в отчаянной нужде. У меня нет денег (все, что я имел и что мне удалось собрать для нашей жизни с тобой, было у меня при себе той ночью), я искалечен так, что опасаясь, мне не получить уже изысканной работы. Но все же я попытаюсь. Я уезжаю из Феррары на юг, в Неаполь, где, как я слышал, музыкальная культура процветает и где я, может быть, найду того, кто согласится держать глаза закрытыми, когда я буду петь.

О нашей связи я не скажу ни одной душе. Однажды ты сказала, что мужчины легко говорят о таких вещах. Ты всегда была мудрее своих лет. Но и ты не все знаешь. Я никогда не полюблю другую и не женюсь. Такое обещание я дал Господу, если Ему угодно будет сохранить мне жизнь, и с радостью его исполню. Каждую ночь, прежде чем заснуть, я слышу твой голос, его красота похищает у тишины ее сладость, его я слышу при пробуждении. Больше я ничего не прошу.

Надеюсь, что сестра, о которой ты говорила и от чьей доброй воли передать это письмо я теперь завишу, поможет тебе найти возможность жить. Прости мне всю ту боль, которую я тебе причинил. Молись за меня, дражайшая моя Изабетта.

*Остаюсь навеки твоим  
Джакопо.*

Тишина в келье растет. Девушка неподвижно лежит лицом к стене. Где-то внутри ее, однако, происходит движение. Словно она медленно всплывает с морского дна к поверхности, извлеченная из темноты обещанием надводного мира...

Прорывая поверхность, она видит юношу, шагающего к ней сквозь солнечный туман, у него длинные темные волосы и широкое, открытое лицо.

— Он меня не бросил, — произносит она так тихо, что Зуана едва различает ее слова.

— Нет. Не бросил.

— Он любил меня.

— И похоже, еще любит...

Тут она наконец поворачивается. Зуана протягивает ей письмо, и из-под одеяла появляется рука: бледные ногти, тонкое, как лучина, запястье. Она берет письмо, потом роняет его на постель, как будто оно слишком тяжело для нее.

Зуана достает из-под своего платья бутылек и вынимает из него пробку. Резкий запах коньяка растекается в воздухе. Плеснув немного на деревянную тарелку, она вынимает из-под кровати припрятанный ломоть хлеба и обмакивает в жидкость крохотный кусочек, чтобы сделать его помягче.

— Ну? Будешь теперь есть?

Девушка смотрит на нее нахмурившись, словно ей трудно сфокусировать взгляд.

Рука Зуаны протягивает ей мокрый хлеб.

— Я... я не могу... — шепчет Серафина. — Не могу...

— Что? Неужели голос Юмилианы стал громче, чем его?

Его... Он. Но кто — он? Сама мысль об этом, похоже, заставляет ее колебаться.

— Говорю же тебе, не могу. Оставь меня. — И ее голос вдруг твердеет, наливается ядом и злостью.

Зуана не шевелится. Она уже видела это однажды, много лет назад, в одной печальной и безумной молодой монахини, едва не уморившей себя голодом: в ней на определенной стадии пустота в

желудке тоже превратилась в самостоятельную силу, которая, словно водоворот, затягивала и разрушала все и вся, что только осмеливалось бросить ей вызов. Если бы не стремление к чистоте, которым это голодание вызвано, можно было бы подумать, что сам дьявол приложил к нему руку, так отзывается его злорадством этот акт самоистребления.

— Изабетта. Изабетта...

Зуана зовет ее этим именем, ее настоящим именем, дважды. Потом повторяет еще раз. Как всякий, кто когда-либо изучал медицину, она знает, что временами слово может становиться талисманом и обретать целительную силу.

— Изабетта, слушай меня. Я, может, не из тех монахинь, кому бывают видения, но это я знаю хорошо. Господь есть не только в смерти, но и в жизни. И без истинного призвания никаким постом его не достичь.

Девушка снова трясет головой.

— Сестра Юмилиана говорит...

— Сестре Юмилиане нельзя доверять. Она ищет удобного случая, чтобы захватить власть в монастыре, подорвав авторитет аббатисы, и твое голодное благочестие ей как раз на руку. Если бы ты больше ела и лучше соображала, то первая бы это увидела.

Какая самонадеянность. И какой апломб! Произнося эти слова, Зуана ловит себя на том, что говорит совсем как аббатиса. Только, вспоминая, как старая наставница сгребала в охапку упавшую под крестом в обморок девушку или ее торжествующее лицо, когда они встретились в дверях покоев мадонны Чиары, Зуана знает, что не ошибается. Аббатиса была права. Мир полон молодых женщин, которые не хотят становиться монахинями. Но она и ошибалась. Потому что эта молодая женщина уже не просто одна из них. В шахматной игре церковной и монастырской политики она, сама того не подозревая, из простой пешки превратилась в особенную, такую, которую можно использовать против любого врага, а можно и принести в жертву.

И дело не только в ней. Ведь нравится ей это или нет, но, принеся девушке письмо, Зуана сама стала одним из игроков. И теперь ее очередь делать ход.



— А тем временем — ты слышишь меня, Изабетта? — тем временем за стенами монастыря тебя ждет человек, которому ты совсем не безразлична. Человек, который многим рискнул для того, чтобы это письмо попало тебе в руки, и который, уж конечно, заслуживает ответа.

Девушка смотрит на нее, потом встряхивает головой, точно хочет избавиться от тумана, царящего внутри.

— Что ты хочешь сказать, какого ответа? О чем ты говоришь? Все кончено. Я в тюрьме, а он при смерти. — И тут у нее вырывается низкий стон, так как слова пробуждают память, а память — отчаяние.

— Тссс. Тссс... Перебудишь весь монастырь. Да, ты в тюрьме. Но по своей вине, отчасти. А его раны, судя по тому, что я слышала, серьезны, но не смертельны и не дадут ему уехать в Неаполь, по крайней мере пока. Может, тебе стоит еще раз взглянуть на этот листок. Вот сюда, в нижний угол, у самого края. Кто-то приписал здесь адрес.

Она сама заметила его не сразу, а только когда читала письмо во второй раз. Буковки были мелкие, и почерк другой. Жена аптекаря наверняка обучена грамоте, хотя бы ради того, чтобы делать надписи на бутылках.

Девушка садится в постели и подносит листок к свече. Она находит адрес, потом ее глаза возвращаются к письму. Пальцами она пробегает по строчкам, затем подносит бумагу к лицу и нюхает, точно хочет ощутить его запах.

Разве почерк мужчины передает его запах? Это один из тех вопросов, ответа на который Зуана не узнает никогда. Она снова протягивает руку с моченым хлебом.

Теперь девушка берет его и медленно подносит к губам. К губам, но не далее. Порткулис ее зубов остается крепко сжатым. В воздухе зреет конфликт: слова извне состязаются с волей внутри. Как этой изголодавшейся женщине понять, за кем из них правда?

— Ешь, Изабетта. Другого пути нет.

Ее зубы разжимаются, и она начинает жевать, медленно, упрямо, струйка слюны стекает из ее рта.

— Хорошо. Хорошо.

Она проглатывает, потом откусывает еще.

— Ну, вот и молодец. Отлично справляешься.

И тут приходят слезы, они текут по щекам так, словно процесс еды — самая печальная вещь в мире.

— Не так быстро. На-ка, глотни немного. Очень питательный напиток. — Зуана дает ей пузырек. — Только для начала чуть-чуть... Так. Теперь отдохни немного.

Девушка бессильно опирается о стену, слезы текут из-под закрытых век. Две женщины молча сидят в ночи, клубком свернувшейся вокруг них.

Зуана кладет в руки Серафины еще один крохотный намоченный кусочек.

— Мне плохо, — говорит та. — Плохо...

— Это потому, что твое тело забыло, для чего нужна еда. Не спеши, жуй как следует. Прожевывай каждый кусок.

Но она уже не может жевать, ибо плачет навзрыд, рыдания душат ее, словно ее сердце разрывается снова. Оказывается, в иссушенном голодом теле слез больше, чем в обычном.

— Я боюсь, боюсь, — шепчет она, сминая пальцами хлеб.

— Тебе нечего бояться.

— Нет, есть. Сестра Юмилиана меня проклянет, аббатиса будет меня ненавидеть, и я все равно умру здесь, а он останется там.

Зуана смотрит на нее. Что она может сказать? Солгать нельзя, ибо девушка права: таково ее будущее. Будущее женщины, которая не хотела становиться монахиней. Думая об этом позже, она не сможет вспомнить, какое приняла решение. Все, что она помнит, — это желание вернуть умирающего к жизни.

Уж наверное, Бог не проклянет ее за это.

— Ешь хлеб, а я пока прочитаю тебе письмо еще раз, Изабетта. Мне кажется, ты пропустила заключенное в нем предложение руки и сердца.

Девушка таращится на нее.

— Что? О чем ты?

— Знаешь, я мало смыслю в таких вещах, но, по-моему, если мужчина дает обет никогда никого не любить и не жениться на другой женщине, то, наверное, он точно знает, с кем именно хочет прожить жизнь. А разве ты этого не хочешь?

— Господь всемогущий, что ты говоришь? Ты сошла с ума.

— Ну, если я сумасшедшая, то ты должна поправиться и вылечить меня.

И она дает ей новый кусок вымоченного в вине хлеба.

# ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ



## Глава сорок третья

Зуана едва успевает добраться до своей кельи, как ударяет колокол к заутрене.

Они с Серафиной занимают в часовне каждая свое место, не обменявшись ни взглядом, ни знаком. Но, даже не поднимая глаз от пола, Зуана чувствует, как на нее смотрит аббатиса. Смотрит на них обеих. Знает ли она уже о ее визите к послушнице? Ну, если и не знает, так скоро узнает, ибо ночная сестра предана ей и вовсе не глупа и не глуха, как хотелось бы думать некоторым.

Вернувшись в келью, Зуана некоторое время стоит в темноте на коленях, потом ложится на свой тюфяк. Молитвами от всего не поможешь. Теперь ей нужно совсем другое вмешательство.

— Дорогой отец, наша община больна, — шепчет она. — У нее злокачественная опухоль. Нам нужно освободить одну молодую женщину, но так, чтобы монастырь уцелел, а не рухнул с ее уходом. Какое тут можно применить средство?

В последовавшем за этим молчании — она уже не ждет, что он ответит, а там, где раньше было его присутствие, стоит тишина — у нее постепенно начинает складываться план. Сложная природа болезни требует сочетания разных средств: множество «простых» ингредиентов предстоит соединить друг с другом не только в нужной пропорции, но и в нужное время. Несмотря на усталость, она чувствует, как внутри ее нарастает энергия, почти возбуждение. Закрыв наконец глаза, Зуана погружается в глубокий и спокойный сон.

Утром она принимается за первый ингредиент. Он прост и в то же время сложен: надо сделать так, чтобы молодой человек из дома аптекаря у западных ворот остался в городе. Даже если бы девушке достало сил и ума написать ему сейчас, ни один монастырский цензор не принял бы письма от послушницы без одобрения аббатисы. А вот Зуана, как монахиня хора, проведенная в монастыре много лет, может писать, кому захочет и когда захочет, при условии, что ее корреспонденция не будет содержать в себе ничего неподобающего. Поэтому утром в час личной молитвы она берет лист бумаги и пишет письмо, заранее составленное в уме.

Дорогая сестра по делу исцеления больных!

Пишу Вам в продолжение нашего разговора о благосостоянии Вашего пациента, получившего серьезные ранения в лицо и шею. Изучив свои записи, я полагаю, что если лютик и тысячелистник помогут тканям срастись, то смесь меда с паутиной и яичным белком уменьшат шрамы. Однако важнее всего, чтобы пациент не покидал сейчас Вашего дома и оставался под Вашим присмотром. В особенности ему следует воздерживаться от дальних путешествий, так как до окончания лечения напряжение мышц торса может привести к новому открытию ран. Что касается сильных болей в грудной клетке, в непосредственной близости от сердца, то я надеюсь в скором времени отыскать от них средство и при первой возможности направить его к Вам.

Пребываю Ваша во славе Господа и чистоте общины Санта-Катерины.

Сестру Матильду она находит в маленькой комнатке за привратницей.

Должность монастырского цензора непроста и требует от исполняющей ее монахини не только опыта и знания жизни (допущенные иметь дело с миром за воротами не должны быть моложе сорока лет), но и отличного зрения, а эти качества не всегда совмещаются в одной персоне. Не принадлежа к семейству мадонны Чиары непосредственно, Матильда до последнего времени служила ей верой и правдой; однако недавнее собрание показало, что ее лояльность имеет пределы.

К счастью, ее отношения с Зуаной держатся на здоровой основе. В молодости Матильда страдала от хронического зуда и жжения при мочеиспускании. Она не сразу нашла в себе силы сознаться в столь интимном недомогании (и не она одна — немало сестер сходят от этого с ума в разгар жаркого и влажного феррарского лета), но данная Зуаной доза вакциниевского сока принесла ей облегчение, и с тех пор она испытывает симпатию к сестре-травнице.

— Нечасто вы обращаетесь к внешнему миру, сестра Зуана.

— Да. Но у меня недавно была посетительница.

— О да, я знаю. Дочка кого-то из учеников вашего отца, так?

Зуана улыбается. Разве могла такая оказия пройти незамеченной?

— Теперь она жена аптекаря и приходила спросить совета насчет лечения мужа. Дело срочное, так что я должна послать ей ответ как можно скорее.

Заранее подготовленная к тому, что ей предстоит пропустить, сестра открывает письмо и начинает его читать, держа на вытянутой руке. Зуана уже заметила, как в часовне она щурит глаза, следя за текстом службы по требнику.

— Паутина с медом, значит? — Сестра Матильда, явно довольная тем, что справилась с мелким шрифтом, складывает письмо и ставит на нем свою печать. — Когда я была девочкой, моя нонна говорила, что шелковинка паука — нитка жизни. Она заставляла прислугу собирать паутину в подвале. У меня от нее всегда мурашки бежали.

— Значит, она была целительницей, ваша бабушка?

— Этого я не знаю. По мне, она была сущей ведьмой, — отвечает сестра Матильда. — Хотя сейчас я думаю, что она была права в своей строгости. Жить надо по строгим правилам, вы согласны?

— О, разумеется, — улыбается Зуана, вынимая из складок платья маленький пузырек и ставя его рядом с монахиной на стол. — Вы бескорыстно жертвуете своим зрением для общины. Несколько капель гамамелиса помогут сохранить его остроту на благо всем нам.

Сестра недолго колеблется — правила есть правила, в конце концов, — потом сжимает флакон в руке.

— Вы очень добры. Раз вы говорите, что письмо срочное, я пригляжу за тем, чтобы оно ушло сегодня в полдень.

Хотя первый день проходит хорошо, ночь, как и все последующие, оказывается не столь гладкой. После вечерней молитвы, когда вся община погружается в сон, Зуана снова направляется в келью девушки, неся еду, утаенную с собственной тарелки, и кое-какие припасы, которые удалось выторговать на кухне. Придется сидеть с ней, пока она не съест все до крошки. Еда. Такое естественное дело, если не превращать его в испытание. Однако долговременный отказ от пищи затрагивает не только тело, но и дух.

— Не могу больше. Я наелась.

— Ты почти ничего не съела.

— Да что ты говоришь? — огрызается она. — У меня пузо, как у фаршированного гуся.

— Тебе так кажется потому, что твой желудок уменьшился. Надо все доесть.

— Потом.

— Нет, сейчас.

— А-а-ахх!

Зуане трудно, но девушке еще труднее. Каждую ночь перед ней выкладывают целую гору остывшей еды — жирная, осклизлая, она походит на блевотину дьявола. Стоит ей взять ложку в руки, как ее горло сводит судорогой, желудок содрогается и все тело восстает при виде пищи. Каждый кусок отвратителен на вкус, словно сырое мясо или отравя. Она с трудом сдерживается, чтобы не выплюнуть все.

— Ешь, Изабетта.

— Не ешь, Серафина.

Бывают ночи, когда ей кажется, что она сходит с ума, когда голос Юмилианы звучит у нее в ушах, как ее собственный, и заглушает слова Зуаны; бывает даже, что мысль о Джакопо не может заставить ее разомкнуть губы. Если бы не Зуана, она бросила бы все, едва начав. Но, сойдясь в этой схватке, как два борца, они вместе качаются от надежды к отчаянию. Слезы перемежаются взрывами протеста, яростным рычанием или категорическими отказами. Поразительно, как долго длится ее сопротивление: оно, словно обороняющаяся змея, шипит и плюется и не хочет, не хочет сдаваться на полпути к раю — или к аду.

И все же со временем скрывающееся за голодом истощение делает ее послушной, точнее, вызывает безмолвную покорность, сильно разбавленную водой.

«Дражайшая Изабетта, я тебя не предавал и никогда не предаю по своей воле».

Читая ей отрывки из письма, Зуана уговаривает ее открыть рот.

«Дражайшая Изабетта...»

Когда в последний раз кто-нибудь называл ее так? Изабетта. Собственное имя стало для нее чужим. Кто та молодая женщина,



которая откликнулась на него когда-то? Кто тот мужчина, который ее любил?

«Каждую ночь, прежде чем заснуть, я слышу твой голос, его красота похищает у тишины ее сладость, и это первое, что я вспоминаю при пробуждении. Больше я ничего не прошу».

Она слушает внимательно, точно ребенок любимую некогда сказку. И иногда она почти вспоминает, почти возвращается памятью в те дни; лицо, прикосновение, звук голоса. Только где и когда все это меж ними было?

«Я никогда не полюблю другую и не женюсь. Такой обет я дал Богу, если Ему будет угодно сохранить мне жизнь, и с радостью его сдержу... Молись за меня, моя дорогая Изабетта».

Но будет ли она когда-нибудь Изабеттой снова? Время спустя она устает задавать себе эти вопросы. Чтобы представить будущее, она должна отказаться от утешения ничего не чувствовать в настоящем. Похоже, не только исхудало ее тело, но и сжался весь мир вокруг нее.

Потом, когда пытка едой заканчивается, ей дают, и она принимает — теперь уже без протестов — стакан коньяка для ускорения пищеварения. Однако он почти не облегчает трения, которое начинается внутри ее тела. Несколько дней спустя ее кишки заявляют собственный протест, и она чувствует дурноту и боли, от которых ей временами хочется согнуться пополам, так что она едва сдерживается. Если раньше она сворачивалась калачиком от холода, то теперь лежит, чтобы успокоить свой ноющий живот.

Между тем не только физическое кормление представляет собой трудность, но и обман, который отныне должен сопровождать этот процесс. За стенами своей кельи, как бы плохо или тяжело ей ни было, Серафина должна быть умной. И ловкой. Каждый раз в трапезной все должны видеть, как она ест, и в то же время делать это нужно так, чтобы Юмилиана понимала: ни один кусок не попадает ей в рот, все исчезает в складках платья, не нарушая продолжительного поста. А Юмилиана, как всегда, орлиным взором следит за каждым движением своей любимицы.

Как только пища возвращает ей силы, начинается запор, ее живот наполняется камнями, которые растут и твердеют день ото дня. Впечатление такое, словно все ее тело раздувается от ядов. Она вспоминает епископа, который пачкал кровью белье и изливал дурное

настроение всюду, где бы ни появлялся. «Неужели и со мной будет то же самое? — думает она. — Неужели голод превратит мое тело в развалину»? Она разглядывает себя. Кожа под ее сорочкой посерела, вены просвечивают сквозь нее, точно узловатые стволы. Отвратительно. Она отвратительна. Разве может мужчина ее полюбить?

Зуана твердит ей, что со временем тело вернется к нормальному приему пищи, что все пройдет, ей станет легче. А если нет? Что, если она будет раздуваться до тех пор, пока не лопнет или не взорвется? Теперь Зуана добавляет в коньяк сенну: эта великая целительница жизни чистит печень, помогает сердцу и селезенке, а в таких дозах способна расшевелить кишки даже у лошади. Но только не у изголодавшейся послушницы, похоже.

На шестое утро во время службы у нее все давит и болит так, что она едва не падает в обморок. Евгения, которая, как обычно, в часовне находится рядом с ней, поддерживает ее до тех пор, пока ей не становится лучше. Она выпрямляется, вся мокрая от пота, и видит лица монахинь и послушниц, которые глазят на нее с противоположной стороны хоров. Похоже, они разочарованы тем, что ей удалось удержаться на ногах. Совершенно ясно, что вся община следит за каждым ее шагом. Оно и понятно, нелегко наблюдать, как человек изнуряет себя постом в поисках пути к Богу.

Зато сестра Юмилиана несколько не расстроена. Напротив, она в восторге. Ей, которая логику голодания знает как свои пять пальцев, понятно, что временами боль трудно отличить от начала трансценденции. Да и вообще, еще не время. В часовне пусто, фигура Христа еще в руках рабочих. Если — нет, когда — эта юная душа будет призвана, Он будет со своего места наблюдать за ней.

Ведь у Юмилианы тоже есть свой план; собственная мечта о благополучии, которая греет и питает ее в темноте. В свое время через ее руки прошло немало послушниц, и некоторые из них, к примеру Персеверанца, Обедиенца, Стефана и даже Карита, превратились в смиренных и преданных Христовых невест. Таких, какой всегда мечтала быть она. Любовь к Христу сжигает ее уже много лет; она работала, молилась, постилась, посвятила обители Санта-Катерина всю жизнь; и все же, все же... чего-то все-таки не хватает.

Судьба Юмилианы определилась, когда она, впечатлительная юная монахиня девятнадцати лет, стояла в одной монастырской часовне с живой святой, маленькой, согбенной, смиренной и таинственной настолько, что словами не описать, на чьих ладонях однажды во время заутрени открылись стигматы самого Христа. Остаток службы эта крохотная женщина с огромной душой пела в окружении изумленного хора, и слезы текли по ее лицу, а потом, хромя, ушла в свою келью, оставив на полу цепочку кровавых следов.

В детстве Юмилиана слышала рассказы о таких чудесах — да и кто не слышал? — и они с самого начала производили на нее глубочайшее впечатление. Она всегда мечтала стать такой же чистой... Молилась, чтобы и ей было ниспослано такое смирение. «Живые святые» — так их называли. В годы перед началом еретического безумия их было много: Лючия из Нарни, Анжела из Фолиньо, Камилла из Броди. Ее мать все рассказывала ей о них, заботливо вскармливая ее на историях их жизни, как птица вскармливает жирными червями своего едва оперившегося птенца.

Но и без материнской набожности она стремилась бы в монастырь. В детстве ее постоянно приходилось удерживать от излишней суровости к себе. Хотя ее семья была не из самых могущественных в городе, их доброго имени хватило, чтобы обеспечить ей место в Санта-Катерине. Поступив туда в возрасте двенадцати лет, она уже имела мозоли на коленях и находила большинство своих товарок-послушниц тщеславными и ветреными. И еще она верила в то, что надо только не щадить себя, и со временем...

Только ничего из этого не вышло. Несмотря на все ее мolenия и страсти (в юности ведь все максималисты), экстаз бежал ее, и она начала бояться, что ее так и не сочтут достойной. В ту ночь, когда она стояла и смотрела на кровь, стекавшую с ладоней сестры Магдалены, она поняла правду: ей никогда не испытать такого благословения.

Когда любишь кого-то так сильно, то непереносимо больно видеть, как он предпочитает тебе другую. Но Христос посылает разные испытания разным душам, и Юмилиана безропотно несла свой крест: она шила, переписывала, работала в саду, помогала на кухне со всем доступным ей смирением, пока наконец не нашла способ занять должность, где ее страсть и вера помогут направлять юные души. Никто не сомневался в том, что она была честной и справедливой

наставницей, многие воспитанницы полюбили ее в конце концов так же сильно, как когда-то ненавидели. Но все это время она пристально вглядывалась в каждую из них и ждала, когда представится случай. И он настал, как раз тогда, когда ложные истины были повсюду и сама Церковь склонялась к большей строгости и меньшей свободе.

По правде говоря, она не всегда была уверена в Серафине (сейчас-то все по-другому, так ведь?). Вначале она видела в ней лишь злую, испорченную бунтарку, полную тщеславия и плотских желаний. Но потом все изменилось. Сначала была первая встреча с сестрой Магдаленой, после которой девушка обрела голос, чистый, как дыхание ангела, и жаль, что он не поднимался прямо к Господу, а должен был соблазнять тех, кто стоял за решеткой. Потом ее вдруг охватила показная набожность, однако Господь сразу увидел ее лживость и ввергнул ее в ту ужасную ночь со спазмами и рвотой, которая сокрушила ее тело и едва не убила ее. Без Магдалены она наверняка умерла бы. В тот миг Юмилиане все стало ясно. Иные монахини и послушницы, зачастую достойные сверх всякой меры, в страданиях и одиночестве испускали дух. А ради этой девушки сама живая святая Санта-Катерины вышла из своей кельи и пробудила в ней жажду покаяния и поста. И наконец, как будто могли еще оставаться сомнения, Магдалена умерла в тот самый миг, когда Христос наполовину соскользнул с распятия, под которым принимала причастие Серафина.

Да, была в этой молодой женщине какая-то сила, словно вложенная в нее вопреки ей самой. Она почувствовала ее сквозь отчаяние девушки, вскормила ее, наблюдала, как оживает дух, по мере того как слабеет тело. Она, сестра Юмилиана, молилась, чтобы ей была послана такая сила в ее стремлении очистить монастырь. И вот она была дарована ей.

Вечером она, как обычно, приходит в час между ужином и последней молитвой помолиться с Серафиной. Жадная до малейших нюансов тех ощущений, которые переживает ее юная протеже, она расспрашивает ее о том, что произошло с ней утром в часовне, когда она едва не упала в обморок. Было ли ей больно? Что она чувствовала? Или слышала? Не было ли у нее шума или гудения в ушах, не слышала ли она отзвука чьего-то голоса, не затмевался ли ее взор?

Серафина рассказывает ей все, что та хочет слышать.

И не все ее слова неправда. В долгие, голодные ночи до прихода Зуаны бывали моменты, когда она могла поклясться, что видела что-то: странные, полуразмытые фигуры вырастали вдруг из теней, краем глаза она замечала внезапные дуновения или вспышки света. Когда она подолгу смотрела в темноту, та становилась цветной, оранжевые и желтые пятна пронизывали ее, как золотые жилы — черный камень. Однажды, на ничейной земле между сном и явью, она вдруг увидела выплывшее из темноты лицо — Его лицо в обрамлении бороды и черных кудрей, с глазами, мокрыми от слез сострадания. «О Господи, — подумала она тогда, — пусть эти слезы будут обо мне». Напротив, ее сны были совершенно пустыми, хотя, просыпаясь, она иногда слышала в своей келье музыку, голоса, вибрирующие ноты такой чистоты и высоты, что они не могли быть человеческими, от них у нее кружилась голова, и она чувствовала себя бестелесной, готовой взлететь с кровати и стать одной из них.

Когда она, запинаясь, пересказывает это Юмилиане, старая монахиня все забывает от радости.

Но больше с ней ничего такого не происходит. Нагруженная пищей, она твердо стоит на земле, и плотность ее тела прекращает дрожание воздуха вокруг. Сказать по правде, иногда ее охватывают кратковременные сожаления о вновь вернувшейся обыкновенности, и тогда она задумывается о том, что потеряла. Но она запрещает себе такие мысли. Скоро она уйдет из монастыря, оставит позади все его видения и ужасы и сделает все, чтобы освободиться...

— Помоги мне. Я так жажду Его. Пожалуйста, помоги. — Она знает свои слова наизусть.

— Молись, Серафина. Молитва и отречение от плоти. Другого пути нет. Когда пустота наполнит тебя, это случится. Он придет. Боль, посланная тебе сегодня, — верный знак. Заутреня — самое лучшее время. Именно тогда Он так близок. Все, что тебе нужно сделать, — это позвать. Ты готова. Монастырь готов. Для Него.

В каком-то смысле Юмилиана права. С тех пор как еда оживила не только ее кишки, но и мозги, Серафина чувствует перемену погоды вокруг. Многие монахини тоже постятся, причем так, что, собираясь в часовне, они слышат протестующее урчание животов друг друга. В утренние рабочие часы хор борется с «Плачем Иеремии»: архитектура этой музыки куда строже той, к которой они привыкли, и, как бы

сестра Бенедикта ни подгоняла ее под их голоса, изменить или обогатить ее она не может.

*Иерусалим прискорбно согрешил...*

Слова раздаются по всему монастырю.

*Рыдала она ночью, и слезы на ее щеках.*

Есть и те, кому в этих словах чудится камень в огород Санта-Катерины.

*Все, почитавшие ее, теперь презирают,*

*Ибо видели ее стыд.*

Мало кто теперь вечерами навещивается в келью сестры Аполлонии; все заняты тем, что стоят на коленях в своих собственных. На монастырь опустилось затишье, тяжелое, липкое, словно перед грозой. Очередное собрание проходит без неожиданностей. Атмосфера по-прежнему напряжена, но ни у кого нет сил для новой драмы. Им объявляют, что большое распятие починено и в ближайшую неделю вернется в монастырь. Но даже эту новость община принимает спокойно. Юмилиана, куда более искусный политик, чем она сама о себе думает, молчит. Однако душа ее тверда, как перетянутая струна, а по вечерам она продолжает переливать свою страсть в душу послушницы. Она ждет. Как и все они.

## Глава сорок четвертая

Хотя перемены в фигуре девушки станут заметны окружающим лишь через месяц, не раньше, уже после двух недель выкармливания ее лицо немного меняется: огромные круги под глазами бледнеют, к щекам возвращается румянец. Пора добавлять следующий ингредиент. Необходимо посвятить в план аббатису.

Зуана не обманывается в том, какая сложная ей предстоит задача. Она знает, как рассердится аббатиса. Как она уже рассердилась. С их последней встречи мадонна Чиара все больше времени проводит у себя в покоях, где пишет письма или принимает посетителей. Самые наблюдательные сказали бы, что вид у нее усталый. Но Зуана знает, что происходит. Женщина, привыкшая к власти над окружающим миром, наблюдает, как она ускользает из ее рук. Нет, такой план она не захочет даже слушать. Значит, тем более важно, чтобы Зуана нашла способ ее убедить.

В ту ночь вместе с едой Зуана приносит в келью девушки два маленьких мешочка. Накормив ее, она вручает ей первый.

— Будь осторожна с этим.

Аполлония щедро поделилась с ней пудрой.

— Можешь считать, что это спасибо за мою сестру, — говорит она. — Хотя, должна сказать, никогда не думала, что тебе это может понадобиться. Правда, сейчас многие меняют свои привычки. Приходи к нам как-нибудь на вечерний концерт. Тем более что их уже, наверное, немного осталось.

Серафина — вернее, Изабетта, ибо с тех пор, как пицца заработала внутри ее, она снова начинает думать о себе именно так, — открывает мешочек, опускает в него палец, затем размазывает белую пудру по щекам.

— Сильно не мажься. Юмилиана с другой половины хоров краску видит.

Зуана берет второй мешочек и кладет на койку.

— Что до этого, то я все точно рассчитала. Ты помнишь, сколько воды нужно?

Она кивает.

— Хорошо. Самое главное — начинай только по моему знаку. И делай только то, о чем мы с тобой говорили. Ты поняла?

— Я поняла.

— Не больше и не меньше. Второго шанса не будет.

— Да-да, я все поняла. — Она сегодня нервная. Они обе нервничают. — Думаешь, до этого дойдет?

— Я не знаю. Но если дойдет, она должна увидеть, что тебе хватит и сил, и воли пойти дальше.

Зуана вручает ей маленький острый нож, которым она когда-то чистила и резала корни норичника. Ах, сколько же времени прошло с тех пор?

— Ты уверена, что сможешь? — спрашивает Зуана.

— Да, уверена. — На этот раз вместе с румянцем на щеках появляется и блеск в глазах. — Вряд ли это окажется больше, чем то, что творится у меня в кишках.

Наутро Зуана идет к аббатисе. Этот визит не отмечен любезностями: никто не предлагает ей вина или место у очага.

— Я пришла исповедаться в непослушании, мадонна Чиара. Против вашего желания я навещала послушницу ночью. И при этом каждый раз нарушала Великое Молчание.

— Да. Может, расскажешь мне то, чего я не знаю? Сколько еды попадает ей в живот, к примеру? Перед обедней вид у нее был полумертвый.

— Это из-за запора, он неизбежно случается, когда человек снова начинает есть. Пост окончен. А с ним и влияние Юмилианы на нее.

— Что ж, рада это слышать.

Зуана набирает полную грудь воздуха. Никогда в жизни она еще так не волновалась.

— Мадонна Чиара, я пожертвовала бы чем угодно, чтобы защитить наш монастырь. Он поддерживает и питает меня и еще многих женщин, подобных мне... — медленно начинает она, но слова спешат и натываются друг на друга, будто им не терпится выйти наружу. Она умолкает, затем, собравшись с силами, продолжает: — Отношение послушницы к вам ничуть не изменилось. У нее сильный характер, но в ней нет злости. Лишь отчаяние толкнуло ее к Юмилиане. Но если мы поможем ей, она отречется. И будет молчать



до могилы: обо всем, что происходит в этих стенах или за их пределами, она забудет, будто этого никогда и не было.

Тут Зуана умолкает, чувствуя, что ее лоб покрыла испарина. Аббатиса смотрит на нее спокойным, даже холодным взглядом.

— Какая страстная речь, сестра Зуана. Совсем на вас не похоже. И какую «помощь» мы должны ей подать, чтобы купить ее молчание? Вы ведь это имели в виду, да? Как я понимаю, сейчас у нее есть еда, уход и внимание половины общины. Так скажите, какой еще «помощи» ей не хватает?

Зуана смотрит ей прямо в глаза.

— Мы должны помочь ей покинуть эти стены и начать новую жизнь с тем молодым человеком вдали от наших мест.

Мгновение аббатиса не сводит с нее глаз.

— Вот это да! Ум к ней вернулся быстро. Если, конечно, это ее идея...

— Я долго думала над этим, мадонна Чиара. Есть один способ...

— О, способов есть сколько угодно, — перебивает аббатиса. — Я могу открыть ей ворота хоть сегодня ночью. Или мне подождать, пока она напишет письмо епископу и осрамит нас всех, чтобы он напустил на нас инспекцию? Дай угадаю... Ты взяла на себя смелость исследовать тело Санта-Катерины, а затем — что? — отыскала снадобье от ее недугов? Осмелюсь сказать, что в этом тебе помог отец. — Ее голос становится едким от сарказма.

— Отец перестал говорить со мной, — спокойно отвечает Зуана. — Я все придумала одна.

— В таком случае твоя вина серьезнее, чем я полагала. Похоже, бледная немочь у тебя, а не у нее, хотя тебе она и не по возрасту. Что, она и тебе голову вскружила? Соблазнила, как всех прочих, так что теперь ты готова разрушить монастырь ради нее?

— Нет. Все совсем не так, — возражает Зуана, и голос ее чист и ясен, в нем нет дрожи и страха. — Этот монастырь дорог мне не меньше, чем вам.

— Позволю себе усомниться.

— Я бы...

— Хватит! — приказывает аббатиса, дрожа от ярости.

Зуана повинуется. Мгновение аббатиса молчит, сложив на коленях стиснутые руки, словно понимает, что зашла слишком далеко. Наконец

она поднимает голову.

— Твой визит окончен. Назначаю тебе епитимью...

— Мадонна Чиара...

— Я запрещаю тебе перебивать меня! — Теперь врага мерещатся ей повсюду, и она не может этого стерпеть. — Назначаю тебе епитимью — оставаться в келье до тех пор, пока я не решу, что делать с вами дальше.

Большее не в ее власти. Зуана склоняет голову в знак покорности.

— А послушница? — тихо спрашивает она.

— Если ей потребуется еще помощь, я ее окажу.

К последней службе становится ясно, что с Зуаной что-то произошло. Ее место на хорах пусто с шестого часа. Будь это болезнь, аббатиса наверняка сказала бы об этом перед Великим Молчанием, чтобы они могли помянуть ее в своих молитвах. Но она почему-то делает вид, будто не замечает ее отсутствия.

Когда собравшиеся монахини усаживаются, Изабетта поднимает голову и смотрит на пустующее сиденье. В сумеречном свете ее лицо кажется осунувшимся и мертвенно-бледным. И не только благодаря пудре.

Зуана оставила четкие указания. «Если я буду на месте, то перед самым началом службы я поднесу руку ко лбу и задержу ее там, точно страдаю от боли. Это будет знак для тебя».

«А если тебя там не будет?»

«Если не будет... то само мое отсутствие станет знаком».

Бенедикта выпекает первые ноты, Изабетта подхватывает. Когда она была совсем слаба, ее хватало лишь на то, чтобы придерживаться порядка службы, да и то ее мысли часто убегали во тьму, окружавшую пламя свечей, которое напоминало ей истории Юмилианы: ангелы вылетают из дыма и скрываются в нем, и юная монахиня, пронзенная радостью Господней, исходит слезами и кровью у всех на глазах. Бывали моменты, когда ее собственные ладони начинало покалывать от желания, но позднее она обнаруживала, что втыкала в них ногти, от которых на коже оставались красные рубцы.

Но теперь часовня снова стала просто местом, где молятся монахини, а служба превратилась в набор определенных слов. Теперь она знает, что есть только одно средство извлечь кровь из своих

ладоней, и средство это — нож. Она видит аббатису, которая стоит за рядами скамей, высокая и прямая. Посмотрите на нее: эта женщина знает, как ножом добиться того, чего хочешь. Сильно ли она ее ненавидит? Обычно она не позволяет себе углубляться в это чувство. Но теперь она окунается в него, и оно оказывается таким сильным, что кружит ей голову.

Да, она это сделает.

Вернувшись в келью, в назначенное время она вытаскивает мешочек, добавляет к кучке гранул немного воды и разводит их на полу в темном углу. Затем вынимает нож. Колебание длится секунду, после чего она втыкает кончик лезвия себе в ладонь, шипя от боли, когда он прорывает кожный покров. Переложив нож в поврежденную ладонь, она наносит такую же рану здоровой, хотя и с большим трудом. При свече вытекающая кровь кажется сразу и темной, и яркой. Она прячет нож и переходит в угол, где опускает ладони в лужицу и изо всех сил давит ими в пол. Когда она поднимает их, они пропитаны краской.

Она переходит в переднюю комнату, задувает свечу и начинает визжать.

Община уже спит, но три женщины тут же выскакивают из своих келий. Ночная сестра мчится впереди, но не успевает она достичь двери послушницы, как видит аббатису, спешащую по галерее, а за ней — сестру Юмилиану, которая торопится так, как только позволяют ее старые усталые ноги.

Ночная сестра останавливается у двери кельи, но не открывает ее, а молча ждет. Великое Молчание сильнее любого шума.

— Бенедиктус, — с трудом переводя дух, произносит первое слово Юмилиана и поспешно склоняет голову перед аббатисой.

— Део грасиас.

— Вам нет нужды беспокоиться, мадонна аббатиса. Я сама пригляжу за ней.

— Нет, сестра Юмилиана.

— Она послушница, проходящее обучение. Моя обяз...

— Я сама за ней пригляжу.

— Но...

— Никаких «но». Вы еще не распоряжаетесь в этом монастыре, сестра Юмилиана. Это моя привилегия и мое бремя. — Тон не допускает возражений. — Возвращайтесь в келью.

И поскольку остается лишь повиноваться или оттолкнуть ее и войти силой, то Юмилиана отворачивается, ночная сестра делает шаг в сторону, и аббатиса входит.

В комнате она обнаруживает девушку, которая стоит в углу, спиной к ней, и воет на одной высокой ноте, вибрирующей так, словно запас дыхания в ее груди бесконечен.

Мадонна Чиара поднимает свечу.

— Итак, Серафина. Из-за какой чепухи ты прерываешь Великое Молчание на сей раз?

Наступает пауза, потом Изабетта оборачивается и поднимает руки ладонями вверх, показывая ей свои раны. Темная кровь каплями падает на пол вокруг нее, когда она без всякой истерики и злости произносит слова, которые они придумали вместе с Зуаной:

— Мадонна Чиара, меня отдали в монастырь против моей воли. И против моей воли держат меня здесь. Я не хочу вам зла. И, если вы отпустите меня, я клянусь, что до конца моих дней не скажу об этом никому ни слова. Но если меня заставят остаться, я обещаю, что навлеку на всех вас беду.

Пока она говорит, аббатиса толчком закрывает дверь, чтобы никто не подслушал их снаружи.

## Глава сорок пятая

— Вас зовут к аббатисе.

От возбуждения Летиция вся трясется. Зуана, не ложившаяся спать, давно готова и ждет уже несколько часов. Идя через двор, она нарочно даже не смотрит в сторону кельи послушницы, зато замечает фигуру в окне мастерской вышивальщиц на верхнем этаже. У сестры Франчески, которая не может запретить болтушкам говорить даже тогда, когда им нечего сказать, сейчас, наверное, гвалт стоит. Постыжающаяся послушница кричала ночью, и аббатиса — сама аббатиса — пришла к ней. Услышав такую новость, разве можно спокойно сидеть и вышивать очередную букву «Э» на очередной наволочке? Но и наволочкам, при всей их неприязнительности, отведена в большой интриге своя роль. Зуана постаралась и разузнала, что вышивальщицы как раз заканчивают приданое одной молодой женщины из младшей ветви семейства д'Эсте и что на днях работа должна быть отправлена заказчице, чтобы все примерить, а если понадобится, то и переделать до свадьбы, назначенной на десятый день после Пасхи. Сейчас дошивают последние предметы.

Голова в верхнем окне прячется, когда Летиция без остановки проходит мимо дверей аббатисы.

— Куда мы идем?

— Она велела мне привести вас в часовню.

Зуана работает с этой девочкой с тех самых пор, как та поступила в монастырь. И сейчас ей очень хочется расспросить ее о том, что она знает. Но Летиция слишком взволнована и, едва они достигают двери часовни, убегает прочь.

Зуана входит так тихо, как только позволяет могучая дверь.

Оказавшись внутри, она сразу понимает, почему аббатиса здесь. На каменном полу у алтаря во всей своей славе лежит огромное починенное распятие и ждет, когда его повесят на место. Ворот, лебедка и подъемные козлы возле хоров уже ждут начала процесса.

По одну сторону от лежащего распятия распростерлась на полу аббатиса, вся вытянувшись к Нему. Ее ладони почти касаются Его скульптурной плоти, кажется, потянись она еще немного, и дотронется до Него.

Зуана колеблется. Она нередко видела аббатису в церкви, где та обычно являет собой изящнейшее воплощение молящейся монахини, однако сейчас ей кажется, что та погружена в более глубокую молитву. Ей неловко оттого, что она как будто подглядывает.

Немного погодя, когда она поворачивается к двери, ее окликает голос:

— Сядь, Зуана. Я скоро подойду.

Ну, может, не такую уж и глубокую.

С наблюдательного пункта на хорах Зуана начинает рассматривать статую. На полу фигура Христа кажется еще огромнее, чем на стене. Мастера не только починили поперечную перекладину и руку, но и почистили фигуру и заново отлакировали ее, смыв столетние слои свечной копоти и пыли, так что Его кожа как будто светится.

Наконец аббатиса выпрямляется. Мгновение она сидит на пятках и смотрит на тело, потом наклоняется и целует дерево креста и только после этого встает.

— Знаешь, когда я только пришла в монастырь, еще девочкой, говорили, будто изготовивший Его скульптор использовал в качестве модели тело собственного сына, убитого в драке. — Она говорит спокойно, почти легко. — Говорят, горе отца было столь велико, что оно водило его рукой, державшей резец. Судя по всему, молодой человек был красавцем. Женщины его любили. Помню, я тогда не понимала, как его тело могло превратиться в тело Христа. Ибо у меня не было никаких сомнений в том, что Он — тот, кто Он есть.

Аббатиса выбирает место рядом с сестрой-травницей и садится, аккуратно расправив юбки.

— С годами я поняла, что мы, монахини, удивительно умеем видеть то, во что верим... или верить в то, что видим — или хотим видеть, — даже когда его нет.

В ее манерах нет и следа той ярости, в которой Зуана оставила ее менее суток тому назад. В правилах их ордена об этом говорится недвусмысленно: монахиня бенедиктинского монастыря не должна давать волю гневу или жаждать мести. Она должна любить врагов своих и примиряться с противниками до захода солнца. И ни при каких условиях надежда на милость Господа не должна покидать ее. Непростые требования, и аббатиса должна показывать другим пример их безукоризненного исполнения.

Даже когда Зуана с ней не согласна, она все равно восхищается ею больше, чем любой из прежних аббатис. Хорошо бы и впредь так было.

— Похоже, это тебе я должна быть признательна за то, что она не расковыряла себя ножом посреди заутрени.

— Дело не только во мне, мадонна Чиара. Девушка и сама не хочет вреда общине.

— Да, она дала мне это понять. Однако меня она ненавидит. Глаза красноречивее слов. — Аббатиса делает паузу. — Что ж, на ее месте я бы меня тоже ненавидела. Полагаю, обилие крови — твоих рук дело?

Зуана колеблется, потом кивает.

— Очень впечатляюще. Надеюсь, Федерике на пирожки что-нибудь осталось. Хотя, похоже, на следующий год карнавального пира уже не будет.

— Нет, — твердо ответила Зуана. — Пир будет. И вы по-прежнему будете аббатисой. И, как и сейчас, будете пользоваться всеобщей любовью и восхищением.

— Ох, Зуана, сделай милость. Воздержись от неискренних похвал. Для нас это пройденный этап. Мы ведь пришли сюда торговаться, да? В таком случае приступим.

— Здесь? — Взгляд Зуаны скользит по распятию.

— Почему бы и нет? Лучшего свидетеля нам не найти. К тому же я не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто мы думаем что-то от Него утаить.

И Зуана начинает говорить, сначала о болезни, потом о лечении. Слова она выбирает понятные и простые, как и подобает хорошему врачу или ученому, который всесторонне исследовал предмет и хочет убедить других в его полезности. Аббатиса, в свою очередь, внимательно слушает, не сводя глаз с ее лица.

Христос на кресте, лежащем на полу часовни, отвернул от монахинь свой лик. Его поникшая голова свидетельствует о том, что мучения уже подошли к концу. Все худшее для Него позади, впереди — только воскресение.

— Знаешь, чего сильнее всего страшатся женщины, входящие в монастырь не по своей воле? — наконец говорит аббатиса. — Думаю, я тебя удивлю, ведь они и сами зачастую этого не знают. Не того, что

они не смогут иметь детей, носить модные платья и никогда не испытают ничего из того, что они слышали об алькове. Нет. Корень их страха в том, что, не найдя утешения в Господе, они боятся умереть от скуки. Скука... — качает головой она. — Должна сказать, что за все годы, которые я провела на посту аббатисы, я ни разу от нее не страдала. Он очень умен, Зуана, твой план. Когда надо понять суть проблемы и найти решение, головы яснее твоей не найти. И все же это не столько лекарство, сколько шантаж.

— О, я вовсе не хотела, чтобы так было.

— Нет? А если я все же откажусь? Что тогда? Осмелюсь заметить, краски ей хватит, чтобы сорвать не одну службу. Видела бы ты ее руки. Она себя от души покромсала. Может, у нее и не было экстаза, но вот у сестры Юмилианы наверняка был бы. Но ты и без меня все знаешь. — И она глубоко, театрально вздыхает. — Так что там за «состав»? Ты пользовалась им раньше?

— Я... вообще-то нет. Его нельзя испытывать самой на себе, результаты непредсказуемы.

— Да уж.

— Но я изучила множество записей.

— Чьих — аптекарей или поэтов?

— Я... я не понимаю...

— Ах, Зуана! — Улыбка поднимает уголки ее губ, но не достигает глаз. — Для человека твоих знаний ты очаровательно невежественна. Мариотто и Джианоза... Джульетта и Ромео... Как только их не называют. Неужели ты не слышала их трагическую историю? Ладно, сейчас уже поздно. Добрые отцы из Трента приговорили к костру истории Салернитано, что, по моему разумению, только добавит им популярности.

— Вы правы, — тихо говорит Зуана. — Я таких историй не слышала и слышать не хочу. Это снадобье известно мне по записям одного путешественника с Востока и моего отца.

— ...чьи книги мы должны постараться сохранить. — Ладони аббатисы скользят по юбке; жест, который, как всегда, означает переход к делу. — Итак, расскажи мне остальное. Как, к примеру, ее жалкий молодой щенок узнает, что ему делать?

— Она ему напишет.

— Что? У тебя есть его адрес?



Зуана опускает глаза.

— И ты уверена, что он отзовется?

— Да. Уверена.

— А вдруг что-нибудь пойдет не так? Вдруг снадобье не сработает? Окажется слишком слабым? Или сильным? И она умрет?

— Она не умрет, — твердо отвечает Зуана. — Хотя... — Она на миг умолкает. — Хотя, если такое случится, вам не о чем будет беспокоиться, ибо ее секреты умрут вместе с ней.

— Отлично! Ты и впрямь обо всем подумала. Кроме, может быть, одного. Понятно, что теряет монастырь благодаря твоему плану: непокорную сладкоголосую послушницу и большую часть ее приданого. Но вот что мы выиграем?

Зуана, хотя и невежественная в чем-то, приготовила точный ответ на этот вопрос. На этот раз, едва она заканчивает, аббатиса отбрасывает все колебания.

И вот настала пора смешивать ингредиенты.

Под руководством Зуаны девушка пишет письмо молодому человеку, поклявшемуся ей в вечной любви и верности. И хотя оно исполнено нежности, дабы не оставить никаких сомнений в ее чувствах, главная его цель — передать ему указания, и уж тут слово берет Зуана, ибо важнее всего ничего не перепутать. Готовое письмо читает не цензор, а сама аббатиса и тут же отправляет его со своей личной почтой.

Через несколько часов все сомнения в верности молодого человека рассеиваются. Посыльного, принесшего запечатанный конверт, просят подождать, пока будет написан ответ, чтобы доставить его адресату немедленно. Можно подумать, что молодой человек ничего другого и не ожидал. Что в некотором роде так и есть. Ответ попадет прямо в руки аббатисе, так что она первая читает страстные излияния юноши, которому суждено стать похитителем одной из ее послушниц. Скрытая в этом ирония очевидна всем.

На следующий день аббатиса наносит неожиданный визит в швейную мастерскую, где приказывает монахиням и послушницам меньше болтать и живее работать иглой, чтобы приданое было готово к отправке в течение недели.

Зуана, в свою очередь, занята своими книгами и хором снадобий. Она производит последнюю сверку двух источников: записей ее отца и некоего Алесслио Пьемонтесе, который, по его словам, объездил весь свет, изучая чудеса и тайны природы. И хотя в ингредиентах обе записи сходятся, есть некоторые различия в мерах. В конце концов она делает выбор в пользу отцовского варианта, хотя он и предупреждает ее: «Мною не проверено, записано с чужих слов» — мелким почерком внизу страницы.

Изабетта, напротив, в эти дни совсем ничего не делает, что, может быть, труднее всего. Теперь за общим столом она почти не скрывает, что ничего не ест, чтобы все видели, как она себя изнуряет. Остальное время она поет или молится напоказ, сложив ладони или спрятав их в рукава платья, белая как мел, исхудавшая, ссутулившаяся, она ковыляет за сестрой-наставницей, словно новорожденная овечка.

Как было обещано, распятие вешают прямо перед Вербным воскресеньем. Монахини устраивают крестный ход по монастырю, который оканчивается в открытой для публики часовне, где служат мессу, и все это без новых происшествий.

Заутреню в ту ночь служат торжественно. Празднуя возвращение нашего Господа, монахини зажигают целый ряд больших свечей. Все жаждут службы. Даже те, кто едва просыпается, ослабев от молитвы и поста, вовремя приходят в часовню.

Раньше всех свое место занимает Юмилиана. Она уверена, что эту службу монастырь запомнит надолго. Над ее головой Христос горит в пламени свечей. Его дорогое, страждущее тело являет собой чудо трансформации, Его плоть внезапно кажется столь реальной, кровь из ладоней и ступней потрясает краснотой на фоне бледной, лакированной кожи. В лихорадочных мечтаниях молодости она представляла себе тяжесть этого измученного тела, лежащего на ее коленях, воображала, как чудесно бы было заключить Его в свои объятия. Всю свою жизнь любила она Его, этого совершенного, нежного, могучего, прекрасного мужчину, рядом с которым любой другой жених показался бы грубым и недостойным. И вот она сидит, сложив на коленях руки, и наблюдает за тем, как входят послушницы и Серафина скромно занимает свое место среди других участниц ночной процессии.

Какой хрупкой и мертвенно-бледной она выглядит, одна душа, и никакого тела. Только глаза остались. В последние дни они так и сверкают: будто яркий свет горит где-то в их глубине. Ах, почему она, Юмилиана, не прибежала первой в ее келью в ту ночь, когда та начала кричать! Как она изумилась, когда на следующий день девушка описала ей трех черных бесов, которые явились к ней и пинками и толчками опрокидывали ее на пол, как только она начинала молиться. В доказательство Серафина даже предъявила ей крупные синяки. Подумать только! Неудивительно, что девушка испугалась, думая, что это нападение показывало ее неготовность к милости Господней. Но Юмилиана знает то, что неведомо ей: такие яростные атаки происходят как раз перед пробуждением благодати. Откровения тех, кому довелось зреть Бога воочию, полны рассказов о схватках с чертями, об их издевках и жестокости. И ей, Юмилиане, доводилось раз или два быть объектом подобных нападений. Но в отличие от святых и этой девушки бесовские удары никогда не оставляли на ней синяков.

Начинается первое песнопение. Юмилиана поднимает глаза к телу Христову. Теперь Он над нами. Он здесь и даст почувствовать свое присутствие.

Но Он не дает.

Под радостные песнопения, в ярком свете множества свечей заутреня движется к концу. Послушница, кажется, так устала, что едва открывает рот. Пока хор вокруг нее завершает службу, Юмилиана погружается в молитву, проглатывая разочарование и принимая Его волю смиренно, ну почти смиренно, как она делала всю жизнь.

И только когда монахини выходят и она стоит, наблюдая за тем, как одна за другой покидают часовню послушницы, она видит, как Серафина наступает на подол своей юбки и, чтобы не упасть, хватается рукой за край скамьи. В тот же миг спазм тщательно скрываемой боли искажает ее лицо, и сердце Юмилианы начинает учащенно биться.

## Глава сорок шестая

На следующий день происходит собрание, почти полностью посвященное текущим делам и оттого очень скучное.

Пасха вот-вот наступит, а с ней и переживание страшной и чудесной истории преследования Христа, Его смерти на кресте и Его воскресения. Послушницы и монахини помоложе явно обрадованы — пост показался им почти вечностью, — но те, кто постарше, думают о том, как быстро это время наступило снова. Говорят, для старых годы бегут особенно быстро, и все же удивительно, как пустыня времени, которой жизнь в монастыре представляется вначале, на деле оборачивается бесконечной чередой всевозможных литургических праздников, городских торжеств, особых служб в честь благодетелей и дней святых. Немногие события требуют столь серьезной подготовки, как Пасха, и потому выбор праздничных псалмов, а также обсуждение крестного хода в Страстную пятницу по всем помещениям монастыря с большим серебряным распятием во главе дают простор для разногласий. Может быть, именно по этой причине в начале собрания все подчеркнуто вежливо со всеми, как будто боятся, что малейшее возражение вызовет бурю, которая только и ждет, чтобы разразиться.

Посреди оживленного обсуждения воскресного обеда, который должен положить конец посту, сестра Зуана вдруг просит — и получает — разрешение высказаться вне очереди.

— Мадонна аббатиса, поскольку для послушниц пост не является обязательным, могу ли я попросить, чтобы тем, кто все же постится, было разрешено поест еще до наступления воскресенья? Как ответственная за лечение, я начинаю тревожиться тем, какое влияние пост оказывает на их здоровье.

Все в комнате застывают. Точнее, застывают лишь те монахини, которые поддерживают Юмилиану и готовятся дать отпор. Сестра Бенедикта в первом ряду оживленно кивает; хор разваливается, лишенный поддержки лучших голосов. Но первой отвечает аббатиса.

— Хотя я высоко ценю вашу заботу, сестра Зуана, но это дело касается скорее сестры-наставницы, чем вас.

— Я... э-э-э... — Юмилиана на мгновение теряется, сбита с толку этой неожиданной поддержкой. — Я не вполне понимаю, о чем говорит сестра-травница. Лишь одна послушница постилась, и то в качестве наказания, срок которого истек давным-давно.

— При всем моем уважении к вам, сестра Юмилиана, я думаю, что это не так. Послушница, о которой идет речь, много недель подряд становится все тоньше, и, хотя пищу кладут ей в тарелку, я сомневаюсь, что она ее ест, скорее припрятывает, чтобы выбросить позже. Нельзя, чтобы столь юная особа полностью лишала себя пропитания.

Не одна Зуана смотрит теперь прямо на скамью послушниц. Все уже заметили, какой неуклюжей стала за столом Серафина, как куски еды валяются у нее на пол и как она прячет их, почти не скрываясь. Однако никто ничего не говорит. Когда кто-то тает прямо на глазах, то это так захватывает, что пересиливает даже тревогу.

— Премного благодарна за наблюдение, однако, будь истинное здоровье моей послушницы хотя бы в малейшей опасности, я бы давно это заметила.

— Вот именно. — Аббатиса во второй раз обманывает все ожидания. — Будь у нас хотя бы малейший повод для беспокойства, я уверена, сестра Юмилиана давно бы его увидела.

Наступает короткая пауза. Многие, вне всякого сомнения, вспоминают недавний ночной визг.

— Я знаю, что несколько ночей тому назад она потревожила покой общины, но, думаю, это из-за плохих снов...

Разговор приобретает странный, полуфантастический характер, поскольку о Серафине говорят так, словно ее здесь нет. Она, сутулая и отошавшая, сидит на скамье для послушниц. Ее соседки давно уже прислушиваются к ее учащенным коротким вздохам и редкому тихому ворчанию, похожему на возню небольшого зверька в норе.

— А пока нам еще нужно обсудить немало вопросов, и давайте продолжим. Не беспокойтесь, сестра Юмилиана, община целиком и полностью доверяет вашему сужде...

Однако закончить фразу аббатиса не успевает.

Шум — ибо это и в самом деле шум, — который издает послушница, внезапно усиливается. Полное отсутствие гармонии в

вое, который вдруг срывается с уст этой сладкоголосой девы, немедленно заставляет всех испугаться.

— А-а-а-а-а!

Юмилиана, не спускавшая с нее глаз, тут же все понимает. О Господи Иисусе! Могла бы выбрать окружение и поторжественнее, но с Богом не спорят... Она встает с места, но монахини сидят так плотно, что добраться до девушки не представляется возможным.

Зато послушница уже стоит посередине первого ряда, как раз в центре комнаты.

— А-а-а-а-а! — Она поднимает над головой руки, открывая две обогранные ладони, с которых, стекая по ее локтям, капает кровь. Потом, убедившись, что все видели, она хватает свои юбки и задирает их вверх, куда выше, чем это необходимо, демонстрируя длинные голые ноги и ступни, тоже запачканные кровью, хотя далеко не так сильно...

Все в комнате застывают, пораженные.

Девушка принимается скакать и прыгать, точно пытаясь оторвать от пола свой вес, ее вопли переходят в непрерывный вой, как при пытках, а юбки задираются аж до бедер. Быть может, происходящее с ней и чудесно, но явно не для самой девушки. Это явно не экстаз. Скорее, паника и ужас — и истерика.

Аббатиса первая подбегает к ней.

— Что ты наделала? Послушница Серафина, что это?

Серафина оборачивается к ней и, суя свои окровавленные руки аббатисе в лицо, вопит:

— Это Он! Это Он! Она говорила мне, что Он придет!

— Кто говорил?

Теперь она машет руками в направлении сестры-наставницы, разбрызгивая мелкие капли крови над головами монахинь.

— Видите? — говорит она. — Видите, сестра Юмилиана? Я молилась, и Он пришел. Раны Христовы. Только, ой, ой, Господи Боже, почему ж так больно? О-о-о-о! А-а-а-а!

За ее спиной начинают вопить и другие послушницы, не только от изумления, но и от страха. Юмилиана столбенеет. Все рушится у нее внутри. Она так долго ждала. Однако экстаз не приходит и к ней. Напротив. Слишком много времени она провела в обществе ветреных

молодых девиц, чтобы не распознать истерику с первого взгляда. Это не дело рук Господа. Послушница страдает иной болезнью.

Она не настолько горда, чтобы не признать этого, однако не успевает она протолкаться сквозь ряды к девушке, как происходит еще кое-что. Пока та подскакивает и вертится, визжа как недорезанная свинья, какой-то предмет вылетает из-под ее платья, ударяется об каменный пол и со стуком катится по нему.

Те, кто находится ближе к девушке, видят его сразу. Но лишь когда аббатиса, нагнувшись, поднимает его и показывает всем, его значение полностью доходит до собравшихся: маленький сверкающий ножик с красными потеками на лезвии, которые могут быть только кровью.

— Мой нож для трав! — раздается над общим гомоном голос Зуаны. — Этой мой нож для трав. Он исчез из аптеки несколько недель назад, когда я болела. О-о, значит, это она взяла его тогда.

После этого никто уже не может ничего сказать или сделать, потому что в комнате поднимается страшный шум. Посреди общей суматохи девушка воет и вертится, тыча ладонями в лицо всякому, кто приближается к ней, так что кровь летит во все стороны, пока наконец аббатисе, ночной сестре и еще нескольким сестрам похрабрее не удастся ее повалить. Она продолжает плевать и лягаться, пока они прижимают ее к полу. Потом, столь же внезапно, она сдается, ее тело обмякает, скручивается, и она начинает походить на кучу тряпок, лежащих на полу.

— О-о-о, простите меня, простите, — стонет она опять и опять. — Мне так хочется есть. Пожалуйста, пожалуйста, покормите меня. Кто-нибудь, помогите мне.

По приказу аббатисы ночная сестра поднимает ее с пола и под присмотром сестры-травницы выносит из комнаты.

— Отнесите ее в госпиталь и привяжите. Возвращайтесь, когда сможете.

Выходя, Зуана видит сестру Юмилиану, которая, обхватив голову руками, падает на колени там, где стоит.

## Глава сорок седьмая

В лазарете они выбирают ближайшую к двери кровать.

Клеменция вне себя от восторга.

— О, ангел явился! Ангел явился! Добро пожаловать, бедняжка. Какая она теперь маленькая. О нет-нет, на эту кровать не кладите. Там все умирают.

Впрочем, ее никто не слушает. Девушка нисколько не сопротивляется, когда ее привязывают. Впечатление такое, что она израсходовала все силы и теперь почти без сознания. Ночная сестра стоит и смотрит на нее.

— Я всегда знала, что ничем хорошим это не кончится, — говорит она угрюмо. — Однако так обмануть сестру Юмилиану...

— Можешь идти, — говорит Зуана. — Я дам ей настоя, чтобы она наверняка уснула, и приду, как только освобожусь.

Ночная сестра, которая всю жизнь только и делает, что умирает от скуки, пока монастырь спит, тут же поворачивается и спешит в комнату для собраний, где разворачивается драма.

Дождавшись, пока за ней закроется дверь, Зуана наклоняется над кроватью.

— Ты отлично справилась, — шепчет она.

Девушка открывает глаза.

— О-о-о-о, ладони так и жжет.

— Знаю. Но сейчас тебе придется лежать тихо. Позже я тебе что-нибудь принесу.

Отворяется дверь. На пороге стоит Августина с тупым лицом и бестолковыми руками.

— Меня звали?

— Да, тебе придется посидеть с послушницей. Не позволяй никому к ней приближаться и будь осторожна. Она в самом деле очень больна.

Но, едва Зуана начинает вставать, как девушка тянет ее за юбку.

— Сестра Зуана, — шепчет она так тихо, что той приходится склониться к самым ее губам, чтобы разобрать слова. — Я... я боюсь.

— Я знаю, — улыбается она. — Но все будет хорошо.

Когда она выпрямляется, ее лицо опять сурово.



Вернувшись в зал собраний, Зуана застаёт общину на коленях.

— Приведи нас в спокойную гавань и дай защиту от бури, которая окружает нас. Ибо, хотя мы и недостойны милости твоей, мы стараемся быть твоими верными и покорными слугами.

Уголком глаза аббатиса замечает Зуану, стоящую в дверях, и завершает молитву. Сделав всем знак встать, она садится на место.

— Дорогие мои сестры, мы и в самом деле пережили жесточайший шторм, за что я, как аббатиса, должна винить только себя. А-а, сестра Зуана. Скажите нам, пожалуйста, как девушка?

— Привязана.

— Хорошо. Вам удалось осмотреть ее?

— Весьма бегло, но достаточно, чтобы понять, что раны она себе нанесла серьезные. К тому же она страшно исхудала и изголодалась.

— Что, вероятно, лишь усугубило ее безумие. — Аббатиса на мгновение склоняет голову, словно прося помощи извне. — Однако, — голова поднимается снова, — думаю, нам всем следует помнить, что эта несчастная молодая женщина отличалась весьма... гм... необычным поведением с самого первого дня в нашем монастыре.

В четвертом ряду сестра Юмилиана сидит бледная, с опущенными глазами. Комната стихает. Она пытается встать...

— Мадонна аббатиса, я...

— Сестра Юмилиана, — мягко перебивает ее настоятельница. — Я знаю, что именно вы острее нас всех ощущаете эту боль. Ибо вы потратили на нее столько вашего времени и благословенных сил. И потому сейчас особенно важно просить у Господа ниспослать нам понимание того, что произошло с нами, а уж потом каяться в грехах. И если уж кто-нибудь виновен в произошедшем, то это я, ибо я аббатиса, и ответственность на мне. Поэтому прошу вас, дорогая сестра, сядьте и отдохните.

Доброта вернее всякой взбучки заставляет Юмилиану замолчать. Еще она оставляет Чиару хозяйкой положения. Аббатиса выпрямляется, кладя ладони на львиные головы подлокотников кресла. Этот знакомый, почти успокаивающий жест хорошо известен всем. И это тоже к лучшему, ибо все сейчас нуждаются в успокоении.

— Думаю, вы все знаете, что и до печальных событий сегодняшнего дня благо общины всегда было моей главной заботой.

Мы живем в бурные времена. Повсюду споры и перемены, и нет ничего удивительного в том, что общее беспокойство проникает и в эти стены, вызывая путаницу и разногласия меж нами в вопросе о том, как нам дальше строить свою монашескую жизнь. Во многих городах монахини задают себе сейчас те же самые вопросы, и многих под давлением принуждают к переменам, — вздыхает аббатиса. — В последние недели я много ночей провела в молитвах, прося у Господа совета в том, как мне исполнять мою великую задачу — печься о моем стаде. И Он сжалился над моей нуждой и пришел ко мне на помощь. Он многое помог мне понять. И возможно, главное, что Он помог мне увидеть, заключается в том, что многие тяготы, которые мы испытывали в последнее время, происходили от присутствия этой молодой женщины... — Она делает паузу. Все в комнате хранят молчание, ожидая ее слов. — Дорогие сестры, прошу вас, задумайтесь ныне о том, что Он открыл мне. С тех самых пор, как много месяцев назад послушница пришла в наш монастырь, ее ярость, непослушание, слава, которую принес нам ее голос, ее внезапно пробудившееся благочестие, болезнь, тайная исповедь с последовавшим за ней наказанием, чрезмерный пост на грани голодания, а теперь еще и эта... эта демонстрация безумия и обмана... Одним словом, ее поведение разрушило мир и покой в Санта-Катерине. Хотя мы заботились о ней и сдерживали ее, как могли, — здесь надо особенно отметить старания сестры Зуаны в аптеке, сестры Бенедикты в хоре и самоотверженный труд и внимание сестры Юмилианы, — несмотря на все наши усилия, эта молодая женщина становилась не менее, а более беспокойной. Возможно, ничего удивительного в этом нет. Все стадии ее поведения, все фазы Луны, через которые она проходила — ибо между перепадами ее настроения и лунными циклами существовала некоторая связь, — имеют одну общую характеристику: они взывали о нашем внимании, точнее, требовали его — и получали. Такие симптомы совместимы с самыми острыми формами бледной немочи, способной расстроить поведение девушки ее возраста и, в самом худшем случае, стать причиной полного помешательства. До сих пор Санта-Катерина была от этого милосердно избавлена. У меня были кое-какие подозрения на сей счет в самое первое утро. Сестра Зуана, наверное, помнит, мы обсуждали с ней возможность того, что девушка просто больна, а не непослушна. Тогда же я написала ее отцу, чтобы

узнать побольше. Его ответ успокоил меня. Но, видимо, напрасно. С тех пор все становилось только хуже, а не лучше. Хуже настолько, что мы все, в той или иной степени, оказались под влиянием ее болезни. Испытание, которое мы пережили, было послано нам в лице безумной молодой женщины, решившей посвятить свою жизнь притворству, а не благочестию.

Все это аббатиса произносит медленно и со спокойной убежденностью, расставляя паузы так, чтобы слова производили впечатление драгоценных, хрупких вещей, обращение с которыми требует особой осторожности, или, напротив, казались настолько весомыми, что переварить их можно далеко не сразу.

Идея, которую она предлагает, проста: молодая женщина нарушила равновесие общины, предавшись обману, а не молитве. Мысль и впрямь не сложная, но она отвечает настроению многих присутствующих монахинь.

Зуана смотрит на море лиц. С левого края комнаты сидят послушницы, группа молодых женщин, долгое время находившихся в тени Серафины и теперь, вероятно, чувствующих себя оправданными за периодические вспышки зависти или недостаток доброты к ней. А может быть, они-то как раз и были настолько благочестивы, что сразу распознали ее обман? Рядом с ними сестра Евгения, несомненно, думает о том счастливом времени, когда она была единственной певчей пташкой общины, и время это закончилось в ту обедню, когда Серафина впервые открыла рот, и о том, какой несчастной и потерянной стала она с тех пор.

На скамье прислужниц Летиция снова слышит, как язвительно и зло говорила с ней девушка — куда только подевалась вся ее скромность, — когда они вместе шли через двор в келью больной старшей прислужницы, а Кандида вспоминает вечера, проведенные за расчесыванием ее волос, и думает, что всегда узнает тех, кому хочется больше ласк, сколько бы они ни отнекивались.

Среди монахинь сестры-близняшки, давно уже свыкшиеся с тем, что никто не обращает на них внимания, вспоминают, как однажды, спеша в часовню, она налетела на одну из них и даже не извинилась. Сестра Бенедикта думает о том, что если она пишет музыку для Бога, то девушка скорее пела ради самого удовольствия петь, а сестра Федерика уверена, что никогда ее не любила, хотя и вынуждена была

отдать ей первую марципановую ягоду на пробу, и жалеет, что не подсыпала ей в покаянную трапезу больше полыни. Благочестивая сестра Агнезина напоминает себе, что сомневалась в ней всегда, даже когда Юмилиана пела дифирамбы ее нарождающейся чистоте. Феличита тем временем прощает себя за ту обиду, которую она затаила против Юмилианы, тратившей больше времени на эту пустышку, чем на более достойных сестер вроде нее самой.

А что же сама Юмилиана? Сестра Юмилиана думает и вспоминает массу вещей.

— Притворство вместо благочестия. Настойчивое привлечение к себе внимания вместо спокойной работы по строительству благочестивой жизни внутри Господней любви. Таков был страх, терзавший ваше сердце, сестра Юмилиана. И следует признать, что вы не ошибались, — продолжает аббатиса, и ее великодушные немедленно привлекает всеобщее внимание к доверчивости Юмилианы и неверному суждению, которые она выказала в этой нечистой истории. — Мы должны вернуться на путь истинный: «Отвергнуть раздоры. Отвергнуть гордыню. Не ревновать и не питать зависти. Ненавидеть волю свою. Возлюбить ближнего как себя и...»

Что «и», ей добавлять не нужно, ведь всякая монахиня наизусть знает правила святого Бенедикта: «И во всем повиноваться приказам аббатисы».

— Уверена, что тогда мы выдержим эту бурю и снова сделаем нашу общину такой, какой она была: местом гармонии и честного служения Богу.

Все в комнате молчат. Это было прекрасное представление, и более всех оно произвело впечатление на Зуану.

Основа плана, его главные ингредиенты принадлежали ей. Но все остальное... все усовершенствования... все украшения аббатиса придумала сама, и как умно и мастерски, просто изумительно. Вот женщина, которая так дорожит репутацией своего монастыря, что во избежание скандала позволила убить человека; и она же пожертвовала возможностью отомстить своей самой сильной противнице ради того, чтобы вернуть в общину мир и покой. Ведь ей хорошо известно, что только так они могут надеяться избежать вмешательства извне.

Зуана снова вспоминает устав монастыря. «Аббатисе многое доверено, с нее же многое и спросится; трудно руководить душами и

нелегко приспособливаться к неодинаковым характерам, мешать мягкость с суровостью, чтобы не только не принести ущерба стаду, но и возрадоваться увеличению достойной паствы».

Кто еще в этой комнате справился бы с этим так же блестяще, как она?

Зуана робко поднимает руку.

— Да, сестра Зуана? Я позволяю вам говорить.

— Я... я хотела спросить, а что нам теперь делать с послушницей?

Аббатиса вздыхает.

— Мы должны сделать все возможное, чтобы вывести ее из голодного безумия, вернуть ей здоровье, а затем обратиться к ее духовному состоянию. Первое, думаю, придется выполнить вам.

— Я постараюсь, — склоняет голову Зуана. — Но должна сказать: осматривая ее в лазарете, я нашла, что состояние ее очень серьезно. В своем безумии она нанесла себе ножом самые различные раны.

— Моя дорогая сестра Зуана, все сестры нашего монастыря знают, что вы сделаете все от вас зависящее. Сейчас я попрошу отца Ромеро навестить ее. А остальное предоставим Господу. Будем молить Его направить нас.

Монахини Санта-Катерины расходятся по своим кельям, где будут молиться и предаваться размышлениям, с неожиданным чувством покоя и гармонии. Многие будут стоять на коленях еще долго после наступления темноты и потом будут клясться, что ночью из лазарета раздался голос, высокие ноты молодой пташки, и, хотя иные подумали, что это новое проявление безумия, все же не соблазнились их чистотой было трудно, поэтому монахини надеялись, что, может быть, Господь внял их молитвам и вернул покой многострадальной молодой женщине.

В самый глухой час той же ночи, когда сестра Зуана уже давно пожелала своим пациенткам доброго сна, Клеменция просыпается и видит в комнате фигуру; она клянется, что это была сама Богоматерь, ибо она пришла тихо, лицо ее скрывала белая вуаль, а вокруг нее пахло цветами. Она останавливается у кровати послушницы, и та немедленно садится и молится вместе с ней, как будто и не была на краю смерти. Святая Дева наклоняется и протягивает ей чашу с

причастием, из которой та долго пьет. Потом девушка ложится снова, а фигура, помолвившись возле нее некоторое время, уходит так же тихо, как пришла.

Все знают, что Клеменция безумна, как стадо весенних ягнят, и все же когда на рассвете оказывается, что девушка тихо умерла во сне, новость распространяется по общине, точно дуновение легкого ветерка, неся с собой удивление и надежду.

## Глава сорок восьмая

Однако смерть не отменяет жизни, и монастырь накануне Пасхи оживлен, как никогда.

Летиция и сестра Зуана, которые нашли девушку бездыханной, перенесли ее тело в маленькую покойницкую за аптекой, где ее обмыли и приготовили к похоронам. Вместо публичного отпевания молитвы произносят в часовне. И хотя всем страшно хочется видеть тело, аббатиса обязана проследить за тем, чтобы община как можно скорее вернулась к нормальной жизни, что она и делает, и ее новообращенному авторитету подчиняются беспрекословно.

В тот же день приданое для благородной свадьбы заканчивают и укладывают в огромный сундук, за которым приедут завтра. Это дело такой важности, что аббатиса сама приходит проследить за тем, как сундук спускают в маленькую комнатку возле покойницкой, откуда его в тот же день переправят в склад у реки.

Зуана и Летиция укладывают тело девушки в грубый деревянный гроб, который накрывают куском белого муслина (золотого покрывала удостоиваются лишь принявшие монашеский обет). Затем Зуана отпускает Летицию, которую вид исхудавшего до костей юного тела неожиданно растрогал так, что она не может сдержать слез, а сама сидит рядом с телом Серафины в течение рабочего часа.

Вскоре к ней присоединяется сестра-наставница, которая сходила к аббатисе и покорно испросила разрешения проститься со своей бывшей подопечной.

Две женщины бок о бок встают на колени у гроба. В последний раз они стояли так у тела сестры Имберзаги, когда Зуану тронула заразительная радость сестры-наставницы. Теперь она против воли отмечает, что в душе ее товарки по монастырю стоит мрак, как будто она, как ни старается, не может и не хочет простить себе своей роли в странной смерти этой молодой женщины.

Наконец, после многочасового стояния на коленях и молитвы, старая женщина медленно встает и молча идет к двери.

— Сестра Юмилиана?

Она останавливается и ждет.

— Вы как-то сказали, что жалеете о том, что не были моей наставницей. Я разделяю ваши чувства, и, если вы позволите, я хотела бы прийти как-нибудь к вам и поговорить о том, как мне ближе подойти к нашему Святому Отцу.

Старая женщина вздрагивает.

— Не надо ко мне приходить, — хрипло говорит она. — Я недостойна.

— А я думаю, что наоборот. Пожалуйста. Я верю, что именно вы сможете мне помочь.

И хотя обман царит в комнате, в словах Зуаны его нет.

Юмилиана долго смотрит на нее, медленно кивает, и ее седые волосы и дряблый подбородок начинают дрожать, когда приходят слезы.

— Я постараюсь.

Прямо перед вечерей аббатиса вызывает старшую прислужницу к себе и просит подождать до ужина, а тогда уже перенести сундук на склад, поскольку она сама хочет в последний раз проверить его содержимое.

Когда монахини расходятся по кельям для молитвы, Зуана и аббатиса встречаются в покойнице. Вместе они легко вынимают девушку из гроба и переносят ее через отпертую дверь в соседнюю комнату, где ждет приданое. Когда они укладывают ее и накрывают сверху расшитыми свадебными шелками, Зуана щупает пульс. Найдя его, она убеждается, что сердце бьется ровно, хотя и очень слабо, как у больного на пороге смерти. Союз двух снадобий обещает, что человек может оставаться как бы при смерти около двадцати четырех часов, а потом очнуться вполне здоровым. Однако если первое наблюдение исходит от язычников Леванта и вполне надежно, то вот второму, исходящему от его отца, никаких доказательств нет. Остается только надеяться. Во сне девушка кажется все еще очень хрупкой, кожа да кости, на руках — повязки со слоем мази внутри. Как не похожа она теперь на спелую, точно персик, юную красотку, которая прибыла в монастырь некоторое время назад. Но и ее будущий муж, которому едва не перерезали горло, вряд ли будет много краше.

Прежде чем опустить крышку, аббатиса достает из-под плаща какой-то предмет и кладет его под перевязанные ладони девушки. Это



оказывается инкрустированный драгоценными камнями крест, не столь дорогой, как тот, который она надевает по праздникам, но все же достаточно богатый, чтобы помочь владелице начать новую жизнь. На этот счет ей даны самые четкие указания: ни в коем случае не пытаться продать или заложить его в самой Ферраре или ее владениях. Но как только она, вернее, они, окажутся на достаточном удалении, пусть поступают с ним так, как сочтут нужным. Никто не спросит их, откуда он взялся, а если и спросит, то ни в одной из обителей Феррары не будет записи о пропаже драгоценного креста и, уж конечно, о беглой монашенке тоже. Послушница Серафина к тому времени будет давно лежать в могиле, ее некролог, точно такой же, как и множество других, аккуратной рукой сестры Сколастики будет вписан в книгу поминовений, а ее приданое останется в монастыре.

Девушка все выслушала и поняла тогда.

— Я его не заслужила, — сказала она, глядя на крест.

— Заслужила или нет, не знаю, но вот прожить без него тебе будет трудно наверняка.

Однако теперь, когда две женщины стоят и глядят на «умершую», им наверняка приходит в голову одна и та же мысль...

— Она так ослабела, что я дала ей поменьше снадобья, — тихо говорит Зуана. — Буду молиться, чтобы этого оказалось достаточно.

Ее слова подгоняют обеих, они закрывают сундук (выбранный за отверстия в крышке, через которые внутрь будет поступать хоть немного воздуха) и возвращаются в морг, где им предстоит решить задачу о том, как нагрузить гроб достаточно, чтобы не возбудить ни в ком подозрений, когда его понесут завтра сначала в часовню, а потом на кладбище.

У Зуаны уже готов ответ. Она приносит из аптеки охапку книг и укладывает их на дно гроба.

Аббатиса наблюдает за ней.

— Похоже, мы обе жертвуем свои драгоценности, — говорит она.

Зуана трясет головой.

— Она не такая уж тяжелая, а у меня, как и у вас, остаются ценности подороже. В этих книгах много рецептов, которые я испробовала и нашла недействующими. Лучшие из них я давно выучила наизусть.

— Вот и хорошо. — Она делает паузу. — Быть может, нелишне было бы выучить и остальные.

Зуана чувствует, как внутри ее словно открывается пустота.

— Когда? Когда они придут?

— Пока не знаю. Ее исчезновение поможет нам продержаться еще немного. Но они все равно придут, рано или поздно, ибо в конечном итоге от нас это не зависит. Не этот епископ, так следующий или тот, который придет после него. — Она улыбается. — Мне жаль.

Но об этом Зуана и раньше знала. Насколько плохо все будет? Конечно, она может наполнить свою память рецептами, но какой от них будет толк, если они решат уничтожить ее хор лекарств? Она представляет себе два аккуратных холмика свежих могил на монастырском кладбище в недалеком будущем. Быть может, Господу будет угодно призвать их обеих прежде, чем наступят тяжелые дни.

— Идем, — говорит аббатиса резко. — Пора заканчивать.

Вдвоем они сооружают некое подобие человеческой фигуры из старых сорочек аббатисы и укладывают ее на книги, а сверху закрывают муслиновым покрывалом. Аббатиса уже предупредила отца Ромеро о том, что, когда он придет читать службу утром, крышка гроба будет прибита. А до тех пор Зуана и она сама будут бодрствовать у «тела».

Делать больше нечего.

— Да пребудет с тобой Господь, сестра Зуана.

— И с вами, мадонна аббатиса.

И тогда, оставив Зуану сидеть у гроба с книгами, мадонна Чиара вызывает главную прислужницу и наблюдает за тем, как четверо дюжих молодых девиц поднимают сундук на тележку и везут через сад к складу, где в гаснущем свете заката его переносят во внешнюю комнату, откуда завтра утром его заберут лодочники.

## Глава сорок девятая

Ладони горят. Ладони горят, и горло болит. Горло болит, и трудно дышать. Она открывает глаза и ничего не видит. Несколько секунд она вспоминает, где она и что с ней случилось, и ее охватывает паника, которая душит не хуже, чем тряпки у нее на лице, мешающие дышать.

Она расслабляет тело и пытается дышать ровно. Воздух внутри есть, но он кажется ей густым, а она тысячи раз слышала истории о погребении заживо и знает, что долго так продолжаться не может.

Но ее не похоронили. Она лежит в сундуке с приданым. В здании склада А за его стенами, за дверью, на реке, может быть, уже сейчас причаливает лодка...

Ну конечно. Именно так все и происходит. Сколько раз они с Зуаной все это повторяли. Как только стемнеет, Зуана пойдет через сад, откроет ключом аббатисы сначала одну дверь, потом другую и войдет. Она поднимет крышку, девушка выберется наружу, и они вместе выйдут на пристань, где будут ждать, пока...

Наверное, она слишком рано пришла в себя. «Я не знаю точно, как долго действует этот состав. Но лучше, чтобы ты проснулась раньше, чем позже, иначе тебя тяжело будет нести».

Она впитывала тогда каждое слово Зуаны, не сводя глаз с ее лица, пока та объясняла все сначала раз, потом другой. Этой женщине она доверяет безгранично и знает, что та никогда не причинит ей вреда. Но, хотя Зуана не говорит ей этого прямо, она знает и то, что снадобье еще не опробовано, а значит, нельзя предсказать, как сильно или как долго...

А вдруг она дала ей слишком мало? Вдруг ей еще лежать здесь и лежать? Может, она еще не на складе. Может, вокруг полно прислужниц, которые вот-вот поднимут сундук на дюжие плечи и понесут его по лестнице вниз. «Тихо, Изабетта, — говорит она себе, — спокойно. Нельзя шуметь. И не надо расходовать воздух».

Она начинает молиться о том, чтобы стать этому человеку хорошей женой. О том, чтобы после всего пережитого они заботились друг о друге, любили друг друга и соблюдали заповеди Господни. Она просит у Бога, чтобы Он пекся и о тех, кого она оставляет здесь. Она просит, чтобы Он так же простил ее многочисленные грехи, как она

прощает тем, кто грешил против нее. Аббатису, которая делала то, что диктовал ей долг, но без которой она никогда не смогла бы выйти на свободу. И сестру Зуану... ах, сестру Зуану... чего же попросить для нее у Господа? Но, подыскивая слова, она чувствует, как спокойствие покидает ее, когда материя оседает и плотнее обволакивает ее лицо. Ей хочется запеть — пусть хотя бы собственный голос составит ей компанию, — но она не смеет.

Сколько она уже лежит здесь без сна? Уж конечно давно. Голова болит. Да, снадобье, наверное, оказалось слишком сильным. В таком случае почему Зуана до сих пор не пришла? А что, если...

Что, если? Эти два слова поднимают в ней такую волну ужаса, что ей кажется, будто весь запас воздуха уже израсходован, и она начинает открывать и закрывать рот, как рыба.

Что, если сегодня ночью кто-нибудь заболел и Зуана не сможет прийти?

Что, если об их плане стало известно?

Что, если никакого плана никогда не было?

А что, если план был, только...

Господи Иисусе, а что, если это месть аббатисы, способ навсегда заткнуть ей рот, и она вовсе не на складе, а в покойнице? Или хуже — что, если все уже сделано и она лежит в гробу глубоко под землей на монастырском кладбище в наказание за то, что едва не погубила весь монастырь? Что, если она сейчас умрет?

Мысль, однажды пришедшую, уже не прогонишь. Паника заставляет ее вскинуть забинтованные руки, которые сквозь слои ткани ударяются о крышку. Раны в ладонях горят и пульсируют, когда она давит на крышку изнутри. Но дерево не поддается. Гвозди держат его. Ох, Господи, гвозди. Она набирает в грудь воздух, какой еще остался вокруг, и начинает кричать. Все кончится так же, как и началось: страхом, слезами и бесполезным стуком о дерево в ночи.

— Помогите! О, помогите мне, я...

И тут она слышит: что-то стучит и скребется над ней, ключ входит в замок и поворачивается в нем, крышка поднимается и отходит.

— Тсс, тихо. Не шуми. Я здесь.

Слои ткани снимают с нее, и она делает глубокий вдох. В темноте она различает над собой широкое улыбающееся лицо Зуаны.

— Я думала...

— Знаю, но сейчас некогда. Давай выходи. Ночная сестра сегодня зверствовала, так что я долго не могла уйти.

Голос Зуаны обволакивает ее, подбадривает, убеждает, как часто бывало в последнее время.

— Ну-ка, выпей вот это. Коньяк. Всего пару глотков. Он придаст тебе сил. Я положила его тебе в мешок. Дай мне крест. Где он? Ты его уронила? А, вот он где. Его я тоже положу в мешок. Я налила две склянки. Одну для аптекаря. В хорошей аптеке коньяк никогда не помещает, а вторую продай за небольшие деньги в городе, на первое время хватит. Ну, скорее, скорее, Изабетта. Можешь идти?

Идя к двери, они обе слышат звук — что-то глухо ударяется о деревянную пристань.

Зуана возится с замком. Дверь открывается со страшным скрипом — от ветра и дождей дерево рассохлось, а потом набухло и покривилось с тех пор, как они были здесь в последний раз.

Пристань оказывается длиннее, чем она помнит. Один ее конец соскальзывает в черную воду. Зато у другого конца, рядом с монастырской лодкой, покачивается другая, маленькая лодочка с фонарем на носу. В лодке сидят двое. Двое? Сердце Зуаны совершает прыжок. Хотя, конечно, он ведь не мог обойтись без помощи. Наверняка это посвященный в секрет аптекарь.

Сидящий на носу человек встает и всходит на пристань. Зуана поднимает ему навстречу фонарь. В его свете видно, что юноша высок, худощав, его шею целиком скрывает шарф, а вдоль щеки змеится рваный темный шрам.

Изабетта тоже видит его. Ноги ее точно приклеиваются к полу. В конце концов Зуане даже приходится слегка ее подтолкнуть.

Медленно, чуть прихрамывая, она приближается к нему. Не дойдя друг до друга нескольких шагов, они останавливаются. Казалось бы, они должны броситься друг другу в объятия. Но они ведут себя так, словно встретились впервые. После секундной паузы он протягивает руку, и она кладет в нее свою забинтованную ладонь. Он нежно держит ее. Мгновение, кажется, длится вечно.

— Вам пора. Уходите.

Голос Зуаны подталкивает их.

Девушка оборачивается, торопливо улыбается, и они уходят; вместе спускаются в лодку, отвязывают ее, второй мужчина отводит

суденышко назад, разворачивается и быстро гребет, пока их не проглатывает тьма, из которой доносятся лишь скрип уключин да всплески весел.

Некоторое время Зуана еще стоит и слушает, потом возвращается внутрь и запирает дверь. Она аккуратно складывает на место свадебную сорочку и простыни, старательно разглаживает их, закрывает крышку и переходит сначала во внутренний склад, а оттуда в сад, тщательно запирая за собой каждую дверь.

Через фруктовый сад и цветники она торопится назад, в галереи. Проходя мимо своего огорода, она вдруг вспоминает, что календула вот-вот даст побеги, и думает о том, что завтра первым делом надо будет взяться за нее, а то в последнее время она что-то совсем забросила дела аптеки, тогда как весна уже не за горами.

В своей келье она молится за то, чтобы жизнь молодых была чистой, потом за души всех, кто окружает ее в монастыре, за покровителей и правителей города, как живых, так и умерших, и только потом ложится спать.

Засыпая, она повторяет рецепты снадобий из тех книг, которые похоронят завтра утром на кладбище монастыря. Отныне она будет выучивать наизусть по одному рецепту каждую ночь. Разумеется, сохранить в своей голове целую библиотеку она все равно не сможет. Да и кто бы смог? Даже ее отец не справился бы.

«Путь постижения тайн Господних через природу не может быть легким, Фаустина. Помни слова Гиппократов: „Жизнь коротка, искусство вечно, возможности преходящи, опыты трудны, а суждения сомнительны“. Подумать только, такое смирение в человеке, жившем до Рождества Христова. Со всеми нашими знаниями нам еще далеко до него».

Что ж, она будет делать все, что в ее силах. И все же хорошо было бы найти среди послушниц помощницу, юную душу, энергичную и сообразительную, и рука об руку с ней выковать первые звенья той цепи, которую они передадут затем другим, ищущим плодов того знания, коим она обладает сейчас.

Завтра она поговорит об этом с аббатисой.

Она закрывает глаза и засыпает. А вокруг нее тихо спит монастырь.

## От автора

Все персонажи этого романа вымышлены, так же как и сам монастырь Санта-Катерина, хотя его описания во многом совпадают с историей и архитектурой монастыря Сан-Антонио в Полезине, Феррара, в котором и в наши дни продолжает существовать закрытая бенедиктинская община.

Однако исторический фон, на котором происходят события, соответствует реальности.

Одним из последних решений Трентского собора, принятых прямо перед его роспуском в декабре 1563 года, была поспешная, но обстоятельная реформа женских монастырей, ставшая ответом на жестокую критику протестантов. Изменения, коснувшиеся всех сторон монастырского уклада, были введены в практику не сразу, многое зависело от воли местного епископа, ордена, к которому принадлежала община, сопротивления влиятельных семей.

Но постепенно реформа победила везде. В Ферраре семья д'Эсте некоторое время покровительствовала монастырям, однако герцог Альфонсо Третий, несмотря на то что был женат трижды, так и не смог произвести на свет законного наследника, в результате чего в 1597 году, после его смерти, город со всеми его владениями вошел в число папских провинций. На исходе XVI века, когда за невестой просили немислимое приданое и едва ли не половину благородных итальянок ждал постриг, монашеская жизнь изменилась раз и навсегда.

Инспекции, или «посещения», как их называли, приносили новые правила. Все контакты с окружающим миром были жестоко ограничены; все лишние окна и отверстия в стенах замурованы, повсюду поставлены решетки. Стены были сделаны выше (в некоторых местах верхние ряды кирпичей не скрепляли раствором, чтобы они обвалились, если кто-нибудь вздумает приставить к ним лестницу изнутри или снаружи). Планировка церквей была изменена таким образом, чтобы никто из мирян не видел монахинь. Монастырские парлаторио были разделены решетками и тяжелыми занавесями, для того чтобы монахини не могли больше свободно общаться с членами своих семей. Театральные и музыкальные представления пострадали особо. В некоторых городах пьесы и все

виды полифонии были изгнаны из монастырей, монастырские оркестры упразднены, на все музыкальные инструменты, кроме органа, наложен запрет. Инспекторы входили в кельи монахинь и конфисковывали мебель, книги, любые предметы роскоши и личные вещи.

Однако подобные репрессии не оставались без ответа. Едва за инспекторами закрывались ворота, как в обители наступало определенное послабление нравов, и так с переменным успехом продолжалось много лет. В некоторых местах монахини отказывались вводить у себя подобные перемены; иные даже сражались за свои свободы. Но, разумеется, всегда проигрывали.

Сохранившиеся документы тех лет донесли до нас отдельные голоса протеста. В начале XVII века Арканжела Таработти, старшая из шести дочерей и хромая от рождения, написала целый трактат о вреде насильственного заключения в монастырь, который был опубликован двадцать лет спустя. Однако приводимый ниже отрывок из письма, посланного в 1586 году монахиней обители Санти-Наборре-э-Феличе в Болонье самому Папе, при всей своей лаконичности, выражает самую суть дела: «Многие из нас заперты здесь не по своей воле и лишены всяких контактов с миром. Живя в такой строгости, всеми покинутые, мы осуждены претерпевать муки ада в этом мире и в следующем».

Этот роман посвящается им и миллионам других женщин, живших до и после них.



# Благодарности

Огромное спасибо сотрудникам Британской библиотеки в Лондоне, которые, не покладая рук и не теряя чувства юмора, добавляли кипы книг в читальный зал гуманитарных наук № 1. Там, если удастся найти место для работы, писатель оказывается почти что в раю на земле.

Я должна особо поблагодарить Вивиан Наттон, профессора истории медицины из колледжа при Университете Лондона. Она весьма любезно познакомила меня с особенностями медицины и науки того времени, которое я описываю в книге. Моя признательность Кати Лоу из колледжа Королевы Марии Университета Лондона, щедро делившейся со мной своими безграничными знаниями о том мире, в котором жили монахини эпохи итальянского Возрождения. Лори Страз и Дебора Робертс, занимающиеся популяризацией и интерпретацией средневековых церковных песнопений, открыли мое сердце и уши чудесам изысканной музыки, звучавшей в женских монастырях. Вклад этих людей в создание романа «Святые сердца» чрезвычайно велик. Все ошибки в романе на моей совести.

В Ферраре, Италия, я посетила монастыри Тела Христова и Сант-Антонио-ин-Полезин. Это дало мне не только эмоциональную, но и географическую основу романа. Город настолько привлекает своей историей и гостеприимством, что я все время удивлялась, почему он не переполнен туристами, хотя, несомненно, в этом есть и своя привлекательная сторона.

Как всегда, я приношу глубочайшую признательность моим агентам Клэр Александер и Салли Рейли, моему американскому редактору Сюзанне Портери, моему редактору в Лондоне Элизе Диллсворт, а также неподражаемому Ленни Гудингсу, издателю «Virago Press».

Писателя, когда он работает над рукописью, нельзя назвать абсолютно уравновешенным человеком. Я должна попросить прощения у моих дочерей Зои и Джорджии за чрезмерное количество разговоров в нашем доме о монахинях. Хочется поблагодарить за конструктивную критику Эйлин Хорн, Кристофера Болласа, Джиллиан Слово, Марию МарAGONIS, Дона Гаттенплана, Яна Гройновски,

Скарлетт Макгвайр, Джозефа Кальдерона, Сью Вудман, Кристину Шеволл и Изабеллу Планнер. И наконец, я хочу выразить благодарность Тезу Бентли, помощнику редактора, который своим неумолимым пером придал написанным мною словам необходимый блеск, но который также страдал (и я не склонна употреблять это слово фигурально) рядом со мною, когда работа заходила в тупик. Стоит сказать, что, когда в романе отсутствуют мужские персонажи, со мной рядом должен находиться мужчина из плоти и крови, чья сдержанность и душевная широта упасет меня от безумия.

*Лондон, 2009*

*[www.sarahdunant.co.uk](http://www.sarahdunant.co.uk)*

---

**notes**

# Примечания

# 1

Отто Брунфельс — немецкий богослов и ботаник. *(Здесь и далее прим. перев.)*

## 2

Магнификат (по первому слову первого стиха «Magnificat anima mea Dominum» — «Величит душа моя Господа») — славословие Девы Марии из Евангелия от Луки.

# 3

Териак — состав из шестидесяти четырех лекарственных средств, измельченных и смешанных с медом, был разработан греками в I веке н. э. для защиты от ядов.

## 4

Трентский (Тридентский) собор (1545–1563) реформировал католическую церковь, утвердил несколько важнейших догматов христианской доктрины, разработал идеологическую основу Контрреформации.

# 5

Парлаторио — место для свидания в монастыре.



# 6

Слава Господня воссияет над тобой (Исайя, 60: 1–6) *(лат.)*.

# 7

Андреас Везалий (1514–1564) — врач и анатом, основоположник научной анатомии.

## 8

Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан (ок. 160 — после 220) — христианский богослов и писатель.

# 9

Антифон (*греч. antiphonos* — звучащий в ответ) — песнопение, исполняемое поочередно двумя хорами или солистом и хором.

# 10

Франжипани — общеупотребительное название плюмерии, вечнозеленого цветущего кустарника.

Жан Кальвин (1509–1564) — французский богослов, реформатор церкви, основатель кальвинизма.

# Table of Contents

[Сара Дюнан Святые сердца](#)

[Историческая справка](#)

[ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Монастырь Санта-Катерина, Феррара, 1570 год](#)

[Глава первая](#)

[Глава вторая](#)

[Глава третья](#)

[Глава четвертая](#)

[Глава пятая](#)

[Глава шестая](#)

[Глава седьмая](#)

[Глава восьмая](#)

[Глава девятая](#)

[Глава десятая](#)

[Глава одиннадцатая](#)

[Глава двенадцатая](#)

[Глава тринадцатая](#)

[Глава четырнадцатая](#)

[ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)

[Глава пятнадцатая](#)

[Глава шестнадцатая](#)

[Глава семнадцатая](#)

[Глава восемнадцатая](#)

[Глава девятнадцатая](#)

[Глава двадцатая](#)

[Глава двадцать первая](#)

[Глава двадцать вторая](#)

[Глава двадцать третья](#)

[Глава двадцать четвертая](#)

[Глава двадцать пятая](#)

[Глава двадцать шестая](#)

[Глава двадцать седьмая](#)

[Глава двадцать восьмая](#)

[Глава двадцать девятая](#)

[Глава тридцатая](#)

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

- Глава тридцать первая
- Глава тридцать вторая
- Глава тридцать третья
- Глава тридцать четвертая
- Глава тридцать пятая
- Глава тридцать шестая
- Глава тридцать седьмая
- Глава тридцать восьмая
- Глава тридцать девятая
- Глава сороковая
- Глава сорок первая
- Глава сорок вторая

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

- Глава сорок третья
- Глава сорок четвертая
- Глава сорок пятая
- Глава сорок шестая
- Глава сорок седьмая
- Глава сорок восьмая
- Глава сорок девятая

От автора

Благодарности

Примечания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



